

БОЛЬШИЕ  КНИГИ

Сельма
Лагерлёф

ПЕРСТЕНЬ
ЛЁВЕНШЁЛЬДОВ

« И Н О С Т Р А Н К А »



Иностранная литература. Большие книги

Сельма Лагерлёф

Перстень Лёвеншёльдов

«Азбука-Аттикус»

1891, 1925

УДК 821.113.6
ББК 84(4Шве)-44

Лагерлёф С.

Перстень Лёвеншёльдов / С. Лагерлёф — «Азбука-Аттикус»,
1891, 1925 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-21136-0

«Сага о Йёсте Берлинге» – одна из знаменитейших книг шведской литературы. Необыкновенное сочетание фольклора и действительности, народных легенд и преданий с классическими сюжетными перипетиями реалистической драмы создают необыкновенную атмосферу и ставят этот роман в ряд наиболее оригинальных и увлекательных произведений девятнадцатого века. Впрочем, эти же слова применимы ко всем произведениям шведской писательницы Сельмы Лагерлёф. Трилогия о семье Лёвеншёльдов – великолепная сага, охватывающая историю пяти поколений, полная таинственных связей, роковых предзнаменований, невероятных приключений, и все это на фоне реальных исторических событий.

УДК 821.113.6
ББК 84(4Шве)-44

ISBN 978-5-389-21136-0

© Лагерлёф С., 1891, 1925
© Азбука-Аттикус, 1891, 1925

Содержание

Сельма Лагерлёф и мир ее творчества	6
Сага о Йёсте Берлинге	19
Вступление	19
I. Пастор	19
II. Нищий	23
Глава первая	31
Глава вторая	34
Глава третья	41
Глава четвертая	47
Глава пятая	55
Глава шестая	57
Глава седьмая	68
Глава восьмая	77
Глава девятая	85
Глава десятая	101
Глава одиннадцатая	115
Глава двенадцатая	122
Глава тринадцатая	134
Глава четырнадцатая	140
Глава пятнадцатая	143
Конец ознакомительного фрагмента.	149

Сельма Лагерлёф
Перстень Лёвеншёльдов
«Сага о Йёсте Берлинге» и трилогия
о семье Лёвеншёльдов в одном томе

© Н. К. Белякова (наследник), перевод, 1991

© Л. Ю. Брауде (наследники), перевод, 2014

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014

Издательство Иностранка®

* * *

Сельма Лагерлёф и мир ее творчества

- *Ваша излюбленная добродетель?*
- *Милосердие.*
- *Ваше излюбленное качество у мужчин?*
- *Серьезность и глубина.*
- *Ваше излюбленное качество у женщин?*
- *То же самое.*
- *Ваше излюбленное занятие?*
- *Изучение характеров людей.*
- *Что вы считаете величайшим счастьем?*
- *Верить в самое себя.*
- *Что вы считаете величайшим несчастьем?*
- *Ранить чувства других людей.*
- *Ваш любимый цвет?*
- *Цвет солнечного заката.*

Из интервью Сельмы Лагерлёф (1890-е гг.)

Поразительно сложилась судьба замечательной шведской писательницы Сельмы Оттилии Лувисы Лагерлёф (1858–1940), самой знаменитой женщины Швеции конца XIX – начала XX века. Она прожила восемьдесят два года, из них пятьдесят отдала творчеству. Лагерлёф стала автором двадцати семи крупных произведений. И любая из самых знаменитых ее книг могла бы обессмертить ее имя. В молодости Лагерлёф создала уникальный в своем роде роман – «Сага о Йёсте Берлинге» (1881–1891). В годы зрелости – замечательную сказочную эпопею «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции» (1906–1907). В старости – трилогию о Лёвеншёльдах: романы «Перстень Лёвеншёльдов» (1925), «Шарлотта Лёвеншёльд» (1925) и «Анна Сврд» (1928). Перу Лагерлёф принадлежат также многочисленные повести, новеллы, предания, литературные сказки, эссе и т. д.

Уже «Сага о Йёсте Берлинге» и «Удивительное путешествие Нильса...» (в дальнейшем мы будем его так называть) принесли писательнице славу. В 1907 году она стала почетным доктором Упсальского университета, в 1909 году – лауреатом Нобелевской премии, а в 1914 году – одним из восемнадцати «бессмертных» – одним из восемнадцати членов Шведской академии.

Пятидесятилетие сказочницы отмечалось в 1908 году в Швеции как народный праздник. Ее буквально засыпали цветами и подношениями.

Куда девались все цветы?
Кто разорил оранжереи?
Во всей стране не сыщешь ты
Ни лилии, ни орхидеи, —

писал анонимный автор стихотворения, напечатанного в одной из шведских газет.

Любопытно, что вокруг имени Лагерлёф уже в начале XX века начала складываться легенда. Ее называли самой счастливой женщиной в мире. Ее жизнь сравнивали с триумфальным шествием. Были и попытки превратить писательницу в простую добрую сказочницу с общепринятым христианским образом мыслей. «И эти попытки нанесли ей вред значительно больший, нежели критическое доброжелательство. Из нее хотели сделать гипсовый бюст», – писал Н. Афселиус. «Горечь и отрицание ей абсолютно чужды», – сказал о писательнице шведский литературовед Ф. Бёек. Между тем даже «Сага о Йёсте Берлинге» – тот же Афселиус назы-

вал ее «самой примечательной книгой дебютантки», которая когда-либо издавалась в Швеции, – пробудив интерес и восторг одних, вызвала сопротивление других.

Многие критики, единодушно признавая своеобразие историй, включенных в роман, сомневались в их правдивости. Известный критик литературы К. Варбург писал, что книга эта – «неудавшееся попури из фантастических мечтаний, талантливых, подчас почти гениальных описаний, с одной стороны, неестественностей в действии, в стиле и ужасающей наивности – с другой».

Трудная судьба выпала и на долю книги «Удивительное путешествие Нильса...». Тем не менее отзывы на нее также развенчивают миф о Лагерлёф – миф о безобидной и доброй сказочнице.

«Удивительное путешествие Нильса...» подверглось мелочной критике за избыток фантастического. Многих раздражал язык Лагерлёф, его зачастую разговорная форма.

Однако книга выдержала и более серьезные претензии. Первый том книги вызвал резкие нападки зоологов и орнитологов. Специалисты в разных отраслях науки и патриоты отдельных шведских провинций осыпали писательницу упреками. Как же! Ведь ей не удалось описать Смоланд, Вестерётланда и Халланда! Ведь она забыла озеро Венерн и город Гётеборг! Даже в 1954 году шведский географ Г. Йонссон обвинил «Удивительное путешествие Нильса...» в «весьма слабом контакте с научным исследованием» и в необычайной наивности с точки зрения географической.

Особенно враждебно встретили книгу официальные церковники, реакционные педагоги и так называемые «патриоты Смоланда». Церковник Габриельссон напал на «Удивительное путешествие Нильса...» за то, что оно написано «без цели и без плана». Ужасным нашел он рассказ о Боге и святом Петре, рассказ, где «грешный человек был посажен рядом с Богом». И безапелляционно решил: «Книги Сельмы Лагерлёф не следует рекомендовать для чтения детям». Церковник У. Пфафф, собрав школьный совет, доложил: «Некая учительница младшего отделения народной школы позволила себе читать детям вслух из этой книги, которую следует заклеить как вредную и пагубную».

Епископ Эклунд из Карлстада объявил: «Популярность Сельмы Лагерлёф можно расценивать как деградацию педагогов вообще и шведских читателей в частности».

Х. Берг усмотрел в книге лишь «странное смешение историй о домовых и описаний ландшафта»: «Будь у меня власть, а желание у меня есть, „Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона“ ни одного дня не использовалось бы как учебник, прежде чем „Сказка о Смоланде“ не была бы удалена из этой работы либо не была бы полностью переработана». Многие консервативные школьные деятели были возмущены тем, что Лагерлёф нарисовала Смоланд бедным и убогим.

С годами, по мере того как творчество Лагерлёф подвергалось тщательному изучению в трудах Г. Альстрёма, Э. Лаггеррота, Н. Афселиуса, В. Эдстрёма и других шведских исследователей, в стране сложилась объективная оценка творчества писательницы. В Германии замечательный талант Лагерлёф высоко оценил Томас Манн, написав: «Лагерлёф – подлинная и великая рассказчица с эпическими первозданными инстинктами, несомненная личность».

Книги Лагерлёф, как и многих других скандинавских авторов, стали известны в России в самом начале XX века. Это было связано, как отмечал и известный русский критик Ю. Веселовский, с возросшей ролью скандинавской и особенно норвежской литературы во всем мире¹. «Вот уже более 50 лет, – говорилось в 1909 году в журнале «Нива», – как новые викинги Ганс Андерсен, Генрик Ибсен и их собратья: датские, норвежские и шведские писатели – завоевывают все более и более широкий круг читателей»². Популярность скандинавской литературы

¹ Веселовский Ю. А. Литературные очерки. М., 1910. Т. 2. С. 365, 369.

² Фиорды: Художественная литературная Скандинавия // Нива. 1909. № 13. С. 260.

в России была связана также с деятельностью таких замечательных переводчиков, как А. и П. Ганзен, М. Благовещенская и В. Спасская. В 1903 году критик Л. Уманец написал, что шведская литература в настоящее время – лучшая из скандинавских литератур, а Лагерлёф – одна из выдающихся шведских писателей. По его мнению, роман «Сага о Йёсте Берлинге» обладает неизъяснимой прелестью, «хотя талант Лагерлёф наиболее ярко проявляется в мелких произведениях, а не в крупных»³.

«Неясно, к какой школе она принадлежит, – заметил критик О. Петерсон. – Это талант оригинальный и яркий и притом вполне национальный и самобытный... Среда Лагерлёф проста и ясна... Искони укоренившиеся устои и традиции, тишина и неподвижность жизни, свойственные местечкам, удаленным от больших и шумных центров, создают среду, в которой долго сохраняются простота и чистота нравов». Однако Петерсон тут же делает вывод, что писательница эта весьма характерна для своего времени.

«Воспитанная в строгой школе реализма последнего периода европейской литературы вообще и скандинавской в особенности, Сельма Лагерлёф... обнаруживает большую склонность в сторону вновь нарождающегося романтизма. Реальной школе она, несомненно, обязана своей строгой правдивостью и верностью изображения характеров и бытовой жизни, хотя при этом она и остается совершенно чужда крайностей так называемого натурализма. Романтизм же ее литературного темперамента ясно сказывается в ее несомненном стремлении в область легенды и предания»⁴.

В начале XX века Лагерлёф оставалась для русских читателей известной шведской писательницей, чьи портреты печатались во многих журналах. А подписи к этим портретам рекомендовали ее даже не столько как автора «Саги о Йёсте Берлинге», сколько романов «Чудеса Антихриста», «Иерусалим» и многочисленных новелл. Литератор К. Норов отметил в 1905 году, что имя Лагерлёф все чаще и чаще мелькает среди имен иностранных авторов, чьи произведения усердно переводятся на русский язык и столь же усердно читаются публикой. Тем не менее это казалось ему несколько странным. Ведь шведская писательница «рисует мало, кажется, понятный нам мир шведского крестьянства». Однако, пытаясь честно разобраться в причинах ее популярности, критик приходит к выводу: «Талант писательницы сумел в этом маленьком мирке найти и изобразить такие черты, которые глубоко интересуют всякого интеллигентного читателя, будь он швед, русский, поляк, немец»⁵.

Интересна небольшая заметка «Сельма Лагерлёф и сага». Анонимный автор заметки отмечает три основных качества шведской сказочницы: необыкновенную силу воображения, дар плавного изложения и богатство чувств, любовь ко всему живущему на земле⁶.

Книга «Удивительное путешествие Нильса...» большого впечатления, если судить по прессе того времени, не произвела. По-прежнему говорились какие-то общие фразы о том, что в романе «Сага о Йёсте Берлинге» реализм переплетается с фантастикой, что от произведений шведской писательницы веет чем-то «радостным и светлым»⁷. О книге же «Удивительное путешествие Нильса...», как, впрочем, и много позднее, не говорилось ни слова или говорилось очень мало. Перевод 1908–1909 годов удостоился лишь одной рецензии В. Величкиной, рассматривавшей только географические вопросы, затронутые в книге⁸.

Тем не менее Лагерлёф в начале XX века была одной из самых известных в России зарубежных писательниц. Именем Сельма называли новорожденных девочек. Издавались ее собра-

³ Уманец Л. Скандинавские мистики // Рус. мысль. 1903. Июль. С. 133.

⁴ Петерсон О. Сельма Лагерлёф // К свету. СПб., 1904. С. 183, 186, 189, 201.

⁵ Норов К. Сельма Лагерлёф и сага // Вестник литературы. 1905. № 13. С. 298–299.

⁶ Сельма Лагерлёф и сага // Вестник иностранной литературы. 1906. Янв. С. 283.

⁷ Сельма Лагерлёф // Оскар Норвежский: Литературные силуэты. СПб., 1909. С. 124.

⁸ Величкина В. Сельма Лагерлёф. Чудесное путешествие мальчика по Швеции // Современный мир. 1909. № 8.

ния сочинений и отдельные произведения. Публиковались они часто, к сожалению, в переводе с языка-посредника – немецкого, с неточностями, купюрами, элементами контаминации, а иногда и просто с описаниями вместо перевода.

Приходится согласиться с критиком Л. Уманцем, который еще в 1903 году писал: «Чтобы находить удовольствие в произведениях Лагерлёф, их надо читать в полном виде, без пропусков; они значительно теряют в кратких извлечениях, и самая фабула настолько фантастична, что не поддается пересказу»⁹.

Литературный талант шведской писательницы рано отметил М. Горький. Сравнивая Сельму Лагерлёф с итальянской писательницей Грацией Деледда, Горький сказал в 1910 году: «Смотрите, какие сильные перья, сильные голоса! У них можно кое-чему поучиться нашему брату-мужику!»¹⁰ В 1912 году С. Груздев в статье «Что читать детям рабочих», напечатанной в газете «Правда», рекомендовал им произведения шведской писательницы¹¹.

После 1917 года были опубликованы лишь самые известные произведения писательницы (в переводах со шведского языка): «Сага о Йёсте Берлинге», «Удивительное путешествие Нильса...», трилогия о Лёвеншёльдах, некоторые новеллы и литературные сказки. Правда, критика и литературоведение ограничивались лишь отдельными заметками о писательнице, в частности, в 1940 году, после ее смерти, был опубликован некролог. После 1958 года, когда по призыву Всемирного совета мира народы земного шара отмечали столетие со дня рождения Лагерлёф, появились более крупные работы о ней (главы книг, диссертации, статьи, предисловия и т. д.), написанные В. Неустроевым, Д. Шарыпкиным, Л. Брауде.

Настоящее издание предлагает вниманию читателя произведения, завоевавшие всемирную славу: «Сагу о Йёсте Берлинге» и трилогию о Лёвеншёльдах – широкую историческую картину жизни Швеции, своего рода семейную хронику.

Сельма Оттилия Лувиса Лагерлёф родилась в 1858 году в родовой усадьбе своих родителей Морбакка. Отец ее был отставной военный, лейтенант. Мать – учительница. Величайшее влияние на развитие поэтического дарования Лагерлёф оказала среда ее детства, проведенного в одной из самых живописных областей Центральной Швеции – Вермланде, посреди плодородной, богатой и щедрой долины, окруженной гранитными лесистыми горами. Сама же Морбакка, расположенная на краю дороги, – одно из ярких воспоминаний детства писательницы: она не уставала описывать ее в своих произведениях, особенно в книжках «Морбакка» (1922), «Мемуары ребенка» (1930) и «Дневник» (1932).

Но больше всего она любила живших в усадьбе людей, которые в ее глазах навсегда остались сильными, мужественными и талантливыми. Лагерлёф обожала отца и впоследствии надеялась его портретными чертами своих героев и в первую очередь Йёсту Берлинга. Некоторые биографы писательницы ошибочно приписывали ему большое литературное дарование. Но тем не менее он питал сильную любовь к шведской литературе и фольклору Вермланда. Девочка была очень привязана к бабушке и тетушке Нане. Они знали множество сказок, местных преданий и родовых хроник, которые рассказывали маленькой Сельме, ее братьям и сестрам. «Я вспоминаю, что бабушка с утра до вечера сидела с нами и без конца рассказывала, а мы, дети, тихонько жались друг к другу и слушали. Вот была чудесная жизнь! Нет детей, которым бы жилось так, как нам», – писала впоследствии Лагерлёф. Вспоминая уже в старости тетушку Нану, она говорила, что в ее ушах до сих пор звучит уверенный голос рассказчицы и она чувствует, как мороз пробегает по коже: это трепет ужаса, который бывает не только от боязни привидений, но и от предвкушения того, что произойдет.

⁹ Уманец Л. Скандинавские мистики. С. 135.

¹⁰ Цит. по ст.: Дейч А. Сельма Лагерлёф // Лагерлёф С. Сага о Йёсте Берлинге. М., 1958. С. 400.

¹¹ Груздев С. Что читать детям рабочих // Правда. 1912. 25 дек.

Каких только историй не рассказывали бабушка и тетушка о минувших временах! О прекрасных дамах и кавалерах Вермланда, о злом заводчике, который водился с нечистым, о злых сороках, преследовавших хозяйку дома так настойчиво, что она боялась переступить порог, о привидениях, обитавших почти во всех усадьбах! Особенно жадно прислушивалась ко всем этим историям маленькая Сельма, которую в трехлетнем возрасте разбил паралич. С тех пор мир девочки стал очень ограниченным. Потому-то смерть бабушки-сказочницы пятилетней Сельма восприняла как величайшую трагедию: ей казалось, будто что-то ушло из жизни, будто захлопнулась дверь в целый мир, прекрасный заколдованный мир, и теперь не было больше никого, кто бы мог отворить эту дверь. Быть может, поэтому, поздравляя много лет спустя М. Горького с днем рождения, Лагерлёф писала: «В день пятидесятилетия М. Горького я хочу прежде всего поблагодарить писателя за изображение его бабушки, старой женщины с пышными волосами и кротким сердцем, рассказчицы прекрасных легенд, – за самый очаровательный из многих чудесных образов русских женщин, какие я встречала в мировой литературе»¹². Когда Лагерлёф читала «Детство» Горького, перед ней, несомненно, вставал образ сказочницы ее детства.

Величайшим откровением для будущей писательницы было знакомство с творчеством шведских и зарубежных поэтов и писателей – Э. Тегнером, К. М. Бельманом, Х. К. Андерсеном, В. Скоттом, Т. М. Ридом. «Предо мной опять новый пестрый мир...» – в восторге писала она после чтения романа Скотта и посещения театра в Стокгольме, куда приехала в 1867 году лечиться в специальной больнице и где ей вернули способность двигаться.

В то время Лагерлёф уже лелеяла мысль о собственном литературном творчестве. «С семи лет мечтала я стать писательницей», – признавалась она позднее. В десять лет, наблюдая традиционный парад во дворе королевского замка в Стокгольме, она сосчитала, сколько окон в этом замке. Может статься, когда-нибудь она напишет роман о королевском замке! Но начала девочка с поэтических опытов, со стихотворений «на случай», со сказочных пьес, баллад, произведений на древнескандинавские мотивы и сонетов. «Представь себе, что ты слеп и неожиданно прозрел, что ты был нищ и быстро разбогател, что ты был отвержен и лишен друзей и нечаянно встретил большую горячую любовь! Представь себе сколь угодно большое счастье, и все равно больше того, чем я испытала в тот миг, пережить невозможно...» – писала Лагерлёф одному из своих почитателей о той минуте, когда открыла в себе способность писать стихи.

В автобиографической новелле «Сказка о сказке» (1908), название которой, вероятно, связано с заглавием мемуаров Андерсена «Сказка моей жизни», писательница поэтично рассказала о своих детских попытках творчества. Она исписывала огромное количество бумаги стихами, прозой, пьесами и романами. А когда не писала, ждала: кто-то очень образованный и могущественный узнает, что она написала, и найдет это достойным публикации. Любопытно, что во времена детства Лагерлёф, даже когда она писала стихи и романы, в душе ее жила сказка. Сказка, которой напоены были воздух Вермланда и усадьба Морбакка. «Сказку о сказке» она начинает словами о жившей на свете сказке, которой хотелось, чтобы ее рассказали и вывели в свет.

Но будущей писательнице надо было учиться, так как она получила только домашнее образование; надо было зарабатывать на хлеб, потому что небогатая ее семья к тому времени окончательно разорилась. В 1881 году двадцатитрехлетняя Сельма поступила в лицей в Стокгольме и подготовилась там к поступлению в Высшую учительскую семинарию. В 1882 году ее приняли в эту семинарию, а закончила она ее в 1884 году. В том же году Лагерлёф стала учительницей в школе для девочек в маленьком провинциальном городке на юге Швеции – Ландскруне. Там на одном из небольших серых домов и сейчас висит мемориальная доска;

¹² Цит. по: Горький М. Летопись жизни и творчества. М., 1959. Вып. 3. С. 596.

она свидетельствует о том, что в этом доме Лагерлёф писала свою знаменитую книгу «Сага о Йёсте Берлинге».

В годы учебы сказка, по ее словам, «словно бы совсем покинула ее». Однако в Ландскруне, когда она читала и перечитывала книги любимых авторов – шведского поэта К. М. Бельмана и финляндского Й. Л. Рунеберга, ей пришло в голову, что мир преданий и легенд ее родного Вермланда ничуть не менее оригинален, чем мир героев этих писателей. Лагерлёф решила пересказать известные ей с детства предания о приключениях кавалеров из Вермланда. Но вначале работа двигалась медленно. А главное, не приходило вдохновение.

Когда в начале 1880-х годов Лагерлёф всерьез обратилась к литературному творчеству, в Швеции, по ее словам, было лучшее время строгой поэзии действительности. В последней четверти XIX века в стране шел бурный процесс роста промышленности и промышленных городов. Шведский город приобрел новые черты, наполнился дымом фабричных труб и звоном трамваев. Тогда впервые перед писателями встали проблемы, связанные с жизнью капиталистического города, с реалистическим описанием шведской действительности. Зарисовки Стокгольма того времени появились в творчестве крупного писателя А. Стриндберга, а вслед за ним ряд картин шведской столицы воспроизвел в своих произведениях Я. Сёдерберг. Однако уже тогда существовали художники, стремившиеся освободиться от точного, «фотографического», как они его называли, изображения действительности. Реализм сменился неоромантическим направлением, отмеченным чертами буйной фантазии и эстетизма в творчестве таких писателей, как В. фон Хейденстам и О. Левертин. В произведениях этих художников воспевались жизнь дворянских усадеб, патриархальная старина, шведская помещицья и крестьянская культура, которая постепенно исчезала в процессе развития промышленности. Но был в их творчестве и элемент патриотический, отмеченный шведским историком И. Андерсоном. Этот патриотизм был конкретным и крепко держался родной земли и ее живых традиций¹³.

Лагерлёф, к которой также относятся эти строки и которую причисляют к неоромантикам, воспевала патриархальную старину, жизнь дворянских гнезд и свой любимый Вермланд. Вместе с тем первое же ее произведение «Сага о Йёсте Берлинге» – явление оригинальное и совсем не однозначное. Благодаря этой книге молодая писательница, по словам известного датского критика Г. Брандеса, «заняла видное место в шведской литературе, взяла новый самостоятельный тон». Лагерлёф восхищалась великими мастерами-реалистами эпохи и считала, что писать можно только их языком. Но когда она, считая, что романтизм мертв, пыталась писать о своих героях спокойной прозой, у нее ничего не получалось. Однажды она все-таки написала иначе, в романтической манере, ритмической прозой со множеством восклицаний. *И почувствовала, что к ней пришло вдохновение!* Потом писательница уже не боялась быть самой собой, и тогда начало рождаться великолепное произведение – «Сага о Йёсте Берлинге». В 1885 году умер отец Лагерлёф, а три года спустя была продана за долги Морбакка; молодая учительница еще интенсивней взялась за работу, желая написать книгу и спасти то, что еще осталось от любимого дома: «драгоценные старые истории, веселый покой беззаботных дней и прекрасный ландшафт».

Весной 1890 года газета «Идун» объявила конкурс на произведение, которое усилило бы интерес читателей к газете и придало бы ей большую солидность. Лагерлёф решила принять участие в конкурсе. В августе 1890 года она отослала пять глав книги «Сага о Йёсте Берлинге» в газету «Идун». И случилось чудо! Молодая скромная учительница получила первую премию. Жюри выразило ей «признание по поводу необычайной художественности этого произведения, которое оставило далеко позади не только всех других участников конкурса, но и большинство из того, что давным-давно могла предложить наша отечественная литература». Получив премию, писательница оставила службу в школе. Теперь она могла спокойно заняться творче-

¹³ Андерсон И. История Швеции. М., 1951. С. 373.

ской работой. Прожив пять месяцев у друзей, Лагерлёф закончила книгу, изданную в 1891 году. Признание пришло совсем из другой страны. Брандес, рецензируя перевод книги, появившийся в 1893 году в Дании, с похвалой отозвался о замечательном своеобразии ее сюжета и оригинальности способа изложения.

Зимой 1929 года в беседе с Томасом Манном Лагерлёф подтвердила, что первоначально не предназначала эту свою книгу для печати. «Я писала ее, – рассказывала она, – для моих маленьких племянниц и племянников. Это было своего рода развлечение. Я думала, что книга заставит их смеяться». Однако «Сага о Йёсте Берлинге» стала одной из знаменитейших книг конца XIX века. Роман состоит из тридцати шести неравноценных по своей художественной силе глав и вступления (из двух частей). Почти каждая из глав является как бы мини-романом, самостоятельной новеллой, глубоко содержательной, написанной в особом стиле, в своем собственном ключе. Это, скорее всего, собрание народных преданий и легенд Вермланда. Двойственность Лагерлёф, преклонявшейся перед современными ей «реалистами» с их благоговейным отношением к природе и вместе с тем отдававшей дань романтическому стилю, ощущается во всей книге. Сохраняя реальные, естественные особенности прекрасной природы Вермланда – озер, гор, долин и рек, писательница одушевляет и персонифицирует их. Равнина разговаривает с горами, иногда жалуется и даже перебранивается с ними. Гребни волн Лагерлёф сравнивает с белокурыми кудрявыми головами, она наделяет их настойчивостью людей, а солнечный луч – хитростью. Пчелы и птицы тоже разговаривают, озабоченно пекутся о своих и чужих делах. Лагерлёф поэтизирует живой мир, не сохраняя, впрочем, никаких иллюзий у читателя относительно его суровости. Так, медведя, которому сладко спалось в его берлоге, она сравнивает со спящей принцессой из сказки. Ее разбудит любовь, а его – весна. Но Лагерлёф тут же безжалостно правдиво разрушает созданную ею идиллическую картину, дав понять, что, когда медведь спит, на него может обрушиться целый град дроби. Как и Андерсен, Лагерлёф заставляет жить, говорить и думать не только явления природы, но и различные предметы. Старые сани и кареты в сарае вспоминают веселые поездки, которые они совершали в дни юности. Молоты в темных кузницах презрительно улыбаются, а пюпитры в конторе корчатся от смеха. Лагерлёф одушевляет и сложные сооружения и технические конструкции своего времени. Шхуны и паромы, гавани и шлюзы в ее книге удивляются и спрашивают, не привезут ли железо из Экебю? А шахты разевают свои широкие пасти и громко хохочут.

Отказавшись от точного копирования действительности и природы, Лагерлёф отдала дань фантазии, сказочности и обратилась к прошлому. Она создала мир, полный празднеств, романтики и красочных приключений. Многие из глав, построенные на легендах Вермланда, изобилуют порождениями народной фантазии («Рождественская ночь», «Доврская ведьма»). Вот злой заводчик Синтрам. Он иногда является людям в образе нечистого с рогами и хвостом, лошадиными копытами и косматым телом. Имя Синтрама – синоним зла. Он превращает старую долголетнюю дружбу во вражду. Вот доврская ведьма. Несмотря на свое богатство, она не гнушается просить подаяние у бедняков. Она приносит мор, она распоряжается силами природы. Ей нельзя ни в чем отказать, иначе будет беда. Эти злобные существа играют судьбами людей. Синтрам добивается изгнания майорши из Экебю, которая приносит добро всей округе. Доврская ведьма насылет тучи сорок на графиню Мэрту. Причем, описывая все эти фантастические сказочные ситуации, смысл которых, как в народных сказках, – борьба добра со злом, Лагерлёф не лишает их черт достоверности. О доврской ведьме она, например, говорит, что видела ее собственными глазами. Как и у Андерсена, голос Лагерлёф часто звучит в повествовании, выражая гнев, ненависть, одобрение, радость, иронию и юмор.

Многие главы книги – жизнеописания главных героев старинных вермландских преданий, двенадцати кавалеров, обитающих в усадьбе майорши из Экебю. Кавалеры эти – и кузен Кристофер, и музыкант Лильекруна, и патрон Юлиус – сильные и мужественные люди, люди без денег и без забот, веселые странствующие рыцари, герои многочисленных приключений,

кавалеры до мозга костей. Они – не то что окружающие их туго набитые денежные мешки, сонные владельцы имений или злые стяжатели. У кавалеров нет никаких обязательств в жизни, нет уз, связывающих их с близкими людьми. Их привлекает лишь неотразимое многообразие жизни, ее сладость, ее горечь, ее богатство. Они – сложны и противоречивы. Рыцари и кавалеры – они в то же время могут совершить подлость, они – чума всей округи. Самый прекрасный и вдохновенный из кавалеров – герой книги Йёста Берлинг, отрешенный от сана и должности пастор. Йёста еще более сложен и противоречив, чем другие кавалеры. Он вдохновенно вещает слово Божье – и пропивает мешок с мукой, принадлежавший нищему ребенку. Он едет, чтобы привезти другу невесту, – и сам влюбляется в нее. Йёста – бесстрашен, он не боится ни волков, ни медведей, но на охоте не может поднять руку на затравленного медведя с горы Гурлита. Мужественно борется он с волнами восставшей реки, грозящей разбить плотину, но появление одной из его возлюбленных Элисабет отвлекает его. Йёста полон огня и жизни, он заражает всех весельем, никогда не чувствует ни холода, ни усталости. Он любит жизнь, но находит силы приговорить самого себя к смерти в сугробе за то, что обездолил голодного ребенка, и, если бы Йёсту не спасла майорша из Экебю, он бы замерз. Но он снова находит силы жить.

Под стать благородным кавалерам прекрасные вермландские дамы – графиня Элисабет, Эбба Дона, Марианна Синклер и Маргарета Сельсинг – «майорша из Экебю». Это им, женщинам минувших лет, поет гимн, поэтизируя их, Лагерлёф.

Критики, и в первую очередь Брандес, отмечали особенность мира, изображенного в романе «Сага о Йёсте Берлинге». «Все люди здесь заняты исключительно крупными переменами в их собственной жизни, своими страстями и раскаянием, своими пиршествами и балами, своею честью и позором, своими забавами и трудами, своей гордостью и искуплением, унижением и возрождением». Для Томаса Манна «Великая шведка» Лагерлёф была прежде всего автором, подарившим миру «Сагу о Йёсте Берлинге». Однако после статьи Брандеса многие рецензенты в Швеции признали литературный талант Лагерлёф, и она снова взялась за перо.

Период 1891–1897 годов для Лагерлёф – период колебаний, поисков и стилистических экспериментов. Она переживает сомнения, сможет ли она писать: «Я слишком быстро двинулась вперед. Не знаю, в состоянии ли буду сохранить мое место (в литературе. – Л. Б.), не говоря уж о том, чтобы двинуться дальше». Писательница продолжала работать в сказочной манере, публикуя основанные на фольклорном материале, главным образом на народных легендах, сборники новелл и отдельные фантастические повести. Она еще не может отойти окончательно от романа «Сага о Йёсте Берлинге» и в новеллах «Рождественский гость», «История, которая произошла в Хальстанесе» из сборника «Невидимые узы» (1894) прослеживает дальнейшую судьбу ее героев: флейтиста Рустера, музыканта Лильекруны, прапорщика Эрнеклу. В 1899 году писательница выпустила сборник исторических легенд «Королевы из Кунгахэллы», основанных не только на исторических преданиях («Сигрид Стуррода», «Маргарета Миротворица») и т. д., но и на скандинавских сагах, легендах и песнях. Среди новелл сборника особое место занимает поэма «Маргарета Миротворица». Лагерлёф редко выступала как поэт (поэтические вкрапления в роман «Сага о Йёсте Берлинге»). Но для столь волнующей ее темы – мира на земле – она сочла наиболее приемлемой именно форму поэтическую. Дочь шведского короля Инге Старшего преступает свою гордость и соглашается стать женой норвежского короля Магнуса Босого ради мира в Скандинавии.

В том же 1899 году выходит фантастическая повесть «Предание одной господской усадьбы», а в 1904 году повесть «Деньги господина Арне». Из этих книг, по словам Т. Манна, струился «возвещающий, поющий, льющийся поток древних преданий». «Предание одной господской усадьбы» – одно из самых прекрасных в художественном отношении произведений писательницы. Фантастическая история душевнобольного Гуннара Хеде, игра которого на скрипке возвращает к жизни Ингрид (а в свою очередь, ее любовь возвращает ему разум),

написана с потрясающей силой. Точно так же как и повесть «Возница» (1912), героя которой, обитающего в царстве мертвецов, спасает и возвращает к жизни любовь.

«Деньги господина Арне» – великолепная трагическая повесть, написанная, по словам Лагерлёф, на основе «старой истинной истории 1856 года» и скандинавских саг с их темой мести и проклятия. Эта повесть – лишь своеобразное зерно трилогии о Лёвеншёльдах, где похищенный перстень приносит несчастье нескольким поколениям славного рода. «Деньги господина Арне» – в каком-то плане и подготовка антимилитаристского романа «Изгнанник» (1918), где проклятие также тяготеет над старинным родом. Лагерлёф пока еще не создает фундаментальное полотно целостного романа, она еще не отрывается в достаточной степени от предания, где соседствуют живые и мертвые. Основа сюжета у нее – пока лишь цепочка мщения за совершенное преступление. Но уже здесь читатель видит широкую картину народной жизни и множество героев – бедных рыбаков и чистильщиц рыбы. А основная сила, движущая действием, – доброта и любовь, которые побеждают благодаря вмешательству высшей силы, откровения или даже чуда, что особенно проявляется в «Легендах о Христе» (1904).

Основная среда обитания произведений Лагерлёф – Швеция и очень часто Верmland. «В душе своей она никогда не оставляла Морбакку, – писал историк литературы А. Верин. – Для нее в самом деле не было пути от дверей родного дома».

Однако некоторые философские, религиозные, моральные и этические проблемы писательница рассматривает на ином материале. В 1895 году, оставив службу, она всецело посвятила себя литературному творчеству. В 1895–1896 годах Лагерлёф посетила Италию, после чего в 1897 году появился ее новый роман «Чудеса Антихриста», который не завоевал широкого круга читателей, если не считать России. Это – единственный роман Лагерлёф, действие которого происходит не в шведской среде, а в Италии. Основной вопрос, волнующий здесь гуманистку Лагерлёф, – как улучшить существование человека. Однако роман подвергся нападкам за попытки соединить друг с другом христианство и социализм. В романе «Иерусалим» (1901–1902) на переднем плане уже не Верmland, а другая живописная и своеобразная провинция Швеции – Далекарлия. В первой части романа – «В Далекарлии» – она описывает столкновение старой консервативной крестьянской традиции с религиозными сектами. Сначала она ведет читателя в трезвый, глубоко религиозный мир, описывая жизнь деятельного крестьянского рода; затем рассказывает, как этот спокойный, замкнутый мир уничтожается, когда члены секты вынуждают крестьян эмигрировать в Иерусалим, чтобы там ожидать якобы предстоящего пришествия Бога. Во второй части романа – «Иерусалим» – она проследживает дальнейшую судьбу этих крестьян. Национальным эпосом называет этот роман шведская исследовательница В. Эдстрём.

Трудно представить себе, что сказочная книга «Удивительное путешествие Нильса...» сначала мыслилась как учебник для первого класса. Книга, написанная бывшей учительницей в духе демократической педагогики, должна была ярко и образно рассказать школьникам об их родной стране.

«Удивительное путешествие Нильса...» – книга для чтения, учебник, популярная география Швеции. Причем не только география, но и геология, и ботаника, и зоология. Однако, как писал шведский поэт Карл Снойльский, «Лагерлёф удалось оживить и ярко разукрасить сухой песок пустыни – школьный урок, одухотворить и заставить разговаривать леса, скалы, реки родины и даже мертвые залежи руды». Писательница оживила карту Швеции, преподнесла ее как удивительную сказку. Вот рассказ о провинции Упланд, о ее рельефе и достопримечательностях. Он так и называется: «Сага об Упланде», где Упланд предстает в образе бедной странницы. А вот «Сага о Смоланде». Дети никогда не забудут бесплодную, бедную почву, скалистый рельеф Смоланда, потому что сказочница поведала им о судьбе смоландских гусопасов Осы и Матса. История освоения полезных ископаемых также звучит в книге «Сага

о Фалунском руднике». Внутренняя жизнь природы открывается в книге благодаря истории селезня Ярро, истории трогательной дружбы лося Серошкурого и пса Карра.

«Удивительное путешествие Нильса...» построено на народных шведских сказках и легендах. Географические и исторические материалы скреплены здесь сказочной фабулой. Вместе со стаей мудрой гусыни Акки с Кебнекайсе, на спине гуся Мартина Нильс путешествует по всей Швеции. В книге встречается множество животных и птиц, сохранивших, как и в сказках Андерсена, свои естественные, природные особенности и наделенных в то же время многими человеческими чертами. Животные и птицы у Лагерлёф – своего рода «воспитатели». Благодаря им в Нильсе просыпается доброта, он начинает «волноваться чужими несчастьями, радоваться радостями другого, переживать чужую судьбу как свою». В мальчике обнаруживается способность «сопереживать, сострадать и сорадоваться, без которой человек не человек»¹⁴. Полюбив птиц и животных, став их защитником и спасителем, Нильс полюбил и людей. Он понял горе своих родителей, страдания сирот Осы и Матса, трудную жизнь бедняков. Он хочет помочь им, облегчить их участь. Несмотря на увлекательное путешествие, мальчик мечтает вернуться к людям. Это сближает его с Маугли, героем «Книги джунглей» Киплинга, которая помогла Лагерлёф найти решение ее книги в плане анималистском.

У Лагерлёф встречаются эпизоды знакомства Нильса с индустриальной Швецией, хотя она знала ее недостаточно хорошо. Поэтому рудокопы у нее – абстрактные фигуры. И все же писательница видела, что жизнь этих людей тяжела. Неслучайно они мечтают унести с гусиной стаей туда, где нет «ни кирки, ни молота», «ни машин, ни паровых котлов», туда, где не нужны «ни свечи, ни спички».

Книга «Удивительное путешествие Нильса...» вызвала, как уже говорилось, противоречивые отзывы. Некоторые критики называли ее «революцией в нашей педагогике». Однако писательницу больше всего интересовало мнение маленьких читателей, полюбивших ее произведение. «Пока детям весело читать эту книгу, она будет побеждать», – повторяла рассказчица. Когда Лагерлёф спросили, какие из почестей, выпавших ей на долю, она ценит выше всего, она ответила: «Возможность участвовать в жизни моих читателей, помогать им». Время подтвердило высокие достоинства этого произведения, ставшего настольной книгой детей и взрослых не только в Швеции, но и в других странах. В 1909 году писательнице была присуждена Нобелевская премия за благородный идеализм и богатство фантазии.

За читательским признанием последовало признание официальное. В 1907 году Лагерлёф была избрана почетным доктором Упсальского университета. Книги писательницы выходили большими тиражами и мгновенно раскупались. Лагерлёф, мечтавшая стать «поэтом народа», была сторонницей эмансипации женщин, поддерживала их борьбу за избирательные права, за признание личной свободы и независимости. В 1911 году в Стокгольме, на Конгрессе женщин мира, она произнесла речь, в которой призывала женщин к участию в общественной жизни. Успехи движения за эмансипацию в Швеции привели к тому, что в 1914 году членом Шведской академии впервые была избрана женщина. И звали ее Сельмой Лагерлёф. Вскоре разразилась Первая мировая война. Для писательницы, верившей в то, что народы должны жить в мире и взаимопонимании, война была тяжелым ударом. Лагерлёф неоднократно публично выступала в защиту мира. «Доколе слова слетают с моего языка, доколе бьется мое сердце, буду я защищать дело мира», – торжественно поклялась она. Откликом на события Первой мировой войны явился ее антимилитаристский роман «Изгнанник» (1918).

Нобелевская премия позволяет выкупить Морбакку, и рождаются новый роман о столь любимом Вермланде «Дом Лильекруны» (1911), а также множество воспоминаний, новелл и сказок, собранных в сборнике «Тролли и люди» (1915, 1921), среди них литературные сказки «Подменыш» и «Черстин Старшая и Черстин Меньшая». Народный мотив, использованный в

¹⁴ Чуковский К. От двух до пяти. М., 1963. С. 226.

сказке «Подменьш», был известен писательнице с детства, из устной традиции и из сборника преданий Х. Хофберга. Но Лагерлёф подвергает этот мотив глубокой трансформации. Только любовь и жертвенность матери могут вернуть ей ребенка, плененного троллями.

Но еще раньше был написан самый значительный роман писательницы 1910-х годов «Король Португалии» (1914). Некоторые исследователи сравнивают его с лучшими книгами Достоевского. В романе сделана попытка, с точки зрения социальной и психологической, воспроизвести жизнь бедного торпаря. Лагерлёф показывает его бесправие, когда новый хозяин, пользуясь тем, что у Яна нет формальных прав на лачугу, в которой он живет, собирается ее отнять. Однако нищенское существование торпаря освещено его любовью к дочери, любовью, заполнившей все его существо. Эта любовь помогает впоследствии спастись заблудшей дочери нищего торпаря, возмнившего себя королем Португалии.

Историей безграничной любви называли роман «Король Португалии» исследователи. Некоторые писали, что литература раньше знала только одного короля – Лира. Теперь появился ему подобный, но он совершенно не похож на первого: и это – «Король Португалии».

В 1920 году в записных книжках Лагерлёф появились наброски первой части трилогии о Лёвеншёльдах. В том же году вышла и вторая часть трилогии. А 28 ноября 1928 года, в день семидесятилетия писательницы, была опубликована последняя часть – «Анна Сверд».

Трилогия о Лёвеншёльдах – роман, посвященный истории этой семьи на протяжении пяти поколений. Действие начинается около 1730-го и заканчивается в 1860 году. Семейный роман-хроника не был новостью для европейской литературы. Книги о Ругон – Маккарах Золя, «Будденброки» Томаса Манна становятся широко известными в Швеции начала XX века и способствуют возникновению подобного рода романов в творчестве таких крупных писателей, как Яльмар Бергман, Сигфрид Сивертц, Густав Хелльстрём и Свен Лидман. Однако не следует забывать и о том, что семейный роман-хроника появился в Европе в известной степени под влиянием норвежских писателей Александра Хьеллана и Юнаса Ли. Томас Манн, вспоминая о том, как он «глотал» скандинавскую и русскую литературу, писал, что источником романа «Будденброки» были не книги Золя, а скандинавские семейные романы Хьеллана и Ли.

Нельзя сказать, что трилогия Лагерлёф написана в традициях европейского или конкретно шведского семейного романа. Несмотря на отдельные соответствия, ее книги достаточно своеобразны. В плане непосредственных литературных источников писательница ближе к «Старшей Эдде», к книге С. Топелиуса «Рассказы фельдшера», к норвежской традиции, но не традиции Хьеллана и Ли, а скорее С. Унсет. Унсет – сильная и могучая, чуждая женской мелочности, заставила читателей, по мнению Лагерлёф, по-новому заинтересоваться историческим романом. «Исторический роман умер, – писала Лагерлёф в 1926 году, – но, когда гений (Унсет. – Л. Б.) прикладывает к нему руку, роман возрождается к новой жизни».

Трилогия Лагерлёф основана не только на народных и литературных, но и, как у Золя, на документальных источниках. О романе «Шарлотта Лёвеншёльд» писательница сказала: «История, которую я здесь описываю, – истинная». В 1920 году в руки Лагерлёф попали письма и дневники пастора Карла Кристиана Эстенберга (1807–1868). Они-то и послужили основой романов «Шарлотта Лёвеншёльд» и «Анна Сверд», которые Лагерлёф изменила и переосмыслила.

Большинство европейских семейных романов давало широкую картину эпохи. Трилогия о Лёвеншёльдах – картина жизни Швеции XVIII–XIX веков, но в более узком смысле этого слова. Как и у С. Унсет в книгах о Кристин, дочери Лавранса (1920–1922), и Улаве, сыне Аудуна из Хествикена (1925–1927), так и у Лагерлёф, история – фон, на котором разворачиваются события романов. Лагерлёф, бегло касаясь проблем, имеющих значение для всей страны (деятельность Карла XII, вопросы войны и мира, пиетизм), описывает лишь отдельные провинции – Вермланд и Далекарлию. Там люди живут во власти семейных событий и преданий. Размеренный и неторопливый ритм жизни в деревне Медстубюн нарушают лишь помолвки,

свадьбы и поминки, описываемые со всеми этнографическими подробностями. Вместе с тем трилогия – нечто совсем иное, нежели «Сага о Йёсте Берлинге» и «Удивительное путешествие Нильса...».

В трактовке главных героев отчетливой всего проявилась эволюция творчества Лагерлёф. 9 февраля 1925 года она писала, что в романе «Шарлотта Лёвеншёльд» множество точек соприкосновения с книгами, которые она создала раньше. Не только сюжетные, идейные моменты и художественные приемы, но и образы отдельных героев связывают трилогию с книгами «Сага о Йёсте Берлинге» и «Удивительное путешествие Нильса...». Вместе с тем они глубоко отличаются от них. Герой романов «Шарлотта Лёвеншёльд» и «Анна Сверд» пастор Карл-Артур Экенстедт похож на Йёсту Берлинга. Йёста хотел жениться на бедной девушке. Карл-Артур женился на далекарлийской крестьянке, коробейнице Анне Сверд. Йёсту погубило пьянство, Карла-Артура – то, что он был священником, не любившим людей. Он еще более противоречив, чем Йёста. Проповедуя аскетизм, Карл-Артур не отрекается от земной любви к жене Анне. Восхваляя бедность, не отказывается от привычных удобств. Ненавидя деньги, поносит отца и сестер, лишивших его материнского наследства. Презрев своих близких, Карл-Артур всецело доверился лстивой и неискренней Тее Сундлер. Как и Нильс Хольгерссон, Карл-Артур в конце концов научился любить людей. Но если мальчик помещен в среду, где в основном действуют сказочные законы, то образ Карла-Артура дан целиком на фоне реальной Швеции XIX века. Обостренный Первой мировой войной гуманизм писательницы помог ей провести своего героя через все заблуждения его времени, перенести горькие страдания на пути к людям. В Карле-Артуре есть нечто общее с Брэндом Ибсена. Антиподом Карла-Артура является муж Шарлотты – заводчик Шагерстрём. На смену дворянскому сословию Лёвеншёльдов пришел человек новой, капиталистической формации, предприимчивый, энергичный, деловой. Шагерстрём – новый герой Лагерлёф, в котором она видит романтичность, цельность натуры и способность к настоящей любви.

В трактовке героинь не могли не сказаться взгляды Лагерлёф, сторонницы женской эмансипации. Все они, начиная с Шарлотты и кончая баронессой Амелией, восставшей против мужа, личности с ясно обозначенными характерами.

В своей трилогии Лагерлёф отобразила и жизнь крестьянства. Рабочих она не знала: в трилогии они – эпизодические персонажи. В крестьянах же писательница видит честность, мужество, верность, достоинство и трудолюбие.

В отличие от других произведений Лагерлёф в трилогии сравнительно мало внимания уделяется природе. Но все пейзажные зарисовки чрезвычайно поэтичны, природа созвучна настроению героев. Драматично-напряженное действие романа «Перстень Лёвеншёльд» и последней части романа «Анна Сверд» изобилует увлекательными событиями. Размерно-неторопливо, порой приближаясь к стилю исландского эпоса, использованного и в романах С. Унсет, движется действие в книге «Шарлотта Лёвеншёльд» и в двух первых частях романа «Анна Сверд». Стиль Лагерлёф диктуется содержанием ее произведений. В романе «Перстень Лёвеншёльд» встречается высокая патетика наряду с простотой изложения. Лиризм и юмором, напоминая порой диккенсовский, проникнуты многие страницы психологического романа «Шарлотта Лёвеншёльд» и отдельные главы романа «Анна Сверд». Некоторые главы воспринимаются как юмористические новеллы. Каждый из романов Лагерлёф отличается своеобразным языком. Слегка архаизован язык в романе «Перстень Лёвеншёльд». В последующих частях архаизация постепенно исчезает, уступая место более современному языку. Лагерлёф свойственно строгое разграничение речи действующих лиц в зависимости от их общественного положения и образования: церковная лексика в разговорах людей духовного звания, просторечие у крестьян. Диалоги образованных людей отличаются обилием галлицизмов, типичных для XVIII века. Анна Сверд, матушка Сверд, сестра Рис Карин, Ансту Лиза и другие коробейники говорят на далекарлийском диалекте. В трилогии

постоянно ощущается присутствие рассказчика, который порой комментирует происходящее, порой вмешивается в ход событий и всегда горячо переживает все перипетии.

В последнем своем крупном произведении Лагерлёф создала не только цельные романы с единством действия, но и законченную историческую эпопею.

Известный шведский писатель Свен Дельбланк как-то сказал, что Швеции было суждено подарить миру Сельму Лагерлёф. И шведы надеются, что читатели еще долго будут отдавать должное этому подарку.

Разделяя надежды соотечественников замечательной писательницы, остается добавить, что залогом их надежд является неоспоримая художественность произведений Лагерлёф, их актуальность для современного читателя. Они ярко освещают историю Швеции, ее фольклор, глубоко раскрывают психологию людей минувших эпох, их непреходящие чувства. Не случайно С. Льюис назвал в 1930 году имя Сельмы Лагерлёф среди имен крупнейших писателей современной ему Европы – Томаса Манна, Герберта Уэллса, Леона Фейхтвангера, Сигрид Унсет, Романа Роллана.

Людмила Брауде

Сага о Йёсте Берлинге

Вступление

I. Пастор

Наконец-то пастор поднялся на церковную кафедру.

Прихожане подняли головы. Явился все-таки! Стало быть, в это воскресенье он отслужит обедню, не то что на прошлой неделе и много-много воскресений тому назад.

Пастор был молод, высок ростом, статен и ослепительно красив. Если бы водрузить на голову этого человека шлем, опоясать его мечом и надеть на грудь кольчугу, его можно было бы изваять в мраморе и дать скульптуре имя прекраснейшего из афинян.

Пастор обладал глубоким взглядом поэта и твердым, округлым подбородком полководца; все в нем было прекрасно, утонченно, выразительно, все сверкало умом и духовностью.

Люди в церкви были просто ошеломлены, увидев его таким. Более привычно было видеть, как он, пошатываясь, выходит из харчевни вместе с веселыми сотоварищами, такими, как Бееренкройц – полковник с густыми седыми усами, и бравый капитан Кристиан Берг.

Пастор так отчаянно пил, что неделями не мог отправлять службу, и прихожанам пришлось подавать на него жалобу сначала пробсту, а потом епископу и в соборный капитул. И ныне епископ прибыл в здешнюю общину, чтобы учинить розыск и суд. Он восседал на хорах с золотым крестом на груди, а вокруг него сидели школьные пасторы из Карлстада и пасторы из соседних приходов.

Сомнений не было – пастор, стоявший на кафедре, поведением своим преступил границы дозволенного. Тогда, в двадцатые годы девятнадцатого века, на пьянство смотрели сквозь пальцы, но этот человек пьянства ради пренебрег своей должностью и ныне будет лишен ее.

Он стоял на церковной кафедре и ждал, пока отзвучит последний стих псалма.

Внезапно его обуяла уверенность в том, что в церкви у него – одни лишь враги, враги на всех скамьях. Среди господ помещиков на галерее, среди крестьян внизу в церкви, даже среди confirмуемых детей в хоре – всюду были у него враги, одни лишь враги. Это его враг нажимал на клавиши органа, а его злейший враг играл на нем. И на скамье церковных старост у него были враги. Все они ненавидели его, начиная с малых детей, коих вносили в церковь на руках, вплоть до церковного сторожа – чопорного и одеревенелого солдата, сражавшегося в битве под Лейпцигом.

Пастору хотелось пасть на колени и молить их о милосердии.

Но в следующий миг им овладел гнев. Он хорошо помнил, каков он был, когда год назад вступил впервые на эту кафедру. Тогда он был безупречен, а сейчас он стоит и смотрит вниз на человека с золотым крестом на груди, явившегося в церковь, чтобы вынести ему приговор.

И пока он читал вступление, волны крови одна за другой заливали его лицо. То были волны гнева.

Он пил – это правда, но кто смеет обвинять его в этом?! Кто из них видел усадьбу пастора, где ему пришлось жить? Еловый лес, темный и мрачный, подступал прямо к окнам. Капли сырости проникали сквозь черные крыши, стекали по заплесневелым стенам. А когда дождь или вьюга врывались в разбитые окна, когда неухоженная земля не желала родить вдоволь хлеба, чтобы утолить голод, что, кроме спиртного, могло поддержать бодрость духа?

Ведь он и есть точно такой пастор, какого они заслуживают. Ведь они сами пили – все до единого. Почему он один должен был наложить на себя епитимью? Похоронивший жену

напивался допьяна на поминках; отец, окрестивший дитя, затевал потом на крестинах пьяную пирушку. Прихожане пили, возвращаясь из церкви, так что большинство из них являлось домой хмельными. Стало быть, и спившийся пастор им под стать!

Ему случалось пить во время поездок по приходу, когда он в своей тоненькой рясе проезжал милю за милей по замерзшим озерам, где все самые холодные на свете ветры назначали свидание друг другу; это случалось, когда на этих самых озерах его швыряло в лодке в бурю и непогоду; это случалось, когда он в пургу вынужден был вылезать из саней и прокладывать лошади дорогу сквозь высокие, как дом, сугробы или когда переходил вброд лесное болото. Вот тогда-то он и пристрастился к вину.

Мрачно и тяжело влачили для него дни этого года. Все мысли крестьянина и помещика день-деньской были связаны с бранным земным существованием. Но по вечерам души, раскрепощенные спиртным, сбрасывали с себя оковы. Рождалось вдохновение, согревалось сердце, жизнь начинала сверкать всеми красками; звучали песни, благоухали розы. Харчевня на постоялом дворе казалась ему тогда южным заморским садом с цветниками. Гроздья винограда и оливы свисали у него над головой, мраморные статуи сверкали среди темной листвы, мудрецы и поэты разгуливали под пальмами и платанами.

Нет, пастор, стоявший на церковной кафедре, знал, что в здешних краях без вина не прожить. Да и все, кто слушал его проповеди, знали это, а теперь они хотят его судить!

Они сорвут с него рясу священника за то, что он хмельным являлся в их Божий дом. Ах, все эти люди! Верят ли они сами в то, что для них существует хоть какой-нибудь бог, кроме спиртного?!

Он прочитал вступление и преклонил колени, чтобы прочитать «Отче наш».

Мертвая тишина стояла в церкви во время молитвы. Внезапно пастор обеими руками схватился за тесемки, удерживавшие на нем рясу. Ему почудилось, будто все прихожане во главе с епископом крадутся вверх по лесенке, ведущей на кафедру, чтобы сорвать с него облачение. Он стоял на коленях, не поворачивая головы, но отчетливо ощущал, как они срывают с него пасторское одеяние; и он видел их так явственно – и епископа, и школьных пасторов, и пробстов, и церковных старост, и пономаря, и всю эту длинную вереницу прихожан, разрывающих в клочья и стаскивающих с него облачение. И пастор живо представил, как все эти люди, столь ревностно накинувшиеся на него, попададут друг на друга по всей лесенке, когда тесемки развяжутся. А все те, кто внизу и кому не удалось вцепиться в него, ухватятся лишь за полы сюртука стоящих впереди и тоже упадут.

Он видел это так явственно, что не мог не улыбнуться, стоя на коленях. Но в то же время холодный пот выступил у него на лбу – все, вместе взятое, было слишком ужасно. Ему придется стать отверженным, и виной этому – спиртное. Ему предстоит стать священником, лишенным сана. Есть ли на свете участь более постыдная?

Ему придется стать одним из нищих с проселочной дороги, валяться хмельным у обочины, носить рубище, знаться со всяким сбродом.

Он кончил читать молитву. Надо было переходить к проповеди. Но тут вдруг его осенило, и слова замерли на его устах. Он подумал, что ныне в последний раз стоит тут на кафедре и возвещает славу Божью.

В последний раз! Эта мысль захватила пастора. Он забыл обо всем – и о спиртном, и о епископе. Он подумал, что ему необходимо воспользоваться случаем и восславить Бога.

Ему показалось, будто пол в церкви вместе со всеми прихожанами опустился глубоко-глубоко вниз, а свод поднялся так высоко, что он заглянул прямо в небеса. Он стоял один, совсем один на кафедре, но его душа вознеслась в разверзшиеся над ним небеса, его голос стал могуч, звучен, и он возвестил славу Божью.

Он был вдохновенным импровизатором. Он презирал написанную им проповедь, и мысли будто снизошли на него, витая над ним, словно стая ручных голубей. Ему казалось,

будто говорил не он сам; но он понимал также, что ему достался самый высокий удел на земле и что никому на свете, даже утопающему в блеске и блаженстве, не выпадало удела более высокого, нежели ему, стоящему здесь, на кафедре, и возвещающему славу Божью.

Он говорил до тех пор, пока его осеняло вдохновение; когда же оно угасло и свод церкви опустился вниз, а пол снова поднялся высоко-высоко вверх, он склонился и заплакал, ибо счел, что жизнь даровала ему свой звездный час и что теперь все кончено.

После богослужения началось дознание и церковный сход. Епископ спросил прихожан, есть ли у них жалобы на приходского пастора.

Пастор не был больше гневен и строптив, как перед проповедью. Напротив, теперь он опустил голову от стыда. О, сколько посыпется сейчас злосчастных историй о его пьяных пирушках! Но ни одной не последовало. Вокруг большого стола в приходском доме стояла мертвая тишина.

Пастор поднял глаза. Сначала на пономаря, но нет, тот молчал, затем на церковных старост; он поглядел на именитых крестьян и горнозаводчиков. Все они молчали. Губы их были плотно сжаты, и они чуточку смущенно смотрели вниз, на стол.

«Они ждут, когда кто-нибудь начнет!» – подумал пастор.

Один из церковных старост откашлялся.

– Я полагаю, у нас ныне редкостный пастор, – заявил он.

– Вы, достопочтенный господин епископ, сами слышали, как он читает проповедь, – вставил пономарь.

Епископ стал говорить о том, что их пастор частенько не отправлял службы.

– Пастор вправе занедужить, как и всякий смертный, – заметили крестьяне.

Епископ намекнул на их недовольство образом жизни пастора.

Они в один голос стали защищать его. Он так молод, их пастор. Ничего худого в том нет. Пусть только он всегда читает проповеди так, как нынче, и они не променяют его даже на самого епископа.

Обвинителя не нашлось, не могло быть и судьи.

Пастор почувствовал, как отлегло у него от сердца и как быстро заструилась в жилах кровь. Подумать только, он больше не был среди врагов, он одержал над ними верх в ту минуту, когда меньше всего ожидал, что останется священником!

После дознания и епископ, и школьные пасторы, и пробсты, и самые именитые прихожане обедали в усадьбе пастора.

Одна из соседок взяла на себя все хлопоты о праздничном обеде, поскольку пастор не был женат. Она устроила все как нельзя лучше, и у него впервые открылись глаза на то, что усадьба вовсе не была столь уж неприятна. Длинный обеденный стол был накрыт на воле под елями. На белой скатерти красовался сине-белый фарфор, хрустальные бокалы и сложенные салфетки. Две березки склонились у входа в дом, ветки можжевельника были рассыпаны на полу в сенях, наверху, совсем рядом с коньком крыши, висел венок из цветов, горницы были также украшены цветами, запах плесени был изгнан, а зеленоватые стекла в окнах дерзко сверкали на солнечном свету.

Пастор так радовался, от всего сердца. Он думал, что никогда больше не станет пить.

За обеденным столом не было никого, кто бы не радовался. Радовались те, кто был великодушен и простил его, а высокопоставленные священнослужители радовались, что избежали скандала.

Добрый епископ поднял бокал и стал говорить о том, что с тяжким сердцем отправился в эту поездку, ибо до него доходило немало дурных слухов. Он выехал сюда, дабы встретить Савла, однако же Савл уже превратился в Павла, которому пришлось куда больше трудиться, чем им всем, вместе взятым.

И далее благочестивый господин заговорил о тех богатейших духовных дарах, кои выпали на долю их юного собрата. И он стал восхвалять эти дары, но вовсе не ради того, чтобы молодой пастор возгордился. А ради того, чтобы он напряг свои силы и пекся бы о себе самом, как и подобает тому, кто несет на плечах своих столь непомерно тяжкую и драгоценную ношу.

В тот день пастор не был пьян, но он был во хмелю. Все это великое, неожиданное счастье ударило ему в голову. Пламя вдохновения осенило его по воле небес, а люди одарили его своей любовью. Кровь по-прежнему лихорадочно, с неистовой быстротой струилась в его жилах даже тогда, когда настал вечер и гости разъехались. Далеко за полночь сидел он, бодрствуя в своей горнице, а легкий воздух лился в открытое окно, чтобы охладить этот пыл блаженства, это сладостное беспокойство, не позволявшее ему уснуть.

И тут вдруг послышался голос:

– Ты не спишь, пастор?

Какой-то человек шагал по лужайке прямо к его окну.

Выглянув в окно, пастор узнал капитана Кристиана Берга, одного из верных своих собутельников. Бродягой без кола и без двора был этот капитан Кристиан, а по силе и росту своим – великаном. Он был огромен, словно гора Гурлита, а глуп, словно горный тролль.

– Конечно, я на ногах, капитан Кристиан, – ответил пастор. – Неужто ты думаешь, что в такую ночь можно спать?

Послушайте же, что сказал ему капитан Берг! Великана одолевали тяжкие предчувствия: он понял – пастор теперь не посмеет больше бражничать. «Не видать ему ныне покоя, – думал капитан Кристиан, – потому что эти школьные пасторы из Карлстада, проторившие сюда дорожку, могут ведь снова явиться и сорвать с него рясу, если он запыет».

Но теперь он, капитан Берг, приложил свою тяжелую руку к этому доброму делу, теперь он устроил все так, что все эти школьные пасторы никогда не явятся сюда вновь, ни они, ни их епископ. Так что пастор и его дружки смогут сколько угодно душе пьянствовать здесь, в его усадьбе.

Послушайте же, какой славный подвиг совершил он, Кристиан Берг, бравый капитан!

Когда епископ и оба школьных пастора сели в свой крытый экипаж и дверцы крепко-накрепко закрылись за ними, он уселся на облучок и прокатил их милою или две в светлую летнюю ночь.

И вот тогда-то Кристиан Берг дал высокочтимым отцам почувствовать, сколь бrenна человеческая жизнь. Он гнал лошадей во весь опор. Разве можно быть столь нетерпимым к тому, что честный человек иной раз и напьется.

Думаете, он ехал с ними по дороге, думаете, он оберегал их от толчков? Вовсе нет; он мчал через канавы и прямо по жнивью, головокружительным галопом мчал он вниз по склонам холмов вдоль берега озера, так что вокруг колес бурлила вода. Он чуть не застрял в трясине, а когда гнал лошадей по голым скалам, ноги их деревенели и скользили точно по льду. А тем временем епископ и школьные пасторы с побледневшими лицами сидели в экипаже, за кожаными шторками, и бормотали молитвы. Худшей поездки у них никогда в жизни не было.

Подумать только, в каком виде приехали они, должно быть, на постоялый двор в Рисс-этере! Они были живы, но их растрясло, как дробинки в кожаном патронташе охотника!

– Что это значит, капитан Кристиан? – спросил епископ, когда он отворил им дверцу экипажа.

– Это значит, что епископ еще дважды подумает, прежде чем совершить новую поездку и учинить дознание Йёсте Берлингу, – ответил капитан Кристиан.

Эту фразу он придумал заранее, чтобы не сбиться.

– Передай тогда Йёсте Берлингу, – сказал епископ, – что к нему никогда больше не приедут ни я, ни какой-либо другой епископ!

Вот об этом-то подвиге бравый капитан Берг и поведал пастору, стоя у открытого окна в летнюю ночь. Потому что именно он, капитан, немедленно и явился к пастору с новостями.

– Теперь можешь быть спокоен, твое преподобие, дорогой мой брат! – сказал он.

Ах, капитан Кристиан, капитан Кристиан! С побледневшими лицами сидели школьные пасторы в экипаже за кожаными шторками, однако же пастор у окна казался куда бледнее в светлой летней ночи. Ах, капитан Кристиан!

Пастор даже поднял было руку, примериваясь нанести страшный удар по неотесанному, глупому лицу великана, но удержался. С грохотом захлопнул он окно и встал посреди горницы, потрясая сжатым кулаком.

Он, кого осенило пылающее пламя вдохновения, он, кому дано было возвестить славу Божью, стоял и думал: какую злую шутку сыграл с ним Бог.

Разве епископ не вправе думать, что капитана Кристиана подослал сам пастор? Разве он не вправе думать, что пастор этот целый день лгал и лицемерил? Теперь он всерьез учинит розыск, теперь он лишит его и сана, и должности.

Когда настало утро, пастора в усадьбе уже не было. Он и не подумал остаться, чтобы защитить себя. Бог сыграл с ним злую шутку. Бог не желал помочь ему. Он знал: его все равно лишат сана. Так желает Бог. Так что ему лучше сразу же уйти.

Это случилось в начале двадцатых годов девятнадцатого века в одном из отдаленных приходов Западного Вермланда.

То было первое несчастье, выпавшее на долю Йёсты Берлинга. Оно не стало последним.

Ведь жеребят, которые не выносят ни шпор, ни кнута, жизнь представляется тяжелой. При любой боли, выпадающей им на долю, они мчатся прочь по нехоженным тропам прямо навстречу разверзающимся пред ними пропастям. Лишь только тропа становится каменистой, а путь горестным, им неведомо иное средство, нежели одно – опрокинуть воз и бешеным галопом умчаться прочь.

II. Нищий

Однажды холодным декабрьским днем по склону холма в Брубю поднимался нищий. Одет он был в ужасающие лохмотья, а башмаки его были до того изношены, что холодный снег леденил его мокрые ноги.

Лёвен – длинное, узкое озеро в Вермланде, которое в нескольких местах перерезано длинным же узким проливом. На севере оно простирается ввысь, к лесам Финмарка, на юге же спускается вниз к озеру Венерн. На берегах Лёвена располагается множество приходов, но самый большой и самый богатый из них – приход Бру. Он занимает добрую часть озерного побережья как на восточной, так и на западной его стороне. Но на западном берегу также лежат самые крупные усадьбы, такие поместья, как Экебю и Бьёрне, широко известные своими богатствами и красотой, а еще большое селение в приходе Брубю с постоянным двором, зданием суда, жилищем ленсмана, усадьбой священника и рыночной площадью.

Брубю стоит на крутом косогоре. Нищий прошел мимо постоянного двора у самого подножия и из последних сил устремился наверх, к вершине, где расположилась усадьба приходского пастора.

Впереди него поднималась в гору маленькая девочка, тянувшая санки, груженные мешком с мукой. Нищий догнал девочку и заговорил с ней.

– Такая маленькая лошадка – и такой большой воз! – сказал он.

Девочка обернулась и посмотрела на него. Это была малышка лет двенадцати с острым взглядом пронизательных глазок и плотно сжатым ртом.

– Дал бы Бог лошадку поменьше, а воз побольше, так и муки, верно, хватило бы подольше! – ответила девочка.

– Так ты тащишь вверх еду для самой себя?

– Слава богу, для себя, это так. Как я ни мала, мне самой приходится добывать свой хлеб. Нищий ухватился за спинку саней, чтобы подтолкнуть их.

Обернувшись, девочка посмотрела на него.

– Не надейся, – сказала она, – за твою помощь ничего тебе не перепадет!

Нищий расхохотался.

– Ты, верно, и есть дочка пастора из Брубю?

– Да. Беднее отцы есть у многих, хуже моего – ни у кого нет. Это – святая правда, хотя стыд и позор, что родное его дитя вынуждено такое говорить.

– Говорят, отец твой скуп и зол.

– Да, он скуп и зол, но люди думают, что дочка его станет еще хуже, коли выживет.

– Думаю, люди правы, эх ты! Да, хотел бы я знать, где ты раздобыла этот мешок?!

– Невелика важность, если я даже скажу тебе об этом. Утром я взяла зерно в отцовском амбаре, а сейчас была на мельнице.

– А он не увидит тебя, когда ты притащишься с этим домой?

– Ты, верно, слишком рано бросил школу! Отец уехал по приходским делам, понятно!

– Кто-то едет следом за нами в гору. Я слышу, как скрипят полозья. Подумать только, а вдруг это отец едет!

Девочка прислушалась, всматриваясь вниз, а потом громко заревела.

– Это отец! – всхлинула она. – Он меня убьет! Он меня убьет!

– Да, теперь дорог добрый совет, а быстрый совет – дороже серебра и золота, – сказал нищий.

– Вот что, – продолжал ребенок, – ты можешь помочь мне. Берись за веревку и тащи санки. Тогда отец подумает, что санки твои.

– А что мне потом с ними делать? – спросил нищий, перекидывая веревку через плечо.

– Тащи их сначала куда вздумается, но вечером, когда стемнеет, приходи с ними в усадьбу пастора. А я уж подкараулю тебя. Приходи с мешком и санками, понятно?!

– Попытаюсь!

– Берегись, если не явишься, – воскликнула девочка, убегая, чтобы успеть домой раньше отца.

С тяжелым сердцем поворотил нищий санки и стал толкать их вниз, к постоялому двору.

У бедняги, когда он полубосой брел по снегу, была своя мечта. Он шел, думая о бескрайних лесах к северу от озера Лёвен, о бескрайних лесах Финмарка.

Здесь, в приходе Бру, где он в эту минуту вез санки вдоль пролива, соединяющего Верхний и Нижний Лёвен, в этом прославленном своими богатствами и весельем краю, где усадьбы и заводы стоят бок о бок, здесь каждая тропа была для него чрезмерно тяжела, каждая горница тесна, каждая кровать жестка. Здесь он дико тосковал о покое бескрайних, вечных лесов.

Здесь он слышал бесконечные удары цепов на каждом гумне, словно урожай никогда не удастся обмолотить до конца. Вozy, груженные бревнами, и повозки с плетеными корзинками для угля непрерывно спускались вниз из неистощимых лесов. Телеги с рудой нескончаемым потоком тянулись по дорогам, по глубоким колеям, оставленным сотнями их предшественников. Он видел здесь, как сани, битком набитые ездоками, торопливо сновали меж усадеб; и ему казалось, будто сама радость держит в руках вожжи, а красота и любовь стоят на запятках. О, как мечтал бредущий здесь бедняга подняться в горы и обрести покой великих вечных лесов!

Там, вдали, где на равнинных землях поднимаются прямые, подобные столбам деревья, где снег толстым тяжелым покровом покоится на неподвижных ветвях, где бессилён ветер и где он лишь тихо-тихо играет с хвоей в верхушках деревьев, там хотелось ему брести, углубляясь все дальше и дальше в лесную чащу. Брести до тех пор, пока однажды силы не изменят ему и он не рухнет под огромными деревьями, умирая от голода и холода.

Он мечтал о большой, осененной шелестом листвы могиле над Лёвеном, где его одолеют силы тленья, где голоду, холоду, усталости и винным парам удастся наконец уничтожить это бренное тело, которое могло вынести все.

Он спустился вниз к постоялому двору, желая дожидаться там вечера. Он вошел в буфетную и сел, тупо расслабившись, у дверей, по-прежнему мечтая о покое вечных лесов.

Хозяйка постоялого двора сжалилась над ним и поднесла ему рюмку вина. Она поднесла и вторую после того, как он стал истово умолять ее об этом.

Но наливать ему даром она больше не пожелала, и нищий впал в полное отчаяние. Ему нужно было выпить еще и еще этого горячительного, сладостного напитка. Ему нужно было еще раз почувствовать, как сердце пляшет в груди, а мысли полыхают от хмеля. О, это сладостное пшеничное вино! Летнее солнце, пение птиц, благоухание и красота лета сливались воедино в прозрачных, волнующих глотках. Еще хоть раз, прежде чем исчезнуть во мраке ночи, жаждет он испить солнца и счастья.

И вот сначала он обменял на вино муку, потом мешок из-под муки, а напоследок – санки. Выпив, он сильно захмелел и проспал добрую часть послеобеденного времени на скамье в харчевне.

Пробудившись, он понял, что ему остается лишь одно. Раз это жалкое тело одержало верх над его душой, раз он смог пропить то, что доверил ему ребенок, раз он – позор для всей вселенной, он должен освободить ее от столь жалкого бремени. Он должен вернуть своей душе свободу, позволить ей вознестись к Богу.

Лежа на скамье в буфетной, он судил самого себя:

– Йёста Берлинг, лишенный сана пастор, обвиняемый в том, что пропил муку, принадлежавшую голодному ребенку, присуждается к смерти. К какой смерти? К смерти в снежных сугробах!

Он плакал от жалости к самому себе, к своей бедной оскверненной душе, которой должно было вернуть свободу.

Отошел он недалеко и с дороги не сворачивал.

Схватив шапку, нетвердо держась на ногах, вышел он из харчевни. У самой обочины стоял высокий сугроб. Он бросился туда, чтобы умереть. Закрыв глаза, он попытался уснуть.

Никто не знает, как долго он так лежал, но в нем еще теплилась жизнь, когда по дороге примчалась с фонарем в руках дочка пастора из Брубю и нашла его в сугробе у обочины. Она несколько часов простояла на косогоре, ожидая его. Теперь она примчалась с вершины холма в Брубю, чтобы отыскать его.

Она тотчас узнала его и начала трясти и кричать изо всех сил, надеясь разбудить.

Ей нужно было узнать, куда он девал ее мешок с мукой.

Ей нужно было вернуть Йёсту к жизни, хотя бы ненадолго: пусть скажет, что случилось с санками и мешком с мукой. Милый папенька убьет ее, если его санки пропали. Кусая нищему палец и царапая ему лицо, доведенная до крайнего отчаяния, она не переставала кричать.

Тут на дороге показался какой-то проезжий.

– Черт возьми, кто это тут кричит? – спросил чей-то суровый голос.

– Хочу узнать, куда этот парень подевал мой мешок с мукой и мои санки, – зарыдал ребенок, колотя сжатыми кулачками грудь нищего.

– Так это ты когтишь замерзшего человека? А ну брысь отсюда, дикая кошка!

Ездок оказался высокой, крепко сколоченной женщиной. Она вылезла из саней и подошла к сугробу. Схватив девочку за шиворот, она швырнула ее на дорогу. Затем, нагнувшись, обхватила руками тело нищего, подняла его с дороги, отнесла к саням и положила его туда.

– Езжай с нами на постоялый двор, дикая кошка! – крикнула она дочке пастора. – Послушаем, что ты знаешь об этом деле!

Спустя час нищий сидел на стуле у дверей в лучшей горнице постоянного двора, а перед ним стояла та самая властная госпожа, которая спасла его от смерти в сугробе.

Тысячу раз слышал Йёста Берлинг, как описывали ее именно такой, какой он ныне увидел ее, едущей домой от угольных ям в лесах. С закопченными руками и глиняной трубкой в зубах, одетую в ничем не подбитый овчинный полушубок, в домотканую шерстяную юбку, в смазных башмаках на ногах и с ножом за поясом, – такой он увидел ее. С зачесанными назад седыми волосами, обрамляющими ее старое, красивое лицо... И он понял, что столкнулся со знаменитой майоршей из Экебю.

Она была самой могущественной женщиной Вермланда, владельницей семи заводов, привыкшей повелевать и привыкшей, чтобы ей повиновались. Он же был всего-навсего несчастный, приговоренный к смерти человек, лишенный всего, знающий, что каждая тропа для него чрезмерно тяжела, каждая горница тесна... Он дрожал от ужаса, когда взгляд ее останавливался на нем.

Она молча стояла, глядя на представшего пред ней жалкого человека, погрязшего в пороках, на его красные опухшие руки, на истощенное тело, на великолепную голову, которая даже теперь, в крайней своей запущенности и неухоженности, сверкала дикой красотой.

– Ты – Йёста Берлинг, сумасшедший пастор? – спросила она.

Нищий по-прежнему сидел недвижно.

– А я, я – майорша из Экебю!

Дрожь пробежала по телу нищего. Сжав руки, он поднял на нее взгляд, исполненный тоски. Что она с ним сделает? Неужто она заставит его жить? Он трепетал пред ее силой. И все-таки он был столь близок к покою вечных лесов.

Она начала битву за его жизнь, сказав, что дочке пастора из Брубю вернули санки и мешок с мукой. И что у нее, майорши, есть для него, как и для многих других бездомных бедняг, прибежище в кавалерском флигеле в Экебю. Она предложила ему жизнь, полную удовольствий и веселья, но он ответил, что должен умереть.

Тогда, ударив кулаком по столу, безо всяких обиняков, она заставила его выслушать, о чем она думает.

– Вот как, ты жаждешь умереть, вот как, ты жаждешь этого! Меня бы это не очень удивило, если бы ты и в самом деле был жив! Посмотрите-ка на это изможденное тело, на эти бесильные руки и ноги, на эти потухшие глаза! И ты еще думаешь, будто в тебе хоть что-то еще может умереть! Неужто ты полагаешь, что мертвец – это непременно тот, кто, неподвижный и оцепеневший, лежит в заколоченном гробу?! Неужто ты думаешь, что я стою здесь и не вижу: ты, ты, Йёста Берлинг, – мертв?!

Я вижу, что вместо головы у тебя череп мертвеца, и мне кажется, будто черви выползают у тебя из глазниц! Разве ты не чувствуешь, что рот твой набит землей? Разве ты не слышишь, как гремят твои кости, стоит тебе шевельнуться?

Ты, Йёста Берлинг, утопил себя в вине, ты мертв.

Единственное, что живо в тебе и еще шевелится, – это лишь кости мертвеца, а ты не желаешь позволить им жить. Если можно назвать это жизнью?! Это все равно что позволить мертвецам плясать на могилах при свете звезд. Уж не стыдишься ли ты того, что тебя лишили сана, раз ты хочешь умереть? Нужно сказать, тебе было бы куда больше чести, если бы ты нашел применение своим дарованиям и принес какую ни на есть пользу цветущей земле Божьей. Почему ты сразу же не явился ко мне, я бы все уладила? Да, теперь, верно, ты ждешь великой чести от того, что тебя завернут в саван, положат на смертную солому и назовут прекрасным трупом?!

Нищий сидел спокойно, почти улыбаясь, пока она обрушивала на него гневные слова. Никакой опасности, ликовал он, никакой опасности! Вечные леса ждут тебя, и не в ее власти отратить от них твою душу. Но майорша замолчала и сделала несколько шагов назад-вперед по

горнице. Затем она села перед очагом, поставила ноги на каменную плиту и оперлась локтями о колени.

– Тысяча чертей! – сказала она и тихо засмеялась как бы про себя. – В том, что я говорю, куда больше правды, нежели мне самой приходит в голову. Уж не думаешь ли ты, Йёста Берлинг, что большинство людей в этом мире – мертвы или полумертвы? Уж не думаешь ли ты, что я жива? О нет! О нет!

Да, погляди на меня, погляди. Я – майорша из Экебю, и я, верно, самая могущественная госпожа в Вермланде. Шевельни я пальцем – и тотчас же примчится губернатор, шевельни я двумя – примчится епископ, шевельни я тремя – и весь соборный капитул, и советники, и все заводчики начнут отплясывать польку на площади в Карлстаде. Однако ж, тысяча чертей, мальчик, я заявляю тебе: я не что иное, как одетый труп. Одному Богу ведомо, сколь мало во мне жизни.

Наклонившись вперед на своем стуле, нищий всеми фибрами души впитывал ее слова. Старая майорша сидела, качаясь из стороны в сторону перед очагом, и говорила, не глядя на него.

– Тебе, верно, не приходит на ум, – продолжала она, – что, будь я жива, я бы при виде тебя, столь жалкого и удрученного, мигом избавила бы тебя от подобных мыслей. Нет, конечно, не приходит. Тогда у меня нашлись бы для тебя и слезы, и мольбы, которые перевернули бы твою душу, и я спасла бы ее. Но отныне я – мертва.

Слышал ли ты, что некогда я была красавицей Маргаретой Сельсинг? То было далеко не вчера, но я все еще могу оплакивать ее так, что мои старые глаза еще краснеют от слез. Почему Маргарете Сельсинг суждено было умереть, а Маргарете Самселиус – жить, почему майорше из Экебю суждено жить, ответь мне, Йёста Берлинг.

Какой была Маргарета Сельсинг? Она была стройна и тонка, застенчива и невинна. На могиле таких, как она, плачут ангелы.

Она не ведала зла, никто никогда не причинял ей горя, она была добра ко всем. Она была красавица, настоящая красавица.

И был на свете один видный и прекрасный человек. Звали его Альтрингер. Бог знает, как его угораздило попасть сюда на север, на дикие пустоши Эльвдалена, где у ее родителей был собственный завод. Маргарета Сельсинг увидела его. Он был прекрасным человеком и красивым мужчиной, и он полюбил ее.

Но он был беден, и они порешили ждать друг друга пять лет, как поется в песне.

Когда прошло три года, у нее появился новый жених, уродливый и мерзкий. Но родители ее, полагая, что он богат, принудили Маргарету Сельсинг не мытьем, так катаньем, побоями и жестокосердными словами взять его в мужа. Видишь ли, Маргарета Сельсинг умерла в тот самый день.

С тех пор больше не существовало на свете Маргареты Сельсинг, а существовала лишь майорша из Экебю. И она не была ни добра, ни застенчива, она верила только в великое зло и не замечала добра.

Ты знаешь, верно, что случилось потом. Мы жили в имении Шё, майор и я. Но он не был богат, как говорили люди. И у меня нередко бывали тяжелые дни.

Но тут вернулся Альтрингер – теперь он был богат. Он стал хозяином Экебю, по соседству с Шё. Он сделался хозяином еще шести заводов близ озера Лёвен. Он был дельный, предприимчивый, прекрасный человек!

Он помогал нам в нашей бедности. Мы разъезжали в его экипажах, он посылал съестные припасы на нашу поварню, вина для нашего погреба. Он наполнил мою жизнь пирами и увеселениями. Майор отправился на войну, но что нам было до этого! Один день я гостила в Экебю, на другой день он приезжал в Шё. Казалось, на берегах Лёвена тогда вечно веселились и водили хороводы.

Но тут обо мне и об Альтрингере пошла недобрая молва. Если бы Маргарета Сельсинг была жива, ей это бы причинило большое горе, но мне было хоть бы что. Тогда я еще не понимала: я столь бесчувственна оттого, что мертва.

Но вот молва о нас дошла до моих отца с матерью, туда, где они жили среди угольных ям в лесах Эльвдалена. Старушка, недолго думая, отправилась сюда, к озеру, чтобы поговорить со мной.

Однажды, когда майора не было дома, а я сидела за столом с Альтрингером и другими гостями, приехала она. Я увидела, как она вошла в зал, но я, Йёста Берлинг, не почувствовала даже, что она – моя мать. Я поздоровалась с ней как с чужой и пригласила сесть к моему столу и принять участие в трапезе.

Она хотела поговорить со мной как с дочерью. Но я сказала, что она ошиблась – мои родители умерли, они оба умерли в день моей свадьбы.

Тогда она приняла условия игры. Ей было семьдесят лет, двадцать миль проехала она за три дня! И вот она безо всяких церемоний села за стол и принялась за еду. Она была на редкость сильным человеком.

Она сказала: как печально, что именно в этот день я понесла столь тяжкую утрату.

– Самое печальное, – сказала я, – что родители мои не умерли на день раньше, тогда не было бы и свадьбы.

– Разве вы, милостивая фру майорша, не довольны своим замужеством? – спросила она.

– Вот именно, – ответила я, – но теперь я довольна. Я всегда буду рада повиноваться воле моих дорогих родителей.

Она спросила, была ли на то воля моих родителей, чтоб я навлекла позор на себя и на них и изменяла бы мужу. Малую честь выказала я своим родителям, сделавшись притчей во языцех у всех и каждого.

– Как постелешь, так и поспишь, – ответила я ей.

И вообще, чужой госпоже должно бы понять: я не намерена допустить, чтобы кто-либо порочил дочь моих родителей.

За столом ели только мы, мы – вдвоем. Окружавшие нас мужчины сидели молча, не в силах взять в руки нож или вилку.

Старушка осталась у меня на сутки, чтобы передохнуть, а потом уехала.

Но все время, пока она оставалась у меня, я так и не смогла понять, что она – моя мать. Я знала лишь, что моя мать умерла.

Когда она собралась уезжать, Йёста Берлинг, и я стояла рядом с ней на лестнице, а экипаж подали к парадному входу, она сказала мне:

– Сутки пробыла я здесь, а ты так и не поздоровалась со мной как с родной матерью. По безлюдным дорогам ехала я сюда, проехала целых двадцать миль за три дня, и твой позор заставляет мое тело дрожать так, словно его иссекли плетью. Пусть же все отрекнутся от тебя так, как ты отеклась от меня, пусть тебя выгонят, как ты выгнала меня! Пусть проселочная дорога станет твоим домом, сноп соломы – постелью, а угольная яма – твоим очагом. Пусть позор и бесчестье будут тебе наградой! Пусть другие бьют тебя так, как бью тебя я!

И она сильно ударила меня по щеке.

А я взяла ее на руки, снесла вниз по лестнице и усадила в экипаж.

– Кто ты такая, что проклинаешь меня? – спросила я. – Кто ты такая, что бьешь меня? Такого я ни от кого не потерплю!

И я тоже дала ей пощечину.

Экипаж тут же тронулся в путь, но тогда, в тот же час, Йёста Берлинг, я узнала, что Маргарета Сельсинг мертва.

Маргарета Сельсинг была добра и невинна, она не ведала зла. Ангелы плакали на ее могиле. Если б она была жива, она никогда не ударила бы свою мать.

Нищий, сидевший у двери, слушал, и слова майорши заглушили на миг призывный шелест вечных лесов. Надо же, эта могущественная госпожа притворилась столь же грешной, как он, стала его сестрой – такой же пропащей, как и он, чтобы вселить в него мужество жить! И ему должно было научиться тому, что не только на нем, но и на других тоже лежит отпечаток горя и позора. Поднявшись, он подошел к майорше.

– Хочешь ли ты жить теперь, Йёста Берлинг? – спросила она голосом, прерывающимся от слез. – Зачем тебе умирать? Из тебя, верно, мог бы получиться хороший священник; но никогда тот Йёста Берлинг, которого ты утопил в вине, не был столь кристально чист и невинен, как та Маргарета Сельсинг, которую я задушила своей ненавистью. Ты хочешь жить?

Йёста упал на колени пред майоршей.

– Простите, – сказал он. – Не могу.

– Я – старая женщина, закаленная множеством горестей, – ответила майорша, – и я сижу здесь и отдаю себя самое в награду нищему, которого нашла полузамерзшим в сугробе у обочины. Поделом мне! Если ты уйдешь и кончишь жизнь самоубийством, ты по крайней мере не сможешь рассказать кому-либо о моем безумстве!

– Майорша, я не самоубийца, я приговоренный к смерти! Не делайте мою смертную борьбу чрезмерно тяжелой! Я не должен жить! Мое тело одержало верх над душой, поэтому я должен освободить ее, позволить ей вознестись к Богу.

– Вот как, ты полагаешь, что попадешь туда?

– Прощайте, фру майорша, и спасибо вам!

Нищий поднялся с колен и, опустив голову, поплелся к дверям. Эта женщина сделала тяжким его путь на север, к бескрайним лесам.

Подойдя к дверям, он не мог не оглянуться. И тут он встретил взгляд майорши, молча сидевшей и глядевшей ему вслед. Никогда не видел он столь изменившегося лица, и, остановившись, он уставился на нее. Она, недавно гневная и грозная, сидела в каком-то молчаливом просветлении, а глаза ее сияли сочувствием и милосердной любовью.

И что-то в нем, в его собственной заблудшей душе растаяло под этим ее взглядом. Прижавшись лбом к дверному косяку, обхватив голову руками, он заплакал, заплакал так, что сердце его чуть не разорвалось.

Швырнув свою трубку в очаг, майорша подошла к Йёсте. Все ее движения внезапно стали нежными, как у матери.

– Полно, полно, мой мальчик!

И она усадила его рядом с собой на скамью у дверей, и он плакал, уткнувшись головой в ее колени.

– Ты все еще собираешься умереть?

Тут он хотел вскочить на ноги. Ей пришлось насильно удержать его.

– Сейчас я говорю тебе: ты волен поступать, как хочешь. Но я обещаю тебе, что, если ты снова захочешь жить, я возьму к себе дочку пастора из Брубю и выращу из нее человека. Так что она сможет возблагодарить Бога за то, что ты, Йёста, украл у нее муку. Ну как, хочешь жить?

Он поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза.

– Это – правда?

– Да, обещаю тебе, Йёста Берлинг.

В тоске и отчаянии он стал ломать руки. Он увидел пред собой острый, пронзительный взгляд, сжатые губы и исхудалые маленькие ручки. Стало быть, это юное существо обретет защиту и опеку и следы унижительных побоев будут стерты с ее тела, а злоба из ее души! Теперь путь к вечным лесам для него закрыт.

– Я не убью себя до тех пор, пока девочка будет под вашей опекой, фру майорша, – сказал он. – Я точно знал, что вы, фру майорша, заставите меня жить. Я сразу же почувствовал, что вы сильнее меня.

– Йёста Берлинг! – торжественно произнесла она. – Я сражалась за тебя, как за самое себя. Я сказала Богу: «Если хоть что-то от Маргареты Сельсинг еще живо во мне, то дозвожь ей, Маргарете, явиться и выказать себя так, чтобы этот человек не смог уйти и убить себя!» И Он дозволил это, и ты увидел ее, и потому ты не смог уйти. И она шепнула мне, что ради бедного дитяти ты, верно, посмеешь отказаться от своего намерения. Вы, дикие птицы, летаете дерзко и отважно, но Господу нашему ведома та сеть, что и вас уловит.

– Велик Бог и неисповедимы Его пути, – сказал Йёста Берлинг. – Он сыграл со мной злую шутку, Он отверг меня, но все же не дозволил мне умереть. Да свершится Его святая воля!

С того самого дня Йёста Берлинг стал кавалером в Экебю. Дважды пытался он выбраться оттуда и стать на ноги, чтобы жить своим трудом. Однажды майорша подарила ему торп близ Экебю. Он переехал туда, намереваясь жить торпарем. Некоторое время это ему удавалось, но вскоре он устал от одиночества, от повседневной изнурительной работы и снова стал кавалером. В другой раз это случилось, когда его пригласили домашним учителем графа Хенрика Доны в поместье Борг. В то время он влюбился в юную Эббу Дону, сестру графа, но она умерла в тот самый час, когда он полагал, что вот-вот завоюет ее сердце, и он оставил все мысли о том, чтобы стать кем-либо другим, кроме как кавалером в Экебю. Ему казалось, что для священника, лишенного сана, все пути к спасению закрыты.

Глава первая Ландшафт

Теперь я собираюсь описать длинное озеро, благодатную равнину и синие горы, поскольку они были той самой ареной, где разыгрывалась веселая жизнь Йёсты Берлинга и кавалеров из Экебю.

Озеро это начиналось высоко в горах на севере, а место для озера там – просто чудесное. Лес и горы неустанно собирают для него влагу. Круглый год низвергаются туда потоки и ручьи. Для озера предназначен и сыпучий светлый песок, устилающий его дно, и мысы, и каменные островки, которые отражаются в озерной глади и которыми все любят. Водяной и русалки играют там на вольных просторах, и озеро быстро разрастается – обширное и прекрасное. Там, в горах севера, оно веселое и дружелюбное. Стоит посмотреть на него летним утром, когда оно только-только пробуждается ото сна, окутанное пеленой тумана, чтобы заметить, какое оно бодрое. Сначала оно чуточку дурачится, затем медленно-медленно выползает из легкой дымки, такое чарующе прекрасное, что его едва можно узнать. Но вот оно одним рывком сбрасывает с себя весь туманный покров и ложится пред вами во всей своей обнаженности, в своей розовой наготе, сверкая на утреннем свету.

Но озеро не довольствуется одними лишь легкомысленными играми, оно перехватывает себе талию, превращаясь в узкий пролив, оно прорывается сквозь несколько песчаных холмов и ищет для себя новое королевство, новые просторы. И находит... Оно становится все обширнее и могущественнее, у него открываются новые глубины, которые можно заполнить водой, и столь украшающий озеро живописный пейзаж. Но внезапно вода становится темнее, берега – более однообразными, ветры – более пронизывающими, а вид самого озера – более строгим. Великолепно, прекрасно это озеро! Сколько на нем плавают судов и сплавных плотов! И поздно наступает для него время зимнего отдыха, редко раньше Рождества. Озеро часто гневается, вскипая белой пеной и опрокидывая парусные суда, а порой, раскинувшись в мечтательном покое, отражает голубое небо.

Озеро стремится выбраться как можно дальше на широкие просторы, хотя чем ниже спускается оно на юг, тем более громоздкими кажутся горы и все более тесным пространство. Так что озеру еще раз приходится, подобно узкому проливу, проползать меж песчаных берегов. Затем оно в третий раз расширяется, но, правда, уже не отличается прежней красотой и достоинством.

Берега понижаются и становятся однообразными, слабее дуют ветры, озеро рано впадает в зимнюю спячку. Оно по-прежнему красиво, но утрачивает юношескую пылкость и мужественную силу; оно становится таким же, как и все другие озера. Обеими своими руками – водными протоками – нащупывает оно дорогу к Венерну, а когда путь найден, Лёвен низвергается в своей старческой слабости по крутым склонам и, свершив этот последний, сопровождаемый грохотом подвиг, отправляется на покой, погружается в спячку.

Долина такая же длинная, как и озеро. Но надо думать, что ей трудно пробиваться меж горных гряд и хребтов. Начинается долина с самой котловины у северной оконечности озера, где оно впервые осмеливается раскинуться вширь, а затем тянется все дальше, пока она победоносно не располагается на покой у берегов Венерна. Тут и речи не может быть о чем-либо ином, кроме того, что равнина охотнее всего протянулась бы вдоль берегов озера, каким бы длинным оно ни было, но горы не оставляют ее в покое. Горы – это громадные стены из серого гранита, поросшие лесом, изрезанные ущельями, в которых трудно продвигаться вперед, богатые мхами и лишайниками. В стародавние же времена здесь обитали несметные стаи дичи. Топкое болото или лесное озерцо с темной водой часто встречаются наверху в горах среди тянувшихся вдаль горных гряд. То тут, то там видны также днища угольных ям или лесные про-

секи, откуда выбраны бревна и дрова, или же земля, выжженная под пашню. Все это – свидетельство того, что и горы могут трудиться. Но обычно они беззаботны, спокойны и довольствуются лишь тем, что заставляют тени и дневной свет играть в свои вечные игры на их склонах.

И с этими-то горами равнина, кроткая, богатая и любящая труд, ведет неустанную борьбу, впрочем вполне дружественную.

– Я хочу быть в полной безопасности, – говорит равнина горам, – и для этого совершенно достаточно окружить меня со всех сторон вашими склонами-стенами!

Но горы не желают и слушать подобные речи. Они высылают длинные вереницы холмов и лишенных растительности плоскогорий вплоть до самого озера. Они воздвигают великолепные сторожевые башни на каждом мысу и, по существу, столь редко покидают берега озера, что равнина лишь в нескольких местах может врезаться в мягкий песок побережья. Но ведь сетовать все равно не имеет смысла.

– Радуйся, что мы стоим здесь на страже, – говорят горы. – Подумай о днях перед самым Рождеством, когда холодные как смерть туманы день за днем ползут над Лёвеном! Добрую службу мы служим тебе тем, что стоим здесь.

Равнина же сетует, что ей тесно и что ей открывается отнюдь не живописный вид.

– Ты глупа, – отвечают горы, – тебе надобно хоть раз испытать, как дуют ветры внизу у озера. Нужен по меньшей мере гранитный хребет и еловая шуба, чтобы выдержать такой сквозняк. А вообще-то, хватит с тебя и того, что ты смотришь на нас.

Да, смотреть на горы – этим-то как раз равнина и занимается. Ей хорошо известны все те диковинные переливы света и теней, которые скользят по их склонам. Она знает, как при дневном свете опускаются они совсем низко к самому окоему; а при утреннем или вечернем свете – они, ярко-голубые, словно небо в зените, поднимаются на большую высоту. Иногда на них падает такой резкий свет, что они становятся зелеными или сине-черными, и каждая сосна, каждая дорога и каждое ущелье видны на расстоянии многих миль.

Однако кое-где горы изволят посторониться и дают равнине выйти вперед и поглядеть на озеро. Порой ей удастся увидеть озеро в страшном гневе, когда оно, словно дикая кошка, шипит и брызжет слюной. А иной раз равнина видит его подернутым холодным туманом, который появляется оттого, что болотница варит пиво или стирает белье. И тогда равнина тотчас же признает, что горы правы, сторонясь озера, и снова прячется в свою тесную темницу.

С незапамятных времен возделывали люди эту великолепную равнину, и там вырос большой приход. Повсюду, где река со своим белопенным водопадом бросается на береговой откос, появились заводы и мельницы. На светлых, открытых пространствах, где равнина подступает прямо к озеру, были построены церкви и пасторские усадьбы. По краям же долин, у подножия гор, на каменистой почве, где урожаи скудны, стоят дома офицеров, крестьянские и помещичьи усадьбы.

Однако следует заметить, что в двадцатые годы девятнадцатого века здешние места были далеко не так хорошо обжиты, как сейчас. Немало было в ту пору лесов, озер и болот, которые можно теперь возделывать. Вообще-то, люди были тогда не столь красноречивы и добывали себе пропитание извозом и поденной работой на многочисленных заводах, а то и службой в чужих краях. Прокормиться земледелием было нельзя. Обитатели равнины одевались в те времена в домотканое платье, ели овсяный хлеб и довольствовались поденной платой в двенадцать скиллингов. Многие жили в большой нужде, но у людей был легкий, веселый нрав при врожденных дарованиях и трудолюбии, что во многом облегчало им жизнь.

Но вся эта триада – длинное озеро, плодородная равнина и синие горы составляли и составляют еще и поныне один из красивейших ландшафтов, точно так же как здешние жители и поныне еще остаются сильными, мужественными и талантливыми. Ныне они стали также намного богаче и образованнее.

Пусть же счастье сопутствует тем, кто живет там, на севере, у длинного озера и близ синих гор! Кое-что из их воспоминаний я и хочу здесь вам поведать.

Глава вторая

Рождественская ночь

Синтрам – так зовут злого заводчика в Форсе, того самого, с неуклюжим обезьяньим телом и длинными руками, с лысой головой и уродливым, искаженным гримасами лицом. Того самого, кто наслаждается, сея зло.

Синтрам – так зовут того, кто нанимает в работники лишь мошенников да разбойников и держит в служанках лишь вздорных да лживых девиц. Того, кто доводит до бешенства собак, тыча иглами им в морду, и счастливо живет среди злобных людей и свирепых животных.

Синтрам – так зовут того, для кого составляет величайшее счастье надевать личину мерзкого врага рода человеческого – с рогами и хвостом, конским копытом и мохнатым телом, и внезапно появляться из темных углов да из-за печки или дровяного сарая либо страшать пугливых детей и суеверных женщин.

Синтрам – так зовут того, кто радуется, когда старая дружба сменяется старой враждой, а сердца отравляются ложью.

Синтрам – так зовут его, и однажды он явился в Экебю.

– Тащите большие дровни в кузницу, ставьте их посредине и кладите на дровни днище телеги. Вот у нас и стол! Ура! Да здравствует стол, вот и стол готов!

– Давайте стулья, давайте все, на чем можно сидеть! Сюда – трехногие скамеечки сапожника и пустые ящики! Сюда – старые драные мягкие кресла без спинок, тащите сюда беговые сани без полозьев и старый экипаж! Ха-ха-ха, тащите и старый экипаж! Он будет кафедрой!

Посмотрите только на него! Сорвано одно колесо и весь кузов! Остался лишь облучок, подушки испорчены, они поросли кукушкиным льном, кожа порыжела от старости. Эта древняя развалина высока, как дом. Подоприте ее, подоприте, а не то она рухнет!

– Ура! Ура! В кузнице Экебю ночью празднуют Рождество!

За шелковым пологом двуспальной кровати спят майор и майорша, спят, не подозревая, что все кавалеры во флигеле все еще бодрствуют. Отяжелевшие от рисовой каши и горького рождественского пива, спят работники и служанки, не до сна лишь кавалерам из флигеля. Кто мог догадаться, что кавалеры во флигеле не спят?!

Босоногие кузнецы не переворачивают раскаленные болванки, перемазанные сажей мальчишки не тащат тележки, груженные углем. Огромный молот, словно рука со сжатым кулаком, висит наверху, под самым потолком, наковальня пуста, печи не разевают свои огненные пасти, чтобы поглотить уголь, не скрипят кузнечные меха. На дворе Рождество. Кузница спит.

Спит, спит! О ты, дитя человеческое, ты спишь, меж тем как кавалеры бодрствуют! Длинные клещи стоят вертикально на полу с салными свечами в клешнях. От десятиведерного котла из сверкающей меди тянется к окутанному тьмой потолку голубое пламя пунша. Роговой фонарь Бееренкройца подвешен на молот из пруткового железа. Золотистый пунш искрится в чаше, словно яркое солнце. Там есть стол, есть скамья. Кавалеры празднуют Рождественскую ночь в кузнице.

Здесь царят шум и веселье, музыка и песни. Но полуночный гам никого не может разбудить. Ведь грохот из кузницы заглушается могучим ревом водопада.

Здесь царят шум и веселье. Подумать только, если бы майорша видела все это!

Ну и что из того?! Она, разумеется, села бы с кавалерами и осушила бокал вина. Замечательная женщина эта майорша, она не гнушается ни громовой застольной песни, ни партии в килле. Эта богатейшая женщина в Вермланде уверена в себе, как мужчина, горда, как королева. Она любит пение, звуки скрипки и валторны. Обожает и вино, и карты, и накрытый стол, окруженный веселыми гостями. Она следит за тем, как расходуются припасы в кладовой, но,

когда в доме танцуют и веселятся, ей по душе танцы да веселье в горнице и в зале и кавалерский флигель, полный кавалеров.

Взгляните на них, когда они сидят вокруг чаши, кавалер подле кавалера! Их – двенадцать, двенадцать мужей. Это не какие-нибудь там порхающие мотыльки, не модники, а одни лишь мужи, слава которых долго не померкнет в Вермланде, отважные мужи, могучие мужи!

Не какие-нибудь высохшие старцы с пергаментными лицами и не туго набитые денежные мешки, а бедные мужи, беззаботные мужи – истинные кавалеры, кавалеры с головы до пят.

Не какие-нибудь маменькины сынки, не сонные владельцы собственного хеммана, а бродяги, веселые мужи, рыцари – герои бесчисленных приключений.

Пуст ныне кавалерский флигель, уже много лет пуст! Экебю больше не пристанище избранных, не пристанище бездомных кавалеров. Отставные офицеры и бедные дворяне не колесят больше по Вермланду в шатких одноколках. Но пусть мертвые оживут, пусть они восстанут из мертвых – веселые, беззаботные, вечно молодые!

Все эти славные мужи умеют играть на одном или нескольких инструментах, все они большие оригиналы, знают множество песен и поговорок, головы у кавалеров набиты ими, словно муравейник муравьями. Но у каждого все же есть свой собственный дар, своя редкостная добродетель кавалера, отличающая его от прочих.

Прежде всего из тех, кто сидит вокруг чаши с пуншем, я хочу назвать Бееренкройца, полковника с длинными седыми усами, игрока в килле, исполнителя песен Бельмана. А рядом с ним – его друг и боевой соратник, молчаливый майор и великий охотник на медведей Андерс Фукс. Третий же в этой компании – коротышка Рустер, барабанщик, который долгое время был денщиком полковника, но удостоился звания кавалера за генеральский бас и умение варить пунш. Затем следует упомянуть старого прапорщика Рутгера фон Эрнеклу, обольстителя дам. На нем шейный платок с булавкой, жабо и парик; а нарумянен он, как женщина. Он был одним из первых кавалеров, точно таким же как Кристиан Берг, brave капитан, замечательный герой, обмануть которого, однако, было столь же просто, как сказочного великана. В обществе этих двоих часто видели маленького, кругленького патрона Юлиуса, живого, веселого и ярко одаренного человека – оратора, художника, исполнителя песен и рассказчика анекдотов. Он охотно подтрунивал над разбитым подагрой прапорщиком и глупым великаном.

Был там и огромный немец Кевенхюллер, изобретатель самоходного экипажа и летательной машины, тот, чье имя еще звучит в шелесте лесной листвы. Человек чести как по рождению, так и по внешнему виду, с длинными закрученными усами, остроконечной бородкой, орлиным носом и узкими косыми глазками, окруженными сетью скрецающихся морщин. Там сидел и великий воин – кузен Кристофер, никогда не покидавший стен кавалерского флигеля, если только не ожидалась охота на медведя или отчаянная авантюра. А рядом с ним – дядюшка Эберхард, философ, перебравшийся в Экебю не ради игр и веселья, а ради того, чтобы, не заботясь о хлебе насущном, завершить свой великий труд о науке всех наук.

Самыми последними я называю лучших из всей плеяды, кроткого Лёвенборга, благочестивого человека, который был слишком хорош для этого мира и мало что смыслил в его путях-дорогах. И Лильекруну, великого музыканта, владельца прекрасного дома, о котором он вечно тосковал, но все же должен был оставаться в Экебю, ибо душа его нуждалась в богатстве и разнообразии впечатлений: иначе жизнь казалась ему невыносимой.

У всех одиннадцати кавалеров юность была позади, и многие из них вступили уже в пору старости. Но был среди них один, кому едва исполнилось тридцать, кто сохранил еще нерастраченными все силы души и тела. То был Йёста Берлинг, кавалер из кавалеров, единственный в своем роде, более великий оратор, певец, музыкант, охотник, бражник и игрок, чем все они, вместе взятые. Он обладал всеми достоинствами кавалера. Какого доблестного мужа сделала из него майорша!

Посмотрите же на него сейчас, когда он поднялся на кафедру! Над ним тяжелыми гирляндами спускается с черного потолка тьма. Его русая голова светится на этом фоне, словно голова юного бога, юного светоносца, который привел в порядок царивший в мире хаос. Он стоит, статный, красивый, жаждущий приключений.

Говорит же он с величайшей серьезностью.

– Братья и кавалеры! Близится ночь, долго тянется праздник, пора уже поднять тост за тринадцатого, сидящего за нашим столом.

– Любезный брат Йёста! – восклицает патрон Юлиус. – Здесь нет никакого тринадцатого, нас всего двенадцать!

– В Экебю каждый год умирает один человек, – еще мрачнее продолжает Йёста. – Один из тех, кто гостит в кавалерском флигеле, умирает, умирает один из веселых, беззаботных, вечно юных. И немудрено! Кавалеры не должны стариться. Если наши дрожащие руки не смогут поднимать бокалы, если наши тускнеющие глаза не смогут различать карты, чем станет тогда для нас жизнь и кем станем мы для жизни?

Умереть должен один из тринадцати, один из тех, кто празднует Рождество в кузнице Экебю. Но каждый год появляется кто-то новый, чтобы пополнить наши ряды.

Это должен быть человек, сведущий в искусстве приносить радость, тот, кто умеет играть на скрипке и в карты! Старым мотылькам должно умереть, пока светит летнее солнце. За здоровье тринадцатого!

– Но, Йёста, нас же всего двенадцать, – возразили кавалеры, не дотрагиваясь до своих бокалов.

Йёста Берлинг, которого все они называют поэтом, хотя он никогда не писал стихов, с непоколебимым спокойствием продолжает:

– Братья и кавалеры! Разве вы забыли, кто вы? Вы те, благодаря кому в Вермланде царит радость. Вы те, кто вселяет жизнь в смычки скрипок, побуждает танцевать, заставляет музыку и песни звучать по всей стране. Вы умеете отвращать ваши сердца от золота, ваши руки – от работы. Не будь вас, умерли бы танцы, умерло бы лето, розы, игра в карты, не стало бы песен. И во всем этом благословенном краю не осталось бы ничего, кроме железа и заводчиков. Радость будет жить, пока живы вы. Шесть лет праздновал я Рождественскую ночь в кузнице Экебю, и никто прежде не отказывался пить за тринадцатого!

– Но, Йёста, – закричали все кавалеры, – если нас только двенадцать, зачем же нам пить за тринадцатого?!

Глубокая печаль омрачает лицо Йёсты.

– Разве нас только двенадцать? – спрашивает он. – Как же так? Неужто мы все должны быть стерты с лица земли? Неужто в будущем году нас останется только одиннадцать, а год спустя только десять? Неужто наши имена станут всего лишь легендой, а все мы сгинем? Я призываю тринадцатого, ведь я поднял тост за его здоровье. Из бездны морской, из недр земных, с небес, из ада призываю я его, того, кому должно пополнить плеяду кавалеров!

Тут в дымовой трубе что-то зашумело, заслонка плавильной печи поднялась – и явился тринадцатый.

Весь мохнатый, с хвостом и конским копытом, с рогами и остроконечной бородкой. При виде его кавалеры с криком вскакивают.

Но Йёста Берлинг, ликуя, восклицает:

– Тринадцатый явился! За здоровье тринадцатого!

Вот он и явился, старинный враг рода человеческого, явился к безрассудно смелым кавалерам, нарушившим мир святой ночи. Вот он – дружок ведьм с горы Блокулла, тот, что подписывает договор кровью на черной как уголь бумаге, тот, что семь дней напролет отплясывал с графиней в Иварснесе, и целых семь пасторов не могли прогнать его прочь. Он явился.

При виде его мозг старых искателей приключений заработал с лихорадочной быстротой: ради чьей души рыскает он этой ночью, недоумевали они.

Многие из них готовы были в ужасе удрать, но вскоре они поняли, что рогатый явился вовсе не для того, чтобы увлечь их в свое царство мрака, а потому, что его привлекли звон бокалов и песни. Он желал насладиться человеческой радостью в эту святую Рождественскую ночь, он желал сбросить тяжкое бремя власти в эту ночь радости.

О кавалеры, кавалеры, кто из вас помнит еще о том, что нынче – Рождественская ночь? Именно в эту пору ангелы поют пастухам на полях.

Именно в эту пору дети лежат, боясь крепко заснуть, не проснуться вовремя и пропустить светлую заутреню. Скоро настанет пора зажигать рождественские свечи в церкви прихода Бру, а далеко в лесной чаще на своем хеммане юноша приготовил вечером смоляной факел, чтобы освещать дорогу в церковь своей девушке. Во всех домах хозяйки выставили в окнах ветвистые подсвечники, остается только зажечь свечи, когда прихожане пойдут мимо. Пономарь поет во сне рождественские псалмы, а старый пробст лежит и тревожится, достанет ли у него голоса, чтобы провозгласить во время обедни: «Слава Богу на небеси, миру на земле, людям с добрыми помыслами!»

О, кавалеры, лучше бы вам в эту мирную ночь спать в своих постелях, нежели якшаться с князем тьмы!

Но они приветствуют его криками «Добро пожаловать!», «За здоровье тринадцатого!». Нечистому подают чашу с пламенным пуншем. Они отводят ему почетное место за столом и глядят на него с такой радостью, словно его уродливой роже сатира присущи милые черты возлюбленных их юности.

Бееренкройц приглашает его сыграть с ним партию в килле, патрон Юлиус поет ему лучшие свои песни, а Эрнеклу беседует с ним о прекрасных женщинах, этих дивных, услаждающих жизнь созданиях.

Он благоденствует, этот рогатый, с княжеской осанкой, прислоняясь к облучку старого экипажа, и вооруженной когтем лапой подносит чашу с пуншем к своей улыбающейся пасти.

Но Йёста Берлинг, разумеется, держит речь.

– Ваша милость, – говорит он, – мы долго ждали вас здесь, в Экебю, ибо доступ в какой-либо другой рай вам, полагаю, затруднителен. Как вашей милости должно быть уже известно, здесь живут вольно, не сеют и не жнут. Жареные воробьи сами летят нам в рот, а кругом в ручьях и водных протоках текут горькое пиво и сладкое вино. Место здесь, заметьте, ваша милость, прекрасное.

Мы, кавалеры, право же, ждали вас, потому что прежде наша плеяда была далеко не полной. Видите ли, дела обстоят так, что мы представляем собой нечто более значительное, нежели то, за что мы себя выдаем. Мы – те самые двенадцать, та самая поэтическая плеяда, которая живет в веках. Нас было двенадцать, когда мы правили миром там, на окутанной облаками вершине Олимпа, и нас было двенадцать, когда мы, обернувшись птицами, сидели на зеленых ветвях древа Игдрасил. Повсюду, где только слагались поэмы, появлялись следом и мы. Разве не мы, двенадцать могучих мужей, сидели вокруг Круглого стола короля Артура, и разве не вступили мы, двенадцать паладинов, в армию Карла Великого? Один из нас был Тором, один Юпитером, и как на таковых должно смотреть на нас каждому еще и сегодня. Ведь сияние божества видится и под лохмотьями, а львиная грива и под ослиной шкурой. Время не пощадило нас, но когда мы здесь, кузница становится Олимпом, а кавалерский флигель – Вальхаллой.

Но, ваша милость, плеяда наша была неполной. Ведь известно, что в поэтической плеяде двенадцати всегда должен быть и один Локи, и один Прометей. Его-то нам как раз и не доставало.

Ваша милость, я приветствую вас, добро пожаловать!

– Ну и ну! Ну и ну! – говорит нечистый. – До чего красивые слова! До чего красивые слова! Как же мне быть, у меня ведь нет времени ответить вам! Дела, мальчики, дела! Мне нужно тотчас же удалиться, иначе я охотно был бы к вашим услугам – в какой угодно роли! Спасибо за этот вечер, старые болтуны! Еще увидимся!

Тут кавалеры спрашивают, куда он намеревается пойти, и он отвечает, что благородная майорша, владетельница Экебю, ждет его, чтобы продлить с ним контракт.

Кавалеров охватывает величайшее удивление.

Строга и деловита фру майорша из Экебю. Целую бочку ржи она может взвалить на свои широкие плечи. Она сопровождает повозку с рудой, добытую в Бергслагене, в дальнюю дорогу до самого Экебю. Она спит, словно возчик, на полу сарая с мешками под изголовьем. Зимой она может караулить угольную яму, летом – сопровождать целую флотилию бревен во время сплава на Лёвене. Она – властная госпожа. Она ругается, как уличный мальчишка, а правит, как королева, своими заводами и усадьбами соседей, правит своим приходом, а также соседними приходами, да и всем прекрасным Вермландом. Но для бездомных кавалеров она словно мать родная, и потому они затыкали уши, когда клевета шептала им, что майорша в сговоре с дьяволом.

И вот они с величайшим удивлением спрашивают его: что за контракт подписала с ним майорша?

А нечистый отвечает, что он подарил майорше семь заводов за то, что она ежегодно будет отдавать ему душу человеческую.

Невероятный ужас сжимает сердца кавалеров.

Ведь они знали об этом и прежде, но не хотели этому верить.

В Экебю ежегодно умирает один человек, один из гостей кавалерского флигеля, умирает один из веселых, беззаботных, вечно молодых. Но на что, собственно говоря, было жаловаться? Кавалеры не должны стареть! Если их дрожащие пальцы не в силах будут поднимать бокал, а тускнеющие глаза не смогут различать карты, что тогда для них жизнь и что они для жизни? Мотылькам должно умирать, пока светит солнце.

Но теперь, только теперь начинают они постигать подлинную суть вещей.

Горе этой женщине! Так вот почему она так сытно кормит их, вот почему позволяет им пить лучшее горькое пиво и сладостное вино! Потому что от пиршественных залов и игорных столов им суждено рухнуть вниз к проклятому владыке ада – по одному в год, по одному ежегодно.

Горе этой женщине, этой ведьме! Могучими прекрасными мужами являлись они в это Экебю, являлись на свою погибель. Ведь она их там губила. Сморщенным грибам уподоблялись их мозги, сухому пеплу – легкие, беспросветному мраку – души, когда они опускались на смертное ложе, готовые к долгому странствию безо всякого упования, бездушные, утратившие всяческую добродетель.

Горе этой женщине! Она умертвила таких, что были много лучше оставшихся в живых, да и те, какие они ни на есть, тоже умрут.

Но кавалеры недолго оставались в оцепенении, подавленные, охваченные ужасом.

– Ты – проклятый владыка ада! – восклицают они. – Больше тебе не придется заключать сделку и подписывать кровью контракт с этой ведьмой. Она умрет. Кристиан Берг, этот могучий капитан, уже взвалил на плечо самый тяжелый кузнечный молот. Он вобьет его по самую рукоятку в голову проклятой троллихи. Ни одну душу ей больше уже в жертву не принести.

А тебя самого, рогатый, мы положим на наковальню и пустим в ход молот из пруткового железа! Клещами заставим мы тебя лежать спокойно под ударами молота! Мы научим тебя, как охотиться за душами кавалеров!

Давным-давно известно, что он труслив – этот грязный посланец ада, и разговор о кузнечном молоте ему явно не по душе. Он окликает Кристиана Берга, чтобы образумить его, и начинает переговоры с кавалерами.

– Берите себе, кавалеры, в этом году семь заводов, а мне отдайте майоршу!

– Думаешь, мы – такие же подлые, как и она? – восклицает патрон Юлиус. – Экебю и семь заводов мы взять не прочь, но майоршей занимайся сам!

– Что скажешь ты, Йёста, что скажешь ты, Йёста? – спрашивает кроткий Лёвенборг. – Пусть говорит Йёста Берлинг! Нам нужно выслушать его мнение, прежде чем принять такое важное решение.

– Это все безумие! – говорит Йёста Берлинг. – Кавалеры, не давайте себя дурачить! Кто мы такие рядом с майоршей! Будь что будет с нашими душами, но, по моей воле, никто из нас не выкажет неблагодарность и не поведет себя как негодяй и предатель! Слишком долго я ел хлеб майорши и не могу предать ее!

– Раз так, Йёста, отправляйся в преисподнюю, коли тебе охота! Лучше мы сами будем править Экебю!

– Вы что, совсем взбесились или допились до умопомрачения? Вы думаете – это правда? Неужто вы думаете, что этот вот и есть сам черт? Вы что, не замечаете: это же все – обман!

– Смотрите-ка, смотрите, смотрите, – говорит нечистый, – вот он-то сам и не замечает, что он – на пути к своей гибели, хотя и прожил в Экебю целых семь лет! Он не замечает, как далеко он зашел!

Берегись, парень! Я и сам однажды чуть не сунул тебя в печь! Будто от этого что-то изменилось, будто я не такой же хороший дьявол, как кто-либо другой. Да, да, Йёста Берлинг, уж больно ты упрям! Ну и ну! Славно обработала тебя майорша!

– Она спасла меня, – говорит Йёста. – Что бы я был без нее?

– Ну и ну! Ну и ну! Ведь в ее собственных интересах – удержать тебя в Экебю! Ты можешь многих заманить в ловушку, у тебя большие дарования! Однажды ты попробовал избавиться от нее, ты заставил ее подарить тебе торп, и ты стал там трудиться, хотел есть собственный свой хлеб. Каждый день она проходила мимо торпа и с ней были красивые девушки. Однажды с ней была Марианна Синклер, и тогда ты, Йёста Берлинг, отбросил лопату, кожаный фартук и снова стал кавалером.

– Там мимо проходит дорога, скотина!

– Да, да, конечно, дорога проходит там! Затем ты явился в Борг и стал домашним учителем Хенрика Доны и чуть ли не зятем графини Мэрты. Кто же это подстроил так, что юная Эбба Дона услышала, что ты – лишенный сана пастор, и отказала тебе? То была майорша, Йёста Берлинг. Она желала заполучить тебя обратно в Экебю.

– Ну и что! – говорит Йёста. – Эбба Дона умерла вскоре после этого. Она бы все равно не стала моей женой.

Тут нечистый приблизился к Йёсте и прошипел ему прямо в лицо:

– Умерла?! Да, конечно, она умерла. Убила себя по твоей милости, вот что она сделала, но тебе об этом раньше не рассказывали.

– Однако ты хитер, дьявол! – замечает Йёста.

– Говорю тебе, все это подстроила майорша. Ей хотелось заполучить тебя обратно в кавалерский флигель.

Йёста разразился хохотом.

– Да, хитер ты, дьявол, однако! – дико восклицает он. – Почему бы и нам не заключить с тобой контракт? Стоит тебе захотеть, и ты, верно, раздобудешь нам эти семь заводов!

– Хорошо, что ты больше не противишься своему счастью!

Кавалеры облегченно вздохнули. Дело зашло так далеко, что они не могли решиться ни на что без Йёсты. Не захоти он пойти на эту сделку, у них бы вообще ничего не вышло. А для обнищавших кавалеров великим делом было бы получить семь заводов и управлять ими.

– Заметь себе, – говорит Йёста, – мы берем эти семь заводов, чтобы спасти наши души, а вовсе не для того, чтобы стать какими-то там заводчиками, которые считают деньги и взвешивают железо! Нам не стать ни высушенными старцами с пергаментными лицами, ни туго набитыми денежными мешками, мы – истинные кавалеры, ими и останемся.

– Сама мудрость глаголет твоими устами, – бормочет нечистый.

– Поэтому, если ты пожелаешь отдать нам семь заводов на один год, мы их примем. Но заметь: если мы за это время свершим нечто недостойное кавалеров, свершим нечто разумное, либо нечто полезное, либо нечто свойственное женщинам, забирай нас всех, когда кончится срок, всех двенадцать, и отдай заводы кому хочешь!

Нечистый потирает в восторге руки.

– Но если мы все же поведем себя как истинные кавалеры, – продолжает Йёста, – то ты никогда больше не посмеешь заключить какой-либо контракт касательно Экебю и никакой платы за этот год ни от нас, ни от майорши ты не получишь!

– Условие жесткое, – говорит нечистый. – О, дорогой Йёста, а может, я все же получу хоть чью-нибудь душу человеческую, одну-единственную жалкую душонку? Верно, я мог бы получить душу майорши, почему ты жалеешь майоршу?

– Таким товаром я не торгую, да, не торгую, – прорычал Йёста, – но, если тебе так уж нужна какая ни на есть душонка, можешь забрать себе душу старого Синтрама из Форса. Могу поручиться, он уже созрел для этого.

– Ну и ну, ну и ну! Это стоит послушать, – говорит не моргнув нечистый. – Кавалеры или Синтрам – все они стоят друг друга. Хороший выдаться для меня годок.

И тут на черной бумаге, подсунутой посланцем ада, подписывается контракт гусиным пером, кровью из мизинца Йёсты.

Сделка завершена, кавалеры ликуют. Отныне целый год все радости мира будут им доступны. А потом уж, верно, можно будет найти какое-нибудь средство.

Раздвинув стулья, они становятся в кружок вокруг котла с пуншем, стоящего на черном полу посреди кузницы, и начинают носиться в бешеном танце. В самой середине круга, подпрыгивая, пляшет нечистый, под конец он падает, ложится на пол рядом с котлом, наклоняет его и пьет пунш.

Тогда рядом с ним бросается на пол Бееренкройц, затем Йёста Берлинг, а следом за ними вокруг котла, который передается из рук в руки, располагаются и остальные. В конце концов котел опрокидывается от толчка, и горячий липкий напиток заливает лежащих на полу.

Когда они, бранясь, поднимаются, нечистого уже нет, но золотые горы его обещаний маячат, словно сверкающие короны, перед глазами кавалеров.

Глава третья

Рождественский обед

На Рождество майорша Самселиус дает парадный обед в Экебю. Хозяйка сидит за столом, накрытым на пятьдесят персон во всем своем блеске и великолепии. Сейчас она уже не в коротком меховом полушубке, полосатой шерстяной юбке, и при ней нет глиняной трубки. Шуршат шелка, золото отягощает ее обнаженные руки, жемчуга украшают ее белую шею.

Однако же где кавалеры, где те, что на черном полу кузницы из начищенного до блеска медного котла пили за здоровье новых хозяев Экебю?

В углу у изразцовой печи за отдельным столом сидят кавалеры. В этот день для них нет места за парадным столом. Им блюда подают после всех гостей, вина наливают скупо, в их сторону не бросают взоры прекрасные дамы, там никто не слушает шутки Йёсты.

Но кавалеры ведут себя словно объезженные жеребята, словно сытые хищники. Один лишь час сна подарила им эта ночь, потом, при свете факелов и звезд, они поехали к рождественской заутрене. Они смотрели на рождественские свечи, слушали рождественские псалмы, их лица стали похожи на лица улыбающихся детей. Они начисто забыли Рождественскую ночь в кузнице, как забывают дурной сон.

Знатна и могущественна майорша из Экебю! Кто осмелится поднять руку, чтобы ударить ее, у кого повернется язык, чтобы перечить ей?

Ясное дело, не нищие кавалеры, которые долгие годы ели ее хлеб и спали под ее кровом. Она сажает их, куда вздумается, она может запереть свою дверь у них перед носом, когда вздумается, а они не в силах даже бежать, чтобы вырваться из ее власти. Да смилостивится над их душами Господь! Жить вдали от Экебю они не смогут!

За парадным столом кипит радость. Там сияют прекрасные глаза Марианны Синклер, там звучит низкий грудной смех веселой графини Доны.

Но за столом кавалеров царит мрак. Разве справедливо, что тем, кто готов ринуться в пропасть ради майорши, не должно сидеть там же, где и другим ее гостям? Что за подлый спектакль здесь разыгрывается? Как могли поставить им стол в углу – в запечье? Как будто кавалеры недостойны составить общество более знатным людям!

Майорша горда тем, что сидит между графом из Борга и пробстом из Бру. Кавалеры повесили головы, словно брошенные дети. И мало-помалу в их умах пробуждаются мысли, зародившиеся этой ночью.

Словно пугливые птицы, долетают забавные остроты и веселые небылицы до стола в запечье. Гнев этой Рождественской ночи и клятвы этой ночи постепенно овладевают там умами. Вероятно, патрон Юлиус внушает могучему капитану Кристиану Бергу, что жареных рябчиков, которыми сейчас обносят парадный стол, на всех гостей не хватит, однако радости это не прибавляет.

– На всех может не хватить, – говорит он. – Я знаю, сколько их купили. Но они не растерялись, капитан Кристиан; для нас, тех, кто сидит здесь, за малым столом, они зажарили ворон.

Губы полковника Бееренкройца искривляются в слабой улыбке под суровыми усами, а у Йёсты весь этот день такой вид, будто он замыслил кого-нибудь убить.

– Разве не любая еда хороша для кавалеров? – спрашивает он.

И вот наконец на малом столе появляется блюдо, наполненное до краев великолепными рябчиками.

Но капитан Кристиан все равно гневается. Ведь он всю свою жизнь ненавидел ворон, этих мерзких каркающих птиц.

Он ненавидел их такой жгучей ненавистью, что осенью напяливал на себя волочашую по земле женскую одежду, повязывал голову платком и делался посмешищем для каждого только ради того, чтобы очутиться на расстоянии выстрела от ворон, клевавших зерно на полях.

Он отыскивал их весной во время любовных игр на оголенных равнинах и убивал.

Он отыскивал их гнезда летом и выбрасывал оттуда кричащих, неоперившихся птенцов или же разбивал яйца, из которых вот-вот должны были вылупиться птенцы.

И вот он рывком придвигает к себе блюдо с рябчиками.

– Думаешь, я не узнаю их? – рычит он на слугу. – Неужто мне нужно услышать, как они каркают, чтобы узнать их? Фу, черт! Вы только подумайте: предложить Кристиану Бергу ворон! Фу, черт!

С этими словами он одного за другим хватает с блюда рябчиков и швыряет их о стену.

– Фу, черт! – между делом восклицает он, да так, что зал содрогается. – Подумать только! Предложить Кристиану Бергу ворон!

И точно так же как он имел обыкновение швырять беспомощных воронят о скалы, он швыряет одного рябчика за другим о стену.

Со свистом ударяются о стену птицы, во все стороны брызжут жир и сало, разбитые же птицы, отскакивая от стены, валятся на пол.

А кавалерский флигель ликует.

Тут до ушей кавалеров доносится гневный голос майорши.

– Выгоните его! – кричит она слугам.

Он слышит ее крик и, страшный в своем неистовом гневе, поворачивается к майорше, подобно медведю, который оставляет поверженного врага, чтобы встретить нового. Он пробирается к парадному, в виде подковы, столу. С чугунным топотом ступают ноги великана. Он останавливается прямо против майорши. Их разделяет лишь столешница.

– Выгоните его! – снова кричит майорша.

Кристиан взбешен. Страх внушают его нахмуренный лоб, его сжатые губы, грубые кулаки. Он громаден, он силен, как великан. Гости и слуги трепещут, не смея прикоснуться к нему. Да и кто посмеет прикоснуться к нему, когда гнев лишил его рассудка.

С угрожающим видом стоит он против майорши.

– Я схватил ворону и разбил ее о стену. Послушай-ка, разве я неправильно сделал?

– Вон отсюда, капитан!

– И не стыдно тебе, старая карга! Подать Кристиану Бергу ворон! Черт тебя побери вместе с твоими треклятыми...

– Тысяча дьяволов, Кристиан Берг, не ругайся! Никто не смеет ругаться здесь страшнее меня!

– Думаешь, я боюсь тебя, старая троллиха?! Думаешь, не знаю, как тебе достались твои семь заводов?!

– Замолчи, капитан!

– Альтрингер перед смертью завещал их твоему мужу, потому что ты была его любовницей!

– Да замолчишь ты или нет!

– Потому что ты была такой верной женой, Маргарета Самселиус! А майор принял эти семь заводов и позволил тебе управлять ими, делая вид, будто ничего не знает. А во всем этом деле был замешан Сатана. Но теперь тебе конец!

Майорша садится, бледная и дрожащая. А затем глухим, странным голосом подтверждает:

– Да, теперь мне конец, и этим я обязана тебе, Кристиан Берг.

От звуков ее голоса капитан Берг содрогается, черты его лица искажены, на глазах от страха выступают слезы.

– Я пьян! – кричит он. – Я сам не знаю, что говорю, я ничего не говорил! Собакой и рабом, собакой и рабом, и никем иным, был я для нее сорок лет! Маргарете Сельсинг я служил всю свою жизнь! Я ничего дурного не говорю о ней! Разве я могу сказать что-либо о красавице Маргарете Сельсинг! Я – пес, который сторожит ее дверь, раб, который носит на плечах все ее тяготы. Пусть она пинает меня, пусть бьет меня! Вы ведь видите, что я молчу и терплю! Я любил ее целых сорок лет. Как я могу сказать о ней что-либо дурное?!

И до чего же странно видеть, как он бросается на колени и молит простить его. А поскольку она сидит по другую сторону стола, он подползает к ней на коленях, наклоняется и целует подол ее платья, омывая пол слезами.

Но неподалеку от майорши сидит невысокий сильный человек. У него взъерошенные волосы, маленькие косые глазки и выступающая вперед нижняя челюсть. Он похож на медведя. Человек он немногословный, из тех, кто охотней всего молча следует своей стезей, ничуть не радея о судьбах мира, идущего своим собственным путем. Это – майор Самселиус.

Слушая обвинительные речи капитана Кристиана, он поднимается, поднимается и майорша и все пятьдесят гостей. Женщины плачут от страха перед тем, что должно произойти, мужчины стоят в растерянности, а у ног майорши лежит капитан Кристиан, целующий подол ее платья и орошающий половицы слезами.

Широкие, поросшие волосами руки майора медленно сжимаются в кулаки; он поднимает на жену руку.

Но женщина заговорила первой. В голосе ее слышатся не свойственные ей глухие нотки.

– Ты украл меня! Ты явился как разбойник и взял меня. А дома угрозами и побоями, голодом и злобной руганью меня принудили стать твоей женой. Я поступила с тобой так, как ты того заслуживал.

Широкий кулак майора сжался опять. Майорша отступила на несколько шагов и продолжала:

– Живой угорь извивается под ножом, насильно выданная замуж девушка берет себе любовника. Неужто ты станешь меня бить за то, что случилось двадцать лет назад?

Почему тогда ты не бил меня? Разве ты не помнишь, как он жил в Экебю, а мы – в Шё? Разве ты не помнишь, как он помогал нам в нашей нищете? Мы разъезжали в его экипажах, пили его вино. Разве мы что-нибудь скрывали от тебя? Разве его слуги не были твоими слугами? Разве его золото не оттягивало твой карман? Разве ты не принял в подарок семь заводов? Тогда ты молчал и принимал от него подарки; тогда надобно было бить меня, именно тогда надобно было бить меня, Бернт Самселиус!

Муж отворачивается от нее и обводит глазами гостей. Он читает на их лицах, что правда на ее стороне, – он принимал в подарок заводы и имения за свое молчание.

– Я этого не знал! – произносит он и топает ногой.

– Хорошо, что ты хоть теперь знаешь об этом! – пронзительно-звонко произносит она. – Разве я не боялась, что ты умрешь, так и не узнав об этом?! Хорошо, что ты знаешь об этом теперь и я могу открыто говорить с тем, кто был моим господином и притеснителем. Знай же, я, во всяком случае, принадлежала ему, тому, у кого ты украл меня! И пусть ныне знают об этом все, все, кто оговаривал меня!

Ликование старой неподвластной времени любви – в ее голосе, ответ этой любви – в ее глазах. С поднятыми кулаками стоит пред ней муж. Ужас и презрение читает она на лицах всех пятидесяти гостей. Она чувствует: наступает последний час ее власти. Но не может не радоваться тому, что наконец откровенно, открыто говорит о сладчайших воспоминаниях своей жизни.

– Он был настоящий мужчина и прекрасный человек! А кто такой ты, что посмел встать между нами? Я никогда не встречала никого, подобного ему! Он даровал мне счастье, он даровал мне богатство! Да будет благословенна память о нем!

Поднятая рука майора опускается, не ударив... Теперь-то он знает, как покарать ее!

– Вон! – рычит он. – Вон из моего дома!

Она стоит молча.

Кавалеры же с бледными лицами не спускают глаз друг с друга. Ну вот, все сбывается, все, что предсказал нечистый. Теперь они видят результат того, что контракт майорши не был продлен. Если это правда, то, верно, правда и то, что она более двадцати лет посылала кавалеров в преисподнюю и что им тоже предназначено было сойти в ад. О, чертова ведьма!

– Вон отсюда! – продолжал майор. – Выпрашивай себе кусок хлеба на проселочной дороге! Не видать тебе радости от его денег, не жить тебе в его поместьях! Конец майорше из Экебю! В тот день, когда нога твоя переступит порог моего дома, я убью тебя!

– Ты гонишь меня из моего дома?!

– У тебя нет дома! Экебю принадлежит мне!

Страх овладевает майоршей. Она отступает к дверям, а он следует за ней буквально по пятам.

– Ты – несчастье всей моей жизни, – сетует она, – неужто и теперь в твоей власти причинить мне такое горе?

– Вон, вон отсюда!

Опираясь на дверной косяк, она закрывает лицо стиснутыми руками. Она думает о своей матери и бормочет про себя:

– Пусть тебя выгонят, как ты выгнала меня! Пусть проселочная дорога станет твоим домом, а сноп соломы – твоей постелью! К тому все и идет! К тому и идет!

Старый добрый пробст из Бру и милосердный судья из Мункеруда – это они подошли к майору Самселиусу и попытались образумить его. Они сказали, что лучше всего ему предать забвению эти старые истории, оставить все как было, ничего больше не вспоминать и простить.

Но он стряхивает их руки со своего плеча. К нему, как недавно к Кристиану Бергу, было просто опасно приблизиться.

– Это вовсе не старые истории! – восклицает он. – Я ничего не знал до сегодняшнего дня. Я не мог раньше покарать нарушившую супружескую верность!

При этих словах майорша обретает прежнее мужество и поднимает голову.

– Прежде ты уберешься отсюда. Думаешь, я отступлю пред тобой?! – говорит она.

И отходит от дверей.

Майор не отвечает, но следит за каждым ее движением, готовый нанести удар, если иначе не сможет избавиться от нее.

– Помогите мне, добрые господа, – кричит она, – обуздать и выгнать этого человека, пока к нему снова не вернется разум! Вспомните, кто я и кто он! Подумайте об этом, прежде чем я вынуждена буду пред ним отступить! Я заправляю всеми делами в Экебю! Он же целый день сидит в медвежьей берлоге и кормит медведей. Помогите мне, добрые соседи и друзья! Здесь наступит беспросветная нужда, если меня не будет! Крестьянин кормится тем, что рубит мой лес и возит мой чугун. Угольщик живет тем, что добывает мне уголь, сплавщик – сплавляет мои бревна. Это я даю людям работу и хлеб. Кузнецы, ремесленники и плотники живут тем, что обслуживают меня. Вы полагаете, что этот вот сумеет достойно продолжать мое дело? Говорю вам: если выгоните меня, впустите голод и нищету.

Снова поднимается множество рук, желающих помочь майорше. Снова на плечи майора, увещевая его, ложатся руки.

– Нет! – говорит он. – Убирайтесь! Кто желает защитить нарушившую супружескую верность? Я заявляю вам, я! Если она не уйдет по доброй воле, я брошу ее моим медведям.

При этих словах поднятые в защиту майорши руки опускаются.

И тогда майорша в отчаянье обращается к кавалерам:

– Неужто и вы, кавалеры, позволите изгнать меня из собственного дома? Разве я позволила вам замерзнуть в снежных сугробах зимой, разве отказывала вам в горьком пиве и в сладком вине? Разве брала с вас плату за то, что кормила и одевала вас, разве требовала, чтобы вы отработывали мой хлеб? Разве не играли вы у ног моих, безмятежные, словно дети подле матери? Разве не танцевали в залах моего дома? Разве наслаждения и веселый смех не были для вас хлебом насущным? Так не дайте же этому человеку, составившему несчастье всей моей жизни, выгнать меня из собственного дома! Не дайте же мне стать нищенкой на проселочной дороге!

При этих словах Йёста Берлинг незаметно подкрался к красивой темноволосой девушке, сидевшей за парадным столом, и спросил:

– Пять лет назад ты, Анна, часто бывала в Борге. Ты не знаешь, правда ли: именно майорша сказала Эббе Доне, что я – лишенный сана священник?

– Помоги майорше, Йёста, – только и ответила ему девушка.

– Знай же, прежде я хочу услышать, правда ли то, что майорша сделала меня убийцей.

– О, Йёста, что ты говоришь?! Помоги ей, Йёста!

– Вижу, ты не желаешь отвечать. Видно, Синтрам правду сказал.

И Йёста снова спускается вниз, смешиваясь с толпой кавалеров. Он пальцем о палец не ударил, чтобы помочь майорше.

О, зачем она посадила кавалеров за отдельный стол, в углу, в запечье! Ночные мысли вновь пробуждаются в их умах, лица их пылают гневом ничуть не меньшим, нежели гнев самого майора.

Неумолимые и жестокие, они отвечают молчанием на ее мольбы.

Разве все, чему они стали свидетелями, не подкрепляет их ночные видения?

– Ясно, она не возобновила контракт, – бормочет один из кавалеров.

– Убирайся ко всем чертям, старая троллиха! – кричит другой.

– По правде говоря, это мы должны выгнать тебя за ворота!

– Дурни! – кричит кавалерам дряхлый и слабый дядюшка Эберхард. – Разве вы не понимаете, что все это – дело рук Синтрама?!

– Конечно понимаем, конечно знаем, – отвечает патрон Юлиус, – ну и что из того? Разве это может быть неправдой? Разве Синтрам не выполняет волю нечистого? Разве они не заодно?

– Ступай, Эберхард, ступай и помоги ей, – издеваются над стариком кавалеры. – Ты ведь не веришь в ад. Иди же, иди!

А Йёста Берлинг стоит неподвижно, не проронив ни слова, не шелохнувшись.

Нет, от этого грозного, бормочущего, спорящего кавалерского фланга майорше нечего ждать помощи!

Тогда она снова отступает к дверям и поднимает к глазам стиснутые руки.

– Пусть тебя выгонят, как ты выгнала меня! – кричит она в горькой скорби самой себе. – Пусть проселочная дорога станет твоим домом, а сноп соломы – постелью!

И, взявшись рукой за ручку двери, она воздевает другую к небесам.

– Запомните вы все, все те, кто позволяет мне ныне пасть! Запомните: скоро придет и ваш час! Ныне вы рассеетесь по свету, а дома ваши будут зиять пустотой. Как вам выстоять, если я не смогу вам помочь? Берегись ты, Мельхиор Синклер! Рука у тебя тяжелая, и ты дашь ей волю! Жена твоя это знает! И ты, пастор из Брубю, близок час расплаты за твои грехи! А ты, капитанша Уггла, приглядывай за своим домом, его ждет нищета! Вы же, юные красавицы, Элисабет Дона, Марианна Синклер, Анна Шернхёк, не думайте, что я единственная, кому придется бежать из своего дома! Берегитесь и вы, кавалеры. Скоро грянет буря и сметет вас всех с лица земли, ваше время истекло, оно в самом деле истекло. Не себя мне жаль, мне жаль вас, ибо буря пронесется над вашими головами, а кто из вас выстоит, если паду я? А главное – сердце мое стонет от жалости к беднякам. Кто даст им работу, когда я уйду?

Майорша открывает двери, но тут поднимает голову капитан Кристиан, он говорит:

– Сколько времени лежать мне у твоих ног, Маргарета Сельсинг? Ты не желаешь простить меня, чтобы я мог восстать и биться за тебя?

Майорше приходится выдержать жестокую борьбу с собой; но она понимает, что, если простит его, он восстанет и начнет драться с ее мужем и человеком, столь преданно любивший ее целых сорок лет, превратится в убийцу.

– Неужели я должна простить тебя? – спрашивает майорша. – Разве не ты виноват во всех моих бедах, Кристиан Берг? Ступай к кавалерам и радуйся делу рук своих!

И вот майорша уходит. Уходит спокойно, оставляя всех в ужасе. Она пала, но даже в падении своем сохранила былое величие. Она не унизилась, она даже в старости сохранила гордость и величие своей девичьей любви. Она не унизилась до сетований, взывающих к состраданию, и жалобного плача, покидая все, что имела. И ничуть не страшилась того, что ей придется с нищенской сумой и посохом бродить по дорогам. Она жалела лишь бедных крестьян да веселых беззаботных людей на берегах озера Лёвен, бедных кавалеров и всех тех, кому покровительствовала и кого опекала в их нужде.

Она была покинута всеми, и, однако же, у нее достало сил оттолкнуть своего последнего друга, чтобы не сделать его убийцей.

Это была удивительная женщина, женщина с поразительной силой характера и энергией. Такие не часто встречаются на свете.

На другой день майор Самселиус оставил Экебю и перебрался в собственное поместье Шё, расположенное совсем близко от большого завода.

В завещании Альтрингера, согласно которому майору достались заводы, было четко обозначено, что ни один из них не должен быть продан или подарен. И что после смерти майора все они должны отойти по наследству его жене или, в свою очередь, к ее наследникам. Так что майор никак не мог растратить ненавистное ему наследство. И он позволил кавалерам распоряжаться им по своему усмотрению, полагая, что тем самым наносит Экебю и шести остальным заводам непоправимейший ущерб.

Никто в тех краях уже больше не сомневался в том, что злодей Синтрам действовал по воле нечистого. И поскольку все, что сулил Синтрам, сбылось, кавалеры были совершенно уверены в том, что контракт до мельчайших пунктов будет соблюден. И потому-то они преисполнились решимости в течение всего этого года не предпринимать ничего разумного, ничего полезного, ничего, что свойственно женщинам. К тому же они были совершенно уверены в том, что майорша – мерзкая ведьма, жаждавшая их гибели.

Старый философ, дядюшка Эберхард подверг осмеянию их слепую веру в нечистого. Но кого волнует мнение человека, до того упрямого в своей неверии, что, очутись он даже посреди адского пламени, где у него на глазах все на свете дьяволы скалят, издеваясь, зубы, он все равно утверждал бы, что они не существуют, ибо существовать не могут. Ведь дядюшка Эберхард был великий философ!

А Йёста Берлинг никому не рассказывал о том, что думал он. Разумеется, он не считал себя обязанным майорше за то, что она сделала его кавалером в Экебю. Ему казалось: лучше умереть, чем ходить по земле, сознавая себя виновным в самоубийстве Эббы Доны. Он пальцем о палец не ударил, чтобы отомстить майорше, но ничего не сделал, чтобы помочь ей. Он просто не мог что-либо сделать. Но кавалеры обрели великую силу и богатство. На дворе стояло Рождество с празднествами и развлечениями. Сердца кавалеров были преисполнены ликования, а что до горя и скорби, по-прежнему отягощавших душу Йёсты Берлинга, никто не мог прочесть их ни в его сердце, ни на его устах.

Глава четвертая Йёста Берлинг – поэт

Наступило Рождество, и в Борге ожидался бал.

В те времена жил в Борге молодой граф Дона. Совсем недавно он женился, и у него была юная, прекрасная собой супруга. И все ожидали, что на балу в старом графском поместье будет царить веселье.

Приглашение на бал пришло и в Экебю. Но так случилось, что из всех праздновавших там в тот год Рождество лишь один Йёста Берлинг, которого все называли поэтом, пожелал ехать на бал.

И Борг, и Экебю – оба поместья расположены у длинного озера Лёвен, но на противоположных берегах. Борг находится в приходе Сваргшё, Экебю – в приходе Бру. Когда же озеро делается непроезжим, несколько миль пути по берегу отделяют Экебю от Борга.

Бедный Йёста Берлинг! Старые кавалеры снаряжали его на этот праздник, словно он был королевским сыном и ему предстояло достойно поддержать честь своего королевства.

Он облачился в новенький фрак с блестящими пуговицами, жабо было туго накрахмалено, сапоги из блестящей кожи сверкали. Он надел шубу из драгоценнейшего бобра, а на светлые кудрявые волосы – соболью шапку. Кавалеры велели устлать его беговые сани медвежьей шкурой с серебряными когтями, а везти сани должен был вороной Дон Жуан, гордость усадебной конюшни.

Йёста свистнул своего белоснежного пса Танкреда и схватил плетеные вожжи. Он ехал, ликуя, овеянный призрачной дымкой богатства и роскоши, он, и без того излучавший яркий свет телесной и душевной красоты, живого, игривого ума.

Выехал он рано, до обеда. Было воскресенье, и, проезжая мимо церкви в Бру, он услышал пение псалма. Затем он проследовал безлюдной лесной дорогой, ведущей в Бергу, где жил тогда капитан Уггла. Там он намеревался остаться к обеду.

Поместье Берга было не из богатых. Голод проторил дорогу к крытому торфом жилищу капитана. Однако принимали там Йёсту с веселыми шутками, развлекая его, как и других гостей, пением и играми; и уезжал он оттуда так же неохотно, как и они.

Старая мамзель Ульрика Дильнер, заправлявшая всем хозяйством в усадьбе, стоя на лестнице, приветствовала Йёсту как желанного гостя. Она сделала книксен, и ее накладные локоны, обрамлявшие загорелое, изрезанное тысячью морщинок лицо, заплясали от радости. Она повела его в зал и начала рассказывать об обитателях усадьбы и об их переменчивых судьбах.

– Печаль стоит у нашего порога, – говорила она, – тяжелые времена настали для Берги. У нас нет даже хрена к солонине на обед, и Фердинанду пришлось запрячь Дису в сани и вместе с барышнями поехать в поместье Мункеруд – одолжить хрену.

Капитан опять охотится в лесу и, очевидно, вернется в усадьбу с каким-нибудь жилистым зайцем, на приготовление которого пойдет куда больше масла, чем он сам того стоит. Это он называет «добывать для дома пропитание». Но это еще бы хорошо; только бы он не вернулся с какой-нибудь паршивой лисицей, самой мерзкой тварью, какую только создал Господь Бог. Пользы от нее – и от живой, и от мертвой – совершенно никакой.

Что до капитанши, да, так она еще и не вставала. Лежит, читает романы, как и всегда, все дни напролет. Не создана она, этот божий ангел, для работы...

Нет, труд, видно, удел тех, кто стар и сед, как она – Ульрика Дильнер. Топчешься дни и ночи по усадьбе, чтобы преградить дорогу нищете. И не всегда это удается; по правде говоря, однажды целую зиму у них в доме никакого мяса, кроме медвежьего окорока, не было. И большего жалованья она тоже не ожидает, она вообще-то еще никакой платы в глаза не видела; но,

верно, они не вышвырнут ее на проселочную дорогу, когда она больше не сможет зарабатывать свой хлеб. Более того, в этом доме мамзель экономку почитают за человека, и, верно, когда-нибудь ее, старую Ульрику, достойно предадут земле, если, конечно, у них найдутся деньги на гроб.

– Потому что кто знает, как все это будет! – воскликнула она, вытирая глаза; а глаза у нее всегда были на мокром месте. – Мы задолжали злему заводчику Синтраму, и он может отобрать у нас имение. Конечно, Фердинанд теперь помолвлен с богачкой Анной Шернхёк, но он скоро надоеет ей, помяните мое слово, надоеет. И что станется с нами, с нашими тремя коровами и девятью лошадьми, с нашими веселыми юными барышнями, которые жаждут разъезжать с одного бала на другой, с нашими засушливыми полями, где ничто не растет, с нашим милым Фердинандом, которому никогда не стать настоящим мужчиной? Что станется с этим благословенным домом, где все процветает, кроме работы?

Но вот настало время обеда, и все домочадцы собрались вместе. Милый Фердинанд, кроткий сын своих родителей, и их веселые дочери вернулись домой, одолжив хрен. Явился и сам капитан, взбодренный купаньем в проруби небольшого озера и охотой в лесу. Он распахнул окно, чтобы легче было дышать, и с недюжинной силой, по-мужски, пожал руку Йёсте. Явилась и капитанша, разодетая в шелка, отделанные широкими кружевами, ниспадающими на ее белые руки, которые Йёсте дозволили поцеловать.

Все радостно поздоровались с Йёстой; перебрасываясь веселыми шутками, они спросили его:

– Как вам живется в Экебю, как вам живется в этой земле обетованной?

И он ответил:

– Там текут молочные и медовые реки. Мы добываем железо из гор и наполняем погреб вином. Поля приносят золото, которым мы позолачиваем нищету нашей жизни. Леса же мы вырубаем, чтобы строить кегельбаны и беседки.

Однако в ответ на эти слова капитанша, вздохнув, улыбнулась, и с ее уст слетело лишь одно-единственное слово:

– Поэт!

– Много грехов на моей совести, – сказал Йёста, – но никогда не написал я ни строчки стихов.

– И все-таки ты поэт, Йёста, этого звания от тебя не отнимешь. Ты пережил намного больше поэм, чем иные скальды сочинили.

Затем капитанша мягко, по-матерински, заговорила о его растроченной попусту жизни.

– Я должна дожить до того дня, когда увижу, что ты стал настоящим мужчиной, – сказала она.

И он почувствовал, как сладостно сознавать, что тебе желает добра и вселяет в тебя веру в жизнь такая вот женщина – верный друг, чье мужественное, мечтательное сердце пылает любовью к великим подвигам.

Когда же они покончили с веселой трапезой и насладились солониной с хреном и капустой, хворостом и рождественским пивом, а Йёста заставил их смеяться до слез, рассказывая о майоре с майоршей и о пасторе из Брубю, во дворе послышался звон колокольчиков и вслед за этим к ним вошел злой Синтрам.

Он весь сиял от счастья, начиная с лысой головы и кончая длинными плоскими ступнями. Он размахивал длинными руками и строил гримасы. Сразу видно было, что он привез дурные вести.

– Слышали, – спросил злой Синтрам, – слышали, сегодня в церкви Свартшё впервые огласили помолвку Анны Шернхёк и богача Дальберга? Должно быть, она забыла, что обручена с Фердинандом.

Ни слова не слышали они об этом. Они удивились и загрустили.

Они живо представили себе, что дом их разорен и опустошен ради того, чтобы выплатить долг злему Синтраму, любимые лошади проданы, продана и обветшалая мебель, унаследованная капитаншей из ее родного дома. Мысленно она видела уже конец своей веселой жизни с празднествами и бесконечными поездками с одного бала на другой. На столе снова появится медвежий окорок, а Фердинанду с сестрами придется уехать из дома и пойти в услужение к чужим людям.

Капитанша приласкала сына, заставив его тем самым найти утешение в ее неизменной материнской любви.

Однако же с ними был Йёста Берлинг, и в уме этого неисправимого фантазера уже роились тысячи планов.

– Послушайте! – воскликнул он. – Еще не время жаловаться и сетовать. Все это подстроила жена пастора из Свартшё. Она обрела власть над Анной с тех пор, как та поселилась в пасторской усадьбе. Это она заставила Анну отказаться от Фердинанда и взять в мужа старика Дальберга. Но они еще не повенчаны, да и не будут повенчаны. Я тотчас еду в Борг и повидаяюсь с Анной. Я поговорю с ней, я вырву ее из власти пасторской семьи, из власти жениха. Нынче же ночью я привезу ее сюда. А уж тогда старому Дальбергу не добиться, чтоб она вышла за него замуж.

Так оно и случилось. Йёста один отправился в Борг, не позволив отвезти себя ни одной из веселых барышень. Но его сопровождали теплые пожелания всех домочадцев Берги.

А Синтрам, преисполненный ликования оттого, что старик Дальберг останется с носом, решил дожидаться в усадьбе возвращения Йёсты вместе с изменщицей-невестой, чтобы увидеть все собственными глазами. В припадке дружеского расположения он даже опоясал Йёсту своим зеленым дорожным кушаком, подарком самой мамзель Ульрики.

Что же до капитанши, то она вышла на лестницу с тремя небольшими книжками, перевязанными красной ленточкой.

– Возьми их себе, – сказала она Йёсте, уже сидевшему в санях, – возьми их себе, если не повезет. Это – «Коринна», «Коринна» мадам де Сталь. Не хочу, чтоб эту книгу продали с аукциона.

– Мне не может не повезти, – заверил капитаншу Йёста.

– Ах, Йёста, Йёста, – сказала она, проводя рукой по его непокрытым волосам, – самый сильный и самый слабый из людей! Сколько времени ты будешь помнить, что счастье горстки бедных людей в твоих руках?

Йёста снова помчался по проселочной дороге; вороной Дон Жуан тащил сани, позади бежал белоснежный Танкред, а душа Йёсты была переполнена ликующей жадой приключений. Он ощущал себя юным полководцем-завоевателем, над головой которого незримо парит его добрый гений.

Дорога привела его к пасторской усадьбе в Свартшё. Свернув туда, он спросил, нельзя ли ему отвезти на бал Анну Шернхёк. И ему позволили. Красивая, своенравная девушка села к нему в сани. Да и кто бы не пожелал прокатиться в санях, запряженных вороным Дон Жуаном?

Сначала они оба молчали, но внезапно она, надменная, строптивая и вызывающая, начала беседу.

– Слышал ли ты, Йёста, что объявил нынче пастор в церкви?

– Он сказал, верно, что ты – самая красивая девушка между Лёвеном и Кларэльвеном?

– Что за глупые шутки, Йёста! Пастор огласил мою помолвку со стариком Дальбергом, и это всем уже известно.

– Так бы я и позволил тебе сидеть у меня в санях! Если бы я знал об этом, то сидел бы не рядом с тобой, а позади. Я бы вообще не повез тебя, знай я об этом!

На что гордая наследница отвечала:

– Я обошлась бы и без тебя, Йёста Берлинг!

– И все-таки, Анна, – поразмыслив, сказал Йёста, – мне жаль, что твоих отца с матерью нет в живых. Ведь на такого человека, каким стала ты, нельзя ни в чем положиться. И никто не станет больше считаться с тобой.

– Еще более жаль, что ты не сказал все это раньше, тогда бы кто-нибудь другой отвез меня на бал.

– Пасторша, как и я, считаем, что тебе нужен человек, который заменил бы тебе отца. Иначе бы она не впрягла тебя в пару с такой дряхлой клячей.

– И вовсе это не пасторша решила!

– Боже упаси, неужто ты сама выбрала такого красавца в женихи?

– Он женится на мне не из-за денег.

– Разумеется, ведь старики гоняются лишь за голубыми глазками да розовыми щечками, а как они нежны при этом.

– Ах, Йёста, как тебе не стыдно!

– Но запомни, больше тебе с молодыми людьми не флиртовать! Конец всем твоим флиртам и танцам! Теперь твое место в углу дивана; а может, ты собираешься играть в виру со стариком Дальбергом?

Она ничего не ответила. И оба молчали до тех самых пор, пока не въехали на крутой холм Борга.

– Спасибо, что подвез меня! Долго придется тебе ждать моего согласия прокатиться с тобой еще раз, Йёста Берлинг!

– Спасибо за обещание. А я слышал, многие проклинают тот день, когда отправились вместе с тобой на вечеринку.

Местная красавица в самом дурном расположении духа вошла в танцевальную залу и оглядела собравшихся гостей надменным и строптивым взором.

Первым она увидела низенького плешивого Дальберга рядом с высоким, статным, светлокудрым Йёстой Берлингом. И ее вдруг обуяло страстное желание выгнать их обоих из зала.

Жених подошел к ней – пригласить на танец, но она взглянула на него с презрительным удивлением.

– Вы собираетесь танцевать? Вы же не танцуете!

Знакомые девушки подошли поздравить ее с помолвкой.

– Не притворяйтесь, барышни! Ведь вы и сами не думаете, что можно влюбиться в старика Дальберга! Но он богат, богата и я, так что мы друг другу под стать.

Пожилые дамы подходили к ней, пожимали ее белую руку и говорили о величайшем счастье, выпавшем на долю Анны.

– Поздравьте пасторшу! – отвечала она. – Она рада этому куда больше, чем я.

Но тут же в зале стоит Йёста Берлинг, беззаботный кавалер; все счастливы приветствовать его за веселую улыбку и прекрасные речи, рассыпающие золотую пыльцу на серое тканье жизни. Никогда прежде не доводилось Анне видеть его таким, каким он был в этот вечер. Он не был ни изгоем, ни отверженцем, ни бездомным фигляром, нет, он был королем среди мужей, прирожденным королем.

Он и другие молодые люди составили заговор против нее. Пусть поразмыслит хорошенько, как дурно она поступает, отдавая старику свое прекрасное лицо и свои несметные богатства. Никто не приглашал ее на целых десять танцев.

Она просто кипела от гнева.

На одиннадцатый танец ее пригласил человек, с которым никто не желал танцевать, бедняга – ничтожнейший из ничтожных.

– Хлеб кончился, на стол подают пальты, – сказала она.

Началась игра в фанты. Светлокудрые девушки, прижавшись головками друг к другу, пошептались и присудили ей поцеловать того, кто ей более всех по душе. И с улыбкой на устах предвкушали они увидеть, как гордая красавица поцелует старика Дальберга.

Но она поднялась, величественная в своем гневе, и сказала:

– А нельзя ли мне с таким же успехом дать пощечину тому, кто мне менее всех по душе?

Миг – и щека Йёсты запылала от удара ее твердой руки. Он покраснел как рак, но, опомнившись, схватил ее руку и, на секунду задержав ее в своей, прошептал:

– Встретимся через полчаса в красной гостиной внизу!

Его голубые глаза сияли навстречу Анне, соединяя ее с ним властными колдовскими узлами. Она поняла, что должна повиноваться.

Внизу она встретила его гордыми, недобрими словами:

– Какое тебе дело, Йёста Берлинг, за кого я выхожу замуж?

У него пока не нашлось для нее ни единого ласкового слова, а заговаривать тотчас о Фердинанде, ему казалось, не подобало.

– То, что тебе пришлось просидеть десять танцев кряду, вовсе не беда и не слишком суровая для тебя кара. Ты думаешь, что можешь безнаказанно нарушать клятвы и обещания? Если бы не я, а более достойный человек вздумал тебя покарать, он поступил бы куда более жестоко.

– Что я такого сделала тебе и всем вам, что вы не оставляете меня в покое? Вы преследуете меня только ради денег. В Лёвен надо мне бросить эти деньги, и пусть тогда кто угодно выживает их оттуда!

Закрыв глаза руками, она заплакала от досады.

Ее слезы тронули сердце поэта. Ему стало стыдно своей суровости. И он ласковым голосом сказал:

– Ах, дитя, дитя, прости меня! Прости бедного Йёсту Берлинга! Ты ведь знаешь, никому нет дела до того, что такой бедняга, как я, говорит или делает. Никого не доводит до слез его гнев, с таким же успехом можно плакать от укуса комара. Это безумие, но мне хотелось помешать нашей самой красивой и самой богатой девушке выйти замуж за старика. А получилось так, что я только огорчил тебя.

Он сел рядом с ней на диван, медленно обвил рукой ее талию, чтобы ласковой нежностью поддержать девушку, ободрить ее.

Она не отстранилась. Прижавшись к нему, она обняла руками его шею и заплакала, склонив прелестную головку ему на плечо.

Ах, поэт, самый сильный и самый слабый из людей! Разве твою шею должны были бы обнимать эти белые руки!

– Если бы я знала об этом, никогда бы не взяла в мужья старика. Я смотрела на тебя сегодня вечером, равных тебе нет на свете.

Побелевшие губы Йёсты выдавили с трудом:

– Фердинанд!..

Поцелуем она заставила его замолчать.

– Он ничтожество, нет никого на свете лучше тебя. Тебе я буду верна!

– Я ведь – Йёста Берлинг, – мрачно сказал он, – за меня тебе выйти замуж нельзя.

– Люблю я только тебя, ты – самый знатный и благородный из всех! Тебе ничего не надо делать, никем не надо быть. Ты – прирожденный король, настоящий король!

При этих словах кровь поэта закипела. Она была так прелестна и так нежна! Он заключил ее в объятия.

– Если хочешь стать моей, тебе нельзя оставаться в пасторской усадьбе! Позволь мне увезти тебя нынче же ночью в Экебю! Там я сумею защитить тебя, пока мы не сыграем свадьбу!

Стремительно мчались они в эту ночь. Послушные зову любви, они позволили Дон Жуану везти их в Экебю. Казалось, скрип снега под полозьями был сетованиями тех, кому они изменяли. Но что им до этого? Она обняла его за шею, а он, наклонясь к ней, шептал ей на ухо:

– Какое блаженство на свете может сравниться со сладостью украденного счастья?

Что значило для них оглашение в церкви? Ведь они любили друг друга. Что значил для них гнев людской? Йёста Берлинг верил в судьбу, судьба повелела им так поступить. Никто не может бороться с судьбой.

Будь даже звезды на небе свадебными свечами, зажженными в честь ее бракосочетания, а бубенцы Дон Жуана – церковными колоколами, призывавшими людей созерцать ее венчание со стариком Дальбергом, она все равно должна была бы бежать с Йёстой Берлингом. Ведь сила судьбы неодолима. Они благополучно миновали пасторскую усадьбу и Мункеруд. Им оставалось всего две четверти мили пути до Берги, а потом столько же до Экебю. Дорога шла вдоль лесной опушки.

Направо высилась темная гора, налево тянулась длинная заснеженная долина.

И тут вдруг их нагнал Танкред. Он мчался так быстро, что казалось, будто распластался на земле. Воя от ужаса, он прыгнул в сани и прижался к ногам Анны.

Дон Жуан вздрогнул и поскакал во весь опор.

– Волки! – догадался Йёста Берлинг.

Они увидели, как вдоль изгороди движется длинная серая вереница. Волков было не меньше дюжины.

Анна не испугалась. Этот благословенный день был богат приключениями, а ночь обещала быть под стать дню. Вот это и называется жизнь: мчаться стремглав по искрящемуся снегу – диким зверям и людям вопреки.

С губ Йёсты сорвалось проклятие, он наклонился вперед и сильно стегнул кнутом Дон Жуана.

– Ты боишься? – спросила она.

– Они собираются отрезать нам путь вон там, на повороте.

Дон Жуан безудержно несся вперед, наперегонки с лесными хищниками, а Танкред выл от бешенства и страха. Они достигли поворота в тот же миг, что и волки, и Йёста хлестнул жоака кнутом.

– Ах, Дон Жуан, мальчик мой, как легко ты избавился бы от двенадцати волков, если бы тебе не надо было везти нас, людей!

Они привязали сзади зеленый дорожный кушак. Волки испугались кушака и некоторое время держались на расстоянии. Но когда они преодолели страх, один из них, тяжело дыша, со свисающим из разинутой пасти языком, ринулся к саням. Тут Йёста схватил «Коринну» мадам де Сталь и швырнул книгу прямо в волчью пасть. Пока звери терзали добычу, Йёста и Анна снова получили небольшую передышку, а потом опять почувствовали, как волки, кусая зеленый дорожный кушак, дергают сани, и слышали их прерывистое дыхание. Анна и Йёста знали, что до самой Берги им не встретится ни единого человеческого жилья. Но хуже смерти казалось Йёсте увидеться с теми, кого он обманул. Он понимал также: конь скоро устанет – и тогда что станет с ними?

Тут на лесной опушке показалась Берга. В окнах дома виднелись зажженные свечи. Йёста знал, ради кого они горят.

И все-таки... Страшась близости человеческого жилья, волки убежали, и Йёста проехал мимо Берги. Однако же дальше того места, где дорога вновь углубляется в лес, проехать ему не удалось.

Он увидел пред собой темную стаю – волки поджидали его.

– Повернем назад к пасторской усадьбе и скажем, что мы совершили увеселительную поездку при свете звезд! Нам не добраться до Экебю.

Они повернули назад, но сани тут же были окружены волками. Мелькали серые тени, в широко разинутых пастьях сверкали белые клыки, светились пылающие глаза. Волки выли от голода и жажды крови. Блестящие звериные клыки готовы были вонзиться в мягкое человеческое мясо. Волки прыгнули на Дон Жуана и крепко повисли на конской сбруе. Анна сидела и думала: съедят ли их звери до последней косточки или что-нибудь уцелеет, так что наутро люди найдут их растерзанные останки на затоптанном, окровавленном снегу?

– Теперь дело идет о нашей жизни, – сказала она и, наклонившись, схватила за загривок Танкреда.

– Оставь, все равно не поможет! Нынче ночью волки рыскают вовсе не ради собаки.

С этими словами Йёста въехал во двор усадьбы Берга, а волки гнались за ним до самой лестницы парадного хода. Ему пришлось защищаться от них кнутом.

– Анна, – сказал он, когда они остановились у самой лестницы. – Это не угодно Господу Богу! Сделай теперь веселую мину, если ты та женщина, какой я тебя считаю, сделай вид, что ничего не случилось!

В доме услышали звон бубенцов и вышли во двор.

– Он привез ее, он привез ее! – закричали они. – Да здравствует Йёста Берлинг!

И все бросились обнимать путников, буквально вырывая их друг у друга.

Вопросов им не задавали. Ночь уже близилась к концу, путешественники, потрясенные этой ужасающей поездкой, нуждались в отдыхе. Достаточно было того, что Анна приехала.

Все обошлось. Только «Коринна» да зеленый дорожный кушак – драгоценный дар мамзель Ульрики, были уничтожены волками.

Весь дом спал. Йёста встал, оделся и выскользнул во двор. Он незаметно вывел из конюшни Дон Жуана и запряг его в сани, собираясь уехать. В тот же миг из дома вышла Анна Шернхёк.

– Я слышала, как ты уходил, – сказала она, – и тоже встала. Я готова ехать с тобой.

Подойдя к Анне, он взял ее за руку.

– Неужто ты все еще не поняла? Этому быть не суждено. Это не угодно Господу. Выслушай меня и попытайся понять! Я был здесь днем и видел, как они горюют из-за твоей неверности. Я поехал в Борг, чтобы привести тебя обратно к Фердинанду. Но я всегда был негодяем и никогда не смогу измениться. Я предал его, оставив тебя для себя самого. Здесь в доме есть одна старая женщина, которая думает, что я еще могу стать человеком. Ее я тоже предал. А другая старая бедная женщина в этом доме готова голодать и холодать, только бы умереть среди друзей. Однако же я готов был позволить злему Синтраму отобрать у них дом. Ты прекрасна, Анна, а грех – сладок. Йёсту Берлинга так легко ввергнуть в искушение! О как же я несчастен! Я знаю, как они любят свой дом! И все же я совсем недавно готов был обречь их на разорение. Я все позабыл ради тебя, ты была столь пленительна в своей любви. Но теперь, Анна, теперь, после того как я видел их радость, я не смогу оставить тебя себе, я этого не желаю. Ты – та, которая должна была сделать из меня человека, но я не смею оставить тебя для себя. О моя любимая! Всевышний на небесах играет нами. Мы подвластны Его воле. Пришло время склониться под Его карающей десницей. Скажи, что с этого дня ты будешь нести свой крест! Все в этом доме надеются на тебя. Скажи, что останешься с ними и будешь им поддержкой и опорой! Если ты любишь меня, если хочешь облегчить мое горе, обещай мне это! Любимая моя, столь ли велико твое сердце, что сможет одержать победу над самим собой и улыбаться при этом?

Она с восторгом приняла его слова и дала обет самоотречения.

– Я сделаю все, что ты пожелаешь, пожертвую собой и буду при этом улыбаться.

– И не станешь ненавидеть моих бедных друзей?

Она печально улыбнулась.

– Пока я люблю тебя, я буду любить их.

– Только теперь я понимаю, что ты за женщина. Как тяжело мне уезжать от тебя!

– Прощай, Йёста! Поезжай с богом! Моя любовь не ввергнет тебя больше в искушение. Она повернулась, чтобы войти в дом. Он последовал за ней.

– Ты скоро забудешь меня?

– Поезжай же, Йёста! Ведь мы всего-навсего слабые люди.

Он бросился в сани, но тут она вернулась.

– А ты не думаешь о волках?

– Думаю, но они уже сделали свое дело. Этой ночью я им больше не нужен.

Он еще раз простер к ней руки, но Дон Жуан нетерпеливо рванулся вперед. Йёста не взял в руки вожжи. Сидя спиной к лошади, он смотрел на Бергу. Потом, уткнувшись лицом в спинку саней, он отчаянно зарыдал.

«Счастье было в моих руках, а я сам прогнал его. Сам прогнал его. Почему я не сохранил его!»

Ах, Йёста Берлинг, Йёста Берлинг, самый сильный и самый слабый из людей!

Глава пятая La cachucha

О боевой конь, боевой конь! Ты, что стоишь ныне стреноженный на пашне, вспоминаешь ли ты, старина, дни своей юности?!

Вспоминаешь ли ты, не знавший страха, день битвы?! Ты мчался тогда вперед во весь опор, словно на крыльях: словно полыхающее пламя развевалась твоя грива. На твоей черной, взмыленной груди блестели капли крови. В золотой сбруе ты мчался во весь опор вперед, и земля содрогалась от грохота твоих копыт. Ты, не знавший страха, сам трепетал от радости! О, как ты был прекрасен!

В кавалерском флигеле – серый, сумеречный час! В большой горнице наверху стоят вдоль стен красные сундуки кавалеров, а по углам на крюках развешано их праздничное платье. Отсветы огня, пылающего в открытом очаге, играют на белых оштукатуренных стенах и на занавесях в желтую клетку, скрывающих спальные боковуши в стенах. Кавалерский флигель – это вовсе не королевские покои и не сераль с мягкими диванами и пуховыми подушками.

Но там поет скрипка Лильекруны. Он играет в сумерках la cachucha. Все снова и снова играет он этот испанский танец. Зачем он играет этот проклятый танец? Зачем он играет его, когда Эрнеклу, прапорщик, лежит в постели, в муках подагры, таких тяжких, что не может шевельнуться? Нет, вырви скрипку у него из рук и разбей ее о стену, если он сам не прекратит играть!

La cachucha, разве этот танец для нас, маэстро? Неужто его танцуют на шатких половицах кавалерского флигеля, в этих тесных, закоптелых от дыма и жирных от грязи стенах, под этим низким потолком? Горе тебе, маэстро, зачем ты его играешь?

La cachucha, разве этот танец для нас, для нас – кавалеров? За окном завывает зимняя вьюга. Неужто ты хочешь обучить снежинки танцевать в такт этому танцу, неужто ты играешь для легкокрылых деток вьюги?

Женские тела, трепещущие от притока жаркой пульсирующей крови. Маленькие, перепачканные сажей руки, отбросившие в сторону котелок, чтобы схватиться за кастаньеты, обнаженные ноги, а над ними подоткнутый подол юбки. Двор, выложенный мраморной плиткой, присевшие на корточки цыгане с волынкой и тамбурином, мавританские аркады, лунный свет и черные очи – есть ли у тебя все это, маэстро? Если нет – вели своей скрипке замолчать!

Кавалеры сушат свое промокшее платье у очага. Неужто они пустятся в пляс, обутые в высокие сапоги, с подбитыми железом каблуками и подошвами толщиной в дюйм? Целый день бродили они по снегу глубиной в локоть, чтобы подойти к медвежьей берлоге. Думаешь, они в своих серых, испускающих пар сермяжных одеждах станут танцевать с косматым мишкой?

Вечернее небо, сверкающее звездами, алые розы в темных женских волосах, тревожная сладость вечернего воздуха, врожденная пластичность движений... Любовь, да, любовь, восходящая от земли, низвергающаяся дождем с неба, парящая в воздухе, – есть ли у тебя все это, маэстро? Если нет – зачем заставляешь ты нас мечтать о недостижимом? Самый жестокосердный из людей, зачем трубишь ты в боевую трубу, призывая к битве стреноженного боевого коня? Рутгер фон Эрнеклу лежит прикованный к постели, в муках подагры. Пощади его, избавь его, маэстро, от щемящих душу сладостных воспоминаний. Ведь и он носил когда-то сомбреро и пеструю косынку на голове... И у него был бархатный камзол и украшенный кинжалом пояс. Пощади, маэстро, старого Эрнеклу!

Но Лильекруна играет la cachucha, он неустанно играет один лишь танец la cachucha. И Эрнеклу испытывает муки любовника, когда видит, как ласточка держит путь к далекой возлюбленной, муки оленя, когда он, гонимый и затравленный охотниками, пробегает мимо живительной влаги родника.

Лишь на миг отнимает Лильекруна скрипку от подбородка.

– Прапорщик! Вы помните, прапорщик, Розали фон Бергер?

Эрнеклу извергает страшное проклятие.

– Она была легка, как луч света. Она танцевала, сверкая, словно бриллиант на кончике смычка. Вы, прапорщик, наверняка помните ее по театру в Карлстаде. Мы видели ее, когда были молоды, помните, прапорщик?

Помнил ли ее прапорщик? Еще бы! Она была невысока ростом, весела и игрива. Пылкая как огонь, уж она-то умела танцевать *pas de deux*. Она научила всех молодых людей в Карлстаде танцевать *la sashucha* и шелкать кастаньетами. На балу у губернатора прапорщик вместе с фрёкен фон Бергер, одетые в испанские костюмы, танцевали *la sashucha*.

И он танцевал так, как танцуют под смоковницами и платанами, танцевал как испанец, как истый испанец.

Никто во всем Вермланде не умел танцевать *la sashucha* так, как он. Никто не умел танцевать этот танец так, что стоило бы говорить об этом больше, чем об Эрнеклу.

Какого же кавалера утратил Вермланд, когда подагра заставила окостенеть его ноги, а суставы покрылись подагрическими шишками! Какой же он был кавалер – какой статный, красивый, рыцарственный! «Красавцем Эрнеклу» называли его те самые юные девицы, что могли вспылать смертельной враждой друг к другу только ради одного-единственного танца с ним.

Лильекруна снова начинает играть *la sashucha*, он неустанно играет один лишь танец *la sashucha*, и воспоминания уносят Эрнеклу назад, в прежние времена.

Вот они вместе – он и Розали фон Бергер. Они только что остались наедине в актерской уборной. Она одета испанкой, он – испанцем. Ему дозволено поцеловать ее, но очень осторожно, потому что она боится его нафабранных усов. И вот они танцуют. Ах, так танцуют лишь под смоковницами и платанами! Она ускользает, он следует за ней, он становится дерзким, она – гордой, он – уязвлен, она пытается умиловить его. Когда же под конец он падает на колени и заключает ее в свои распростертые объятия, всеобщий вздох проносится по залу, вздох восхищения.

Он танцевал словно испанец, словно истый испанец!

При таком же взмахе смычка он склонился вот так, вот так вытянул руки, выставил вперед ногу и закурился на носках. Что за грация! Его можно было бы высечь из мрамора.

Он и сам не знает, как это случилось, но он, перекинув ногу через край кровати, уже стоит, выпрямив спину. Он нагибается, потом поднимает руки, щелкает пальцами и намеревается воспарить над полом точно так, как прежде, когда носил башмаки блестящей кожи, такие тесные, что приходилось срезать ножницами часть чулка, прикрывавшую ступню.

– Bravo, Эрнеклу! Bravo, Лильекруна, играй, вдохни, всели в него жизнь своей игрой!

Нога не слушается его. Он не может встать на пальцы. Несколько раз он взмахивает ногой, но силы изменяют ему, и он снова падает на кровать.

Прекрасный сеньор, вы состарились!

Да и вы, сеньорита, кажется, тоже?!

Только там, под платанами Гренады, гитаны, что танцуют *la sashucha*, вечно юны. Они вечно юны, словно розы, оттого что каждая весна рождает все новых и новых танцовщиц.

Так что настал час обрезать струны скрипки.

Но нет! Лильекруна, играй *la sashucha*, неустанно играй один лишь танец *la sashucha*!

Учи нас тому, чтобы, хоть тела наши в кавалерском флигеле увяли и ноги оцепенели, чувства наши не изменились, они всегда те же, мы – всегда истые испанцы!

Старый боевой конь, боевой конь!

Скажи, что ты любишь призывные звуки боевой трубы, внушающие тебе, что ты скачешь галопом, даже если вытягиваешь свою окровавленную стреноженную ногу из железных пут.

Глава шестая Бал в Экебю

О женщины минувших лет!

Говорить о вас – все равно что говорить о райском блаженстве. Все до одной – красавицы, все до одной – светлые, как день! Вы были вечно молоды, вечно прекрасны, а ласковы, словно взгляд матери, когда она смотрит на свое дитя. Нежные и мягкие, как бельчата, обнимали вы шею мужей. Голос ваш никогда не дрожал от гнева, чело ваше никогда не бороздили морщинки, ваша нежная ручка никогда не становилась шершавой и грубой. Светлою святостью, гордостью и украшением были вы в храме домашнего очага. Вам курили фимиам, вам возносили молитвы, любовь к вам творила чудеса, а поэты окружали ярким золотым ореолом ваше чело.

О женщины минувших лет, – это повесть о том, как одна из вас одарила Йёсту Берлинга своей любовью.

Через две недели после бала в Берге был праздник в Экебю.

До чего же великолепный был этот праздник! Старые мужчины и женщины снова молодели, улыбались и радовались, стоило им потом заговорить о нем.

Однако же в те времена кавалеры были полновластными хозяевами Экебю. Майорша бродила по дорогам с нищенской сумой и посохом, а майор жил в Шё. Он не смог даже почтить своим присутствием праздник, ибо в Шё началось поветрие оспы и он боялся разнести заразу по всей округе.

Сколько удовольствий доставили эти сладостные двенадцать часов начиная с той минуты, когда за обеденным столом, громко хлопнув, вылетела пробка из первой бутылки шампанского! И кончая последним взмахом смычка, когда уже давным-давно минул полночный час!

Бесследно исчезли, канули в Лету эти увенчанные цветами времена, чаровавшие обжигающим пламенем вина, утонченные яства, чудеснейшая музыка, остроумные театральные сочинения, прекрасные живые картины. Бесследно исчезли эти времена неистовых танцев. Где найдешь еще столь гладкие полы, столь галантных кавалеров, столь прекрасных женщин?

О женщины минувших лет, как умели вы украшать собою праздник! Каждого, кто приближался к вам, пленяли исходившие от вас потоки огня, сила молодости и ума. Стоило сорить деньгами, расточать свое золото на восковые свечи, чтобы озарять вашу прелесть, и на вино, рождавшее веселость в ваших сердцах! Ради вас стоило танцевать так, что подошвы башмаков обращались в прах! Стоило натрудить до онемения руку, водившую смычком скрипки!

О женщины минувших лет, вы владели ключом к вратам рая!

В залах поместья Экебю собрались прелестнейшие из сонма прелестных. Здесь – юная графиня Дона, брызжущая весельем и жаждущая игр и танцев – под стать ее двадцати годам. Здесь красавицы-дочери судьи из Мункеруда и веселые барышни из Берги. Здесь – Анна Шернхёк, в тысячу раз прекрасней прежнего в своей нежной меланхолии, охватившей ее с той самой ночи, когда за ней гнались волки. Здесь и многие-многие другие, еще не забытые красавицы; но их тоже скоро забудут. Здесь и прекрасная Марианна Синклер.

Прославленная, блиставшая при королевском дворе, украшавшая своим присутствием графские замки, королева красоты, она объездила всю страну и принимала повсюду изъявления восторга. Зажигавшая везде, где только появлялась, искру любви, она почтила своим присутствием праздник кавалеров в Экебю.

Ярко сияла в те времена честь и слава Вермланда, немало было там и величавых имен. Да, множеством имен могли гордиться веселые дети прекрасного края, но, называя достойнейших из достойных, никогда не упускали они случая назвать имя Марианны Синклер.

Сказочной молвой о ее победах наполнилась вся страна.

Рассказывали о графских коронах, готовых увенчать ее голову, о миллионах, брошенных к ее ногам, о мечях воителей и лавровых венках поэтов, блеск которых привлекал ее.

Она была не только красива, но также блистательно умна, талантлива и образованна. Самые выдающиеся мужи того времени считали удовольствием беседу с ней. Сама она сочинительницей не была, но многие из идей, которые она вложила в души своих друзей-поэтов, оживали потом в их песнях.

В Вермланде, в этом медвежьем углу, она пребывала редко. Жизнь ее составляли постоянные путешествия. Ее отец, богач Мельхиор Синклер, сидел вместе с женой дома в своем поместье в Бьёрне, позволяя Марианне гостить у ее знатных друзей в больших городах или в богатых усадьбах. Ему доставляло своего рода удовольствие рассказывать о всех тех деньгах, которыми она сорила. И старые ее родители жили счастливо в лучах славы блистательной Марианны.

Жизнь, полная наслаждений и поклонения, была ее стихией. Воздух вокруг нее был напоен любовью, любовь была ее светом, ее путеводной звездой, любовь была ее хлебом насущным.

Сама она влюблялась часто, да, очень часто, но никогда охватывавшее ее пламя страсти не было столь длительным, чтобы с его помощью выковать цепи, соединяющие навсегда.

– Я жду его, могучего героя, – говорила она. – До сих пор никто ради меня не брал штурмом неприступные валы и не переплывал рвы. Ручным и кротким являлся он ко мне, без страсти во взоре и безрассудства в сердце. Я жду его, сильного, могущественного, того, кто поведет меня за собой вопреки моей воле. Я хочу познать в сердце моем столь сильную любовь, чтобы мне самой трепетать пред ним. До сих пор я знавала лишь такую любовь, над которой смеется мой разум.

Ее присутствие придавало огня беседе, крепости – вину. Ее пылкая душа вселяла жизнь в смычки скрипок, а парящий полет танца был всего сладостней и пламенней на тех половицах, которых касалась ее узенькая ножка. Она блистала в живых картинах, она была добрым гением комедий, ее прекрасные уста...

Тсс, это не ее вина, никогда она не стремилась к этому. Виноват был балкон, лунный свет, кружевная вуаль, рыцарское одеяние, серенады... Бедные молодые люди были тут ни при чем.

Все это, повлекшее за собой столько несчастий, было сделано тем не менее с самыми лучшими намерениями. Патрон Юлиус – мастер на все руки – сочинил и поставил живые картины, замыслив, что Марианна сверкнет в них во всем своем блеске.

В театре, устроенном в одной из больших гостиных Экебю, сидели гости, а было их не меньше ста, и смотрели, как на сцене странствует по темному ночному небу золотая луна Испании. Вот Дон Жуан крадется по одной из улиц Севильи и останавливается под увитым плющом балконом. Он переодет монахом, но из-под полы монашеского плаща виднеются блестящий клинок шпаги и вышитая манжета.

Переодетый монах запел:

Мне женских губ неведом жар,
Неведом сладкий вкус вина
За дорогим обедом,
И взгляд, что полон тайных чар,
И краски нежная волна,
Что мной невольно зажжена, —
Мне их язык неведом.

Явьясь, сеньора, на балкон,
Напрасно б вашей красотой

Монаха вы смущали.
Одной Мадонне служит он,
Он выбрал крест и плащ простой,
И чистой веры крин святой,
Чтоб утолять печали.

Когда он умолк, на балкон вышла Марианна – в черном бархатном наряде и кружевной вуали. Склонившись над решеткой балкона, она медленно и насмешливо запела:

Зачем вы здесь в полночный час,
Святой отец, какой обряд
Вы здесь творите ныне?

А потом вдруг песня ее зазвучала тепло и живо:

Беги! Увидеть могут нас!
Блеск шпаги привлекает взгляд,
И звона шпор не заглушат
Молитвы и амини!¹⁵

При этих слогах монах сбросил плащ и под балконом предстал в рыцарском одеянии из шелка, шитого золотом, Йёста Берлинг. Невзирая на предупреждение красавицы, он, ее словам вопреки, вскарабкался наверх по одному из столбов, поддерживающих балкон, перемахнул через балюстраду и, как было предопределено патроном Юлиусом, упал на колени к ногам прекрасной Марианны.

Чарующе улыбаясь, она протянула ему руку для поцелуя, и пока эти двое, всецело поглощенные любовью, не отрывали глаз друг от друга, занавес упал.

А пред ней по-прежнему стоял на коленях Йёста Берлинг с нежным, как у поэта, и бесстрашным, как у полководца, ликом; его выразительный взгляд сверкал дерзостью и умом, молил и повелевал. Йёста был ловок и силен, пылок и пленителен.

Пока занавес поднимался и опускался, молодые люди по-прежнему оставались в той же позе. Взор Йёсты притягивал прекрасную Марианну, он молил, он повелевал.

Наконец аплодисменты смолкли, занавес бесшумно упал, никто их больше не видел.

Тут прекрасная Марианна, наклонившись, поцеловала Йёсту Берлинга. Она сама не понимала, зачем она это сделала, но она должна была так поступить. Он крепко держал ее голову и не отпускал ее. А Марианна целовала его снова и снова.

Да, виноват во всем был балкон, лунный свет, кружевная вуаль, рыцарское одеяние, серепады, аплодисменты. Бедные молодые люди были тут ни при чем. Они этого не хотели. Она отвергала графские короны, готовые украсить ее голову, и проходила мимо миллионов, брошенных к ее ногам, вовсе не из-за того, что мечтала о Йёсте Берлинге; да и он не забыл еще Анну Шернхёк. Нет, вины их в том не было, никто из них этого не хотел.

В тот день поднимать и опускать занавес было поручено кроткому Лёвенборгу, у которого глаза вечно были на мокром месте, а на устах постоянно блуждала улыбка. Вечно рассеянный из-за одолевавших его горестных воспоминаний, он почти не замечал, что творится вокруг, и так никогда и не научился выполнять хорошенько свои земные дела. Увидев, что Йёста и Марианна приняли новую позу, он решил, что это тоже входит в живые картины, и начал тянуть занавес за шнур.

¹⁵ Перевод Д. Закса.

Молодые люди на балконе ничего не замечали до тех пор, пока на них снова не обрушился шквал аплодисментов.

Марианна вздрогнула и хотела убежать, но Йёста крепко держал ее, шепча:

– Не шевелись, они думают, что это входит в живые картины!

Он чувствовал, как она вся дрожит и трепещет и как пламя поцелуев угасает на ее устах.

– Не бойся! – шептал он. – Прекрасные уста имеют право на поцелуи.

Им пришлось оставаться на месте, пока занавес поднимался и опускался. И всякий раз, когда сотни пар глаз смотрели на них, столько же пар рук обрушивали на них шквал аплодисментов.

Ведь как приятно смотреть на молодую пару, олицетворяющую счастье любви. Никто и подумать не мог, что эти поцелуи вовсе не театральный мираж, не иллюзия. Никто и не подозревал, что сеньора дрожит от стыда, а рыцарь от волнения. Никто и подумать не мог, что далеко не все на балконе входит в живые картины.

Наконец Йёста и Марианна оказались за кулисами.

Она провела рукой по лбу, коснувшись корней волос.

– Сама себя не понимаю, – сказала она.

– Стыдитесь, фрёкен Марианна, – сказал с гримасой Йёста Берлинг и всплеснул руками. – Целовать Йёсту Берлинга, стыдитесь!

Марианна не удержалась от смеха.

– Ведь каждый знает, что Йёста Берлинг – неотразим. Моя вина ничуть не больше, чем других.

И они пришли к полному согласию – делать вид, будто ничего не произошло, чтобы никто ничего не мог заподозрить.

– Могу я быть уверена в том, что правда никогда не выльвет наружу, господин Йёста? – спросила она, когда им пора было выйти к зрителям.

– Можете, фрёкен Марианна. Кавалеры умеют молчать, я ручаюсь.

Она опустила веки. Странная улыбка заиграла у нее на устах.

– А если правда все же выльвет наружу, что подумают обо мне люди, господин Йёста?

– Ничего они не подумают, они ведь знают, что это ничего не значит. Они решат, что мы вошли в роль и продолжали игру.

Еще один вопрос сорвался как бы невзначай из-под опущенных век, с натянуто улыбающихся губ Марианны.

– Ну а вы сами, господин Йёста? Что вы, господин Йёста, думаете обо всем об этом?

– Я полагаю, что вы, фрёкен Марианна, влюблены в меня, – пошутил он.

– У вас нет оснований так думать, – улыбнулась она. – А не то мне придется пронзить вас, господин Йёста, этим вот испанским кинжалом, чтобы доказать вашу неправоту, господин Йёста!

– Дорого обходятся женские поцелуи, – сказал Йёста. – Неужто ваш поцелуй стоит жизни, фрёкен Марианна?

И тут вдруг Марианна одарила его пламенным взглядом, таким острым, что Йёста ощутил его как удар кинжала.

– Лучше бы мне видеть вас мертвым, Йёста Берлинг, да, мертвым, мертвым!

Эти слова пробудили старую мечту, зажгли старую тоску в крови поэта.

– Ах, – сказал он, – если б эти слова значили больше, чем просто слова, если б это были стрелы, вылетающие из темных зарослей, если б это были яд или кинжал. Если б в их власти было бы умертвить мое жалкое, мое брненное тело и помочь душе моей обрести свободу!

Она снова спокойно улыбалась.

– Ребячество! – сказала она и взяла Йёсту под руку, чтобы выйти вместе с ним к гостям.

Они не сняли свои костюмы, и появление их уже не на сцене вызвало новую бурю восторга. Все восхваляли их. И никто ничего не заподозрил.

Снова начались танцы, но Йёста Берлинг покинул бальный зал. Сердце его болело от восторгов Марианны так, словно в него вонзили острый стальной клинок. Он хорошо понял, что она хотела сказать.

Любить его – позор, быть любимым им – позор, позор худший, чем смерть.

Никогда больше не станет он танцевать, он больше не желает видеть их, этих прекрасных женщин.

Он хорошо знал, что эти прекрасные глаза сверкают, а эти розовые щеки пылают не для него. Не для него парящий полет легких ножек, не для него звучит низкий, грудной смех. Да, танцевать с ним, мечтать вместе с ним – это они могут; но ни одна из них не захотела бы всерьез принадлежать ему.

Поэт отправился в курительную комнату к пожилым мужчинам и занял место за одним из игорных столов. Случайно он оказался за одним столом с могущественным заводчиком и владельцем поместья Бьёрне, который восседал там, играя в кнак. Вперемежку он держал польский банк, собрав пред собой целую кучу монет в шесть грошей каждая и бумажек в двенадцать скиллингов.

Ставки были уже крупными, а Йёста внес в игру еще больший азарт и задор. На стол выложили уже зеленые ассигнации, а груда денег пред могущественным Мельхиором Синклером все росла.

Но и перед Йёстой сгрудилось уже немало монет и ассигнаций, а вскоре он был единственным, кто не уступал в борьбе с могущественным заводчиком и владельцем Бьёрне. Вскоре даже высокая груда монет перекочевала от Мельхиора Синклера к Йёсте Берлингу.

– Йёста, мой мальчик! – смеясь, воскликнул заводчик, проиграв все, что было у него не только в бумажнике, но и в кошельке. – Что же нам теперь делать? Я остался без гроша, а я никогда не играю на чужие, взятые в долг деньги; я обещал это своей матушке.

Все же он отыскал средство продолжить развлечение, проиграв часы и бобровую шубу. Он собрался было уже ставить на карту лошадь и сани, когда Синтрам помешал ему.

– Поставь что-нибудь такое, на чем можно отыграться! – посоветовал Мельхиору злобный заводчик из Форса. – Поставь что-нибудь такое, чтобы переломить неудачу.

– Черт его знает, что бы мне такое придумать?

– Ставь на прекраснейший свет своих очей, брат Мельхиор, ставь на свою дочь!

– На это вы, господин заводчик, можете ставить смело, – рассмеялся Йёста. – Этот выигрыш мне все равно никогда не получить.

В ответ на это могущественный Мельхиор только расхохотался. Правда, он терпеть не мог, когда имя Марианны упоминалось за игорным столом, но то, что предложил Синтрам, было столь безумной нелепостью, что он даже разозлиться не мог. Проиграть Марианну Йёсте, да, на это можно ставить смело.

– То есть, – пояснил он, – если ты сможешь выиграть и получить ее согласие, Йёста, – я ставлю на эту вот карту мое благословение на ваше супружество.

Йёста поставил на карту весь свой выигрыш, и игра началась. Он снова выиграл, и заводчик Синклер прекратил игру. Он видел, что противоборствовать невезенью бесполезно.

Ночь неуклонно двигалась вперед, миновала полночь. Начали блекнуть щечки прекрасных женщин, уныло повисли их локоны, смялись воланы платьев. Пожилые дамы, поднявшись с диванов, где торжественно восседали, заметили, что праздник длится уже двенадцать часов, пора, мол, и честь знать.

Прекрасный бал на том бы и кончился, если бы сам Лильекруна не взялся за скрипку и не заиграл последнюю польку. Лошади ждали у ворот, пожилые дамы облачились в шубы и капоры, пожилые господа завязывали дорожные пояса и натягивали ботфорты.

Но молодежь никак не могла оторваться от танцев. Польку танцевали уже одетые, в верхнем платье, танцевали вчетвером, танцевали и вместе, вкруговую, танцевали как безумные. Стоило какой-нибудь даме остаться без кавалера, как тут же являлся новый и увлекал ее за собой.

И даже опечаленный Йёста Берлинг был вовлечен в круговертъ этого танца. Ему хотелось рассеяться, развеять в танце свои печаль и унижения, хотелось, чтобы пламенная жажда жизни вновь закипела в крови, хотелось быть таким же веселым, как остальные. И он танцевал так, что стены зала у него ходили ходуном перед глазами, а мысли путались.

Что это за дама, которую он увлек за собой из толпы? Она была легка и гибка, как хлыстик, и он почувствовал, что огненные токи пробегают между ними. Ах, это же Марианна!

Пока Йёста танцевал с Марианной, Синтрам уже уселся в сани внизу во дворе, а рядом с ним стоял Мельхиор Синклер.

Могущественный заводчик, вынужденный ожидать Марианну, испытывал нетерпение. Он топтал снег своими огромными ботфортами и размахивал руками, чтобы согреться, так как стоял трескучий мороз.

– Слушай, а тебе, брат Синклер, может, не стоило проигрывать Марианну Йёсте? – спросил Синтрам.

– Что ты сказал?

Синтрам, взяв в руки вожжи, замахнулся кнутом, а потом ответил:

– Поцелуй эти вовсе не входили в живые картины.

Могущественный заводчик поднял было руку, чтобы нанести смертельный удар, но Синтрам уже рванулся с места. Он мчался, кнутом заставляя лошадь нестись бешеным галопом и не смея оглядываться назад, ведь рука у Мельхиора Синклера была тяжелая, а терпение – короткое.

Заводчик из Бьёрне вернулся в танцевальный зал – отыскать свою дочь – и увидел, как Йёста танцует с Марианной.

Казалось, молодежь танцевала последнюю польку в каком-то безумном исступлении. Одни были бледны, у других лица пылали как огонь; пыль стояла в зале столбом, чуть мерцали восковые свечи, догоревшие до самых подсвечников. А посреди всего этого страшного призрачного столпотворения в парящем полете танцевали Йёста и Марианна, царственно величавы, неутомимы и сильны, безупречны в своей красоте и такие счастливые оттого, что всецело предаются дивному танцу.

Однако же, поглядев на них некоторое время, Мельхиор Синклер вышел из зала, предоставив Марианне продолжать танец. Сильно хлопнув дверью, он, страшно топая, спустился вниз по лестнице и уселся безо всяких церемоний в сани, где его уже ждала жена, и тут же уехал домой.

Когда Марианна кончила танцевать и спросила, где ее родители, их уже не было.

Узнав, что они уехали, она и виду не подала, что удивлена. Тихонько одевшись, она вышла во двор. Дамы, переодевавшиеся в театральной уборной, решили, что она уехала в собственных санях.

Она же поспешила выйти на дорогу в своих тонких шелковых башмачках, никому ни слова не сказав о постигшей ее беде. В темноте никто не узнавал ее, когда она шла вдоль обочины, никому и в голову не могло прийти, что эта поздняя странница, которую пронесившиеся мимо сани загоняли в высокие сугробы, была прекрасная Марианна.

Когда ей показалось, что она может, чувствуя себя в безопасности, передвигаться посреди дороги, она побежала. Она бежала, пока не выбилась из сил, потом шла, потом снова бежала. Ужасный, мучительный страх гнал ее вперед.

От Экебю до Бьёрне, пожалуй, самое большее – четверть мили пути. Марианна вскоре была уже дома, но ей показалось, будто она заблудилась. Когда она добралась до усадьбы, все

двери были заперты, все свечи погашены. Она удивилась, подумав, что, быть может, родители ее еще не приехали.

Она подошла к входной двери и несколько раз громко постучалась. Потом, схватившись за ручку, стала трясти двери так, что грохот раздался по всему дому. Но никто не вышел отворить ей дверь; когда же она захотела отпустить железную ручку, за которую схватилась голыми ладонями, примерзшая к железу кожа слезла у нее с рук.

Могущественный заводчик Мельхиор Синклер приехал домой, чтобы закрыть двери поместья Бьёрне для своей единственной дочери.

Он захмелел от выпитого в тот вечер вина, обезумел от гнева. Он возненавидел дочь за то, что ей пришлось по душе Йёста Берлинг. И вот он запер слуг в поварне, а жену в спальне. Извергая страшные проклятия, он обещал им, что уничтожит того, кто только попытается впустить в дом Марианну. И домочадцы хорошо знали, что он сдержит свое слово.

Еще никто никогда не видел его в таком яростном исступлении. Худшего горя в жизни с ним еще не приключалось. Попадись Марианна в ту минуту ему на глаза, он, быть может, убил бы ее.

Он дал ей золотые украшения, шелковые платья, он все сделал для того, чтобы воспитать в ней тонкий ум и книжную ученость. Она была его гордостью, он преклонялся перед ней так, словно она носила на голове корону. О, его королева, его богиня, обласканная им, прекрасная, гордая Марианна! Разве он жалел хоть что-нибудь для нее? Разве не считал он себя совершенным ничтожеством, недостойным быть ее отцом? О Марианна, Марианна!

Как ему не возненавидеть ее, если она влюбилась в Йёсту Берлинга и целовала его? Как ему не презирать ее, не закрыть перед ней двери своего дома, если она уронила собственное достоинство, полюбив такого человека? Пусть остается в Экебю, пусть бежит к соседям и просит пристанища, пусть спит в снежных сугробах! Она уже обесчещена, смешана с грязью, прекрасная Марианна. Она уже утратила весь свой блеск. Его жизнь тоже утратила весь свой блеск.

Он лежит в кровати и слышит, как она стучит в дверь. Какое ему до того дело? Он спит. А там, за дверью, стучит та, что хочет выйти замуж за лишнего должного и сана пастора. Для такой у него в доме нет приюта! Если бы он меньше любил ее, если бы меньше гордился ею, он, быть может, и позволил бы ей войти.

Да, отказать им в своем благословении он не может. Он проиграл его в карты. Но открыть ей двери дома – нет, этого он не сделает. О Марианна!

Прекрасная молодая девушка по-прежнему стоит у дверей родного дома. То она в сильном гневе трясет крепкую дверь, то падает на колени, ломая свои израненные руки, и просит прощения.

Но никто не слышит ее, никто ей не отвечает, никто не открывает ей двери.

О, разве это не ужасно?! Меня охватывает страх, когда я рассказываю об этом. Ведь она вернулась с бала, королевой которого была. Она была горда, богата, счастлива и в один миг низвергнута в такую бездонную пропасть несчастья. Изгнана из родного дома, брошена на произвол судьбы, на гибель от холода. Никем не оскорблена, не избита, не проклята – просто изгнана из родного дома, изгнана с ледяной непоколебимой бесчувственностью.

Я думаю о звездной морозной ночи, раскинувшей над ней свой свод, о нескончаемой бескрайней ночи с пустынными безлюдными заснеженными полями, с молчаливыми лесами. Все спит, все погружено в невозмутимо спокойный сон, и лишь одна живая точка виднеется в этой спящей снежной белизне. Все горе, весь страх и ужас, обычно поделенные между всеми на свете, сползаются теперь к этой одинокой точке. О боже, как жутко страдать в одиночестве посреди этого спящего, этого обледенелого мира!

Впервые в жизни столкнулась она с бессердечием и жестокостью. Ее мать и не думает встать с кровати, чтобы спасти ее. Старые верные слуги, лелеявшие ее с детства, слышат, как она ломится в дом, но они и пальцем не шевельнут ради нее. За какое преступление несет она

кару? Где же еще ждать ей милости, как не у этой двери? Соверши она даже убийство, она все равно постучалась бы в эти двери, веря, что ее домашние простят ее. Превратись она в самое жалкое из земных созданий и явись сюда изможденная, в лохмотьях, знайте же – она все равно бы уверенно подошла к этой двери, ожидая, что ее примут как желанную гостью, с теплотой и любовью. Ведь эта дверь вела в ее родной дом. За этой дверью ее ждала только любовь.

Разве недостаточно испытаний, которым подверг ее отец? Неужели еще не скоро отворят ей дверь?

– Отец! Отец! – кричала она. – Позволь мне войти в дом! Я замерзаю, я вся дрожу. На дворе ужасно холодно!

– Матушка, матушка, ты ведь так берегла меня, не жалея сил! Сколько ночей ты бодрствовала надо мной, почему же ты спишь сейчас?! Матушка, матушка, попробуй не сомкнуть глаз еще одну-единственную ночь, и я клянусь не причинять тебе больше горя!

Она кричит, впадая время от времени в глубокое молчание, чтобы прислушаться, нет ли ответа на ее слова. Но никто ее не слышит, никто не прислушивается к ней, никто не отвечает.

Тогда она в страхе начинает ломать руки, но глаза ее по-прежнему сухи.

О, каким ужасным кажется ей в ночи молчание этого с виду нежилого, длинного мрачного дома с закрытыми дверями и неосвещенными темными окнами. Что же будет с ней – ведь она осталась без крова! Она заклеяна и опозорена на всю жизнь! Ей остается только ждать, пока над ее головой не разверзнутся небеса. А родной отец собственной рукой прижал каленое железо к ее плечу.

– Отец! – вновь кричит она. – Что со мной будет?! Люди поверят теперь любой дурной молве обо мне!

Она плакала и терзалась, а тело ее заоченело.

Как горько, что такая беда может выпасть на долю человека, еще совсем недавно стоявшего столь высоко. И что так легко можно быть ввергнутым в пропасть отчаянья. Разве не должны мы после этого бояться жизни?! Кто может плыть без страха на своем утлом суденышке? Вокруг, словно бушующее море, бурлят волны горя. Смотрите, изголодавшиеся волны уже лижут борта суденышка, смотрите, они вздымаются, готовые захлестнуть его! О, никакой надежной опоры, никакой твердой почвы под ногами, никакого надежного судна; и насколько хватает глаз, одно лишь неведомое небо над бескрайним океаном горя!

Но тише! Наконец-то, наконец! В передней слышатся чьи-то тихие шаги.

– Это ты, матушка? – спрашивает Марианна.

– Да, дитя мое.

– Можно мне войти?

– Отец не позволяет впустить тебя.

– Я бежала по сугробам в тонких башмачках от самого Экебю. Я целый час колотила в дверь и кричала. Я замерзаю насмерть! Почему вы оставили меня одну в Экебю?

– Дитя мое, дитя мое, зачем ты целовала Йёсту Берлинга?

– Скажи отцу: это вовсе не значит, что я люблю Йёсту! Это было лишь в шутку, на сцене. Неужто он думает, что я хочу выйти за него замуж?

– Иди в усадьбу управителя, Марианна, и проси разрешения переночевать там! Отец пьян и никаких резонов не принимает. Он держал меня наверху заперти – в спальне. Он, кажется, уснул, и я незаметно выбралась оттуда. Он убьет тебя, если ты войдешь в дом.

– Матушка, матушка, неужто мне идти к чужим, когда у меня есть родной дом? Неужто ты, матушка, так же жестока, как и отец? Как можешь ты позволить ему запереть двери? Если ты непустишь меня в дом, я лягу в сугроб.

Тогда мать Марианны взялась за ручку двери, чтобы отворить ее, но в тот же миг на лестнице, ведущей в спальню, послышались тяжелые шаги, и грубый голос позвал ее обратно.

Марианна прислушалась. Матушка поспешно отошла от двери, грубый голос проклинал ее, а потом...

Потом Марианна услышала нечто ужасное. Из замолкшего дома к ней доносился буквально каждый звук.

До нее донесся шум обрушившегося удара, то ли удара палкой, то ли пощечины, затем какой-то слабый шум и снова удар.

Этот страшный человек бил ее мать! Этот огромный, богатырского сложения Мельхиор Синклер бил свою жену!

И в диком ужасе Марианна упала на колени, корчась от страха. Тут она заплакала, и слезы ее превращались в льдинки на пороге родного дома.

«Смилостивитесь надо мной, сжальтесь! Откройте же, откройте двери, чтобы я могла подставить под удары собственную спину! О, как он может бить мою мать, бить за то, что она не хотела наутро увидеть свою дочь мертвой, замерзшей в сугробе?! За то, что она хотела утешить свое дитя?!»

Глубокое унижение пришлось пережить в ту ночь Марианне. Она только что видела себя в мечтах королевой, а сейчас лежала здесь, как ничтожная рабыня, которую отхлестали кнутом.

Но она все же поднялась в неистовом, холодном гневе и, снова ударив окровавленной рукой в дверь, закричала:

– Послушай, что я тебе скажу, тебе, посмевавшему бить мою мать! Ты еще поплачешь, Мельхиор Синклер, еще поплачешь!

Затем прекрасная Марианна пошла и легла в сугроб, чтобы умереть. Она сбросила с себя шубу и осталась в своем черном бархатном платье. Она лежала, думая о том, что наутро отец ее выйдет, по своему обыкновению, на раннюю утреннюю прогулку и найдет ее здесь. Ей хотелось только одного: чтобы он сам нашел ее.

«О смерть, моя бледная подруга! Мне так и не избежать встречи с тобой, хотя в этой истине кроется утешение. Ты явишься даже ко мне – самой ленивой и самой медлительной из всех тружениц на свете, вырвешь мутовку и банку с мукой из моих рук, снимешь с ног моих изношенные кожаные башмаки, снимешь домашнее платье с моего тела. Властно и милосердно уложишь ты меня на украшенное кружевами ложе, обрядишь в шелка, в ниспадающее свободными складками льняное белье. Моим ногам не понадобятся больше башмаки, но на руки мои наденут белоснежные перчатки, которые никогда уже не сможет загрязнить работа. Благословленная тобой на сладостный отдых, я засну тысячелетним сном. О избавительница! Я, самая ленивая и самая медлительная из всех тружениц на свете! И я в сладострастном исступлении мечтаю о той минуте, когда буду принята в твое царство!

Моя бледная подруга! Ты можешь сколько угодно испытывать на мне свою силу. Но скажу тебе: борьба с женщинами минувших лет давалась тебе куда труднее. Великая жизненная сила таилась в их стройных телах, и никакой холод не мог остудить их горячую кровь. О смерть! Ты уложила прекрасную Марианну на свое ложе, и ты сидела с ней рядом, как старая нянька сидит у колыбели, убаюкивая дитя. Ты – верная старая нянька, и ты хорошо знаешь, что надобно дитяти человеческому. Как же тебе не гневаться, когда другие дети, товарищи по играм, с шумом и гамом будят твое уснувшее дитя! Как же тебе не гневаться, если кавалеры подняли прекрасную Марианну с ее ложа и один из них прижал ее к своей груди, а горячие слезы, падавшие из его глаз, оросили ей лицо!».

В Экебю все свечи в бальном зале погасли, все гости разъехались. Наверху же, в кавалерском флигеле, вокруг последней, наполовину осушенной чаши с пуншем собрались одни лишь кавалеры.

Тут Йёста, постучав о край чаши, произнес речь в вашу честь, женщины минувших лет.

– Говорить о вас, – сказал он, – все равно что говорить о райском блаженстве. Все до одной – красавицы, все до одной – светлые как день. Вы были вечно молоды, вечно прекрасны, а ласковы, словно взгляд матери, когда она смотрит на свое дитя. Нежные и мягкие, как бельчата, обнимали вы шею мужей. Голос ваш никогда не дрожал от гнева, ваше чело никогда не бороздили морщинки; ваша нежная ручка никогда не становилась шершавой и грубой. Светлою святыней, гордостью и украшением были вы в храме домашнего очага. Мужчины лежали у ваших ног, курили вам фимиам и возносили молитвы. Любовь к вам творила чудеса, а поэты окружали золотым ореолом ваше чело.

Кавалеры тут же вскочили, хмельные от вина, хмельные от слов Йёсты; от радости кровь закипела у них в жилах. Даже старый дядюшка Эберхард и ленивый кузен Кристофер не устояли и позволили увлечь себя новой затеей. Кавалеры мигом запрягли лошадей в беговые сани и поспешно помчались в морозную ночь, чтобы еще раз отдать дань тем, кого нужно славить неустанно. Чтобы спеть серенаду обладательницам розовых щек и ясных глаз, еще совсем недавно украшавших просторные залы Экебю.

О женщины минувших лет, как, должно быть, вам нравилось, когда вас, пребывавших на небесах сладчайших снов, вдруг пробуждали серенадой верные ваши рыцари! Да, это, должно быть, вам нравилось, как нравится усопшей душе пробуждаться на небесах от звуков сладостной музыки.

Но кавалерам не удалось далеко уйти от дома в этом благоугодном походе, потому что лишь только они подъехали к Бьёрне, как увидели прекрасную Марианну, лежавшую в сугробе у входных дверей ее родного дома.

Увидев ее там, они содрогнулись и вознегодовали. Это было все равно что обнаружить святыню, которой поклонялись, обезображенной и поруганной за порогом храма.

Йёста, потрясая сжатым кулаком, пригрозил погруженному во тьму дому.

– Вы – исчадия ада! – вскричал он. – Вы – ливни с градом, вы – северные бури, вы – оксквернители Божьего райского сада!

Бееренкройц зажег свой роговой фонарь и осветил иссиня-бледное лицо девушки. И кавалеры увидели окровавленные руки Марианны и слезы, превратившиеся в льдинки на ее ресницах. И они начали по-женски причитать; ведь она была для них не только святыней, но и прекрасной женщиной, радостью их старых сердец.

Йёста Берлинг бросился пред ней на колени.

– Она лежит здесь, моя невеста! – сказал он. – Несколько часов назад она подарила мне поцелуй невесты, а ее отец обещал мне свое благословение. Она лежит здесь и ждет, что я приду и разделю с ней ее белоснежное ложе.

И Йёста поднял безжизненное тело сильными руками.

– Скорей домой, в Экебю! – воскликнул он. – Теперь она – моя! Я нашел ее в сугробе, и отныне никто не отнимет ее у меня! Мы не станем будить тех, кто живет в этом доме. Что ей делать за этими дверями, о которые она разбила в кровь свои руки?

Никто ему не мешал. Он положил Марианну на головные сани и сел рядом с ней. Бееренкройц встал на запятки и взял в руки вожжи.

– Набери снега и разотри ее хорошенько, Йёста! – приказал он.

Холод заставил оцепенеть руки и ноги Марианны, но ее обезумевшее от волнения сердце еще билось. Она даже не впала в беспамятство. Она сознавала, что кавалеры нашли ее, но она не могла шевельнуться. И вот она лежала, неподвижная и оцепеневшая, в санях, а Йёста растирал ее снегом, плакал и нежно целовал. И она вдруг почувствовала неистребимое желание хоть немножко приподнять руку, чтобы вернуть ему ласку.

Она помнила абсолютно все. Она лежала в санях, неподвижная и окоченевшая, но голова у нее была такая ясная, как никогда прежде. Влюблена ли она в Йёсту, думала она. Да, влюб-

лена. Не мимолетный ли это каприз, всего на один вечер? Нет, любовь эта длится уже давно, уже много-много лет.

Она сравнивала себя с ним и с другими людьми из Вермланда. Они все были непосредственны, как дети, и поддавались любым своим желаниям. Они жили лишь внешней жизнью, никогда не копаясь в своих переживаниях, в глубинах своей души. Она же стала такой, какой становятся, постоянно вращаясь в свете. Она так и не смогла всецело предаться какому-либо чувству или желанию. Любила ли она, да и вообще, что бы она ни делала, вторая половина ее «я» как бы стояла тут же и взирала на все это с холодной усмешкой на устах. Она тосковала, она мечтала о такой страсти, которая явилась бы и увлекла бы ее за собой, заставив потерять голову. И вот наконец она явилась, дикая, безрассудная страсть.

Когда она целовала на балконе Йёсту Берлинга, она впервые в жизни забыла о самой себе.

И вот ее снова одолела страсть, сердце ее билось так, что она слышала его стук. Неужели она не скоро обретет власть над собой? Она испытывала чувство дикой радости оттого, что ее вытолкнули из дома. Теперь она не задумываясь будет принадлежать Йёсте. Как она была глупа, сколько лет она боролась со своей любовью! О, как чудесно, как чудесно дать волю своим чувствам! Но неужто ей никогда, никогда не избавиться от этих ледяных оков? Раньше лед был у нее в душе, снаружи же пламень, теперь – пламенная душа в оледеневшем теле.

И вдруг Йёста чувствует, как две руки, тихонько поднимаясь, слабо и бессильно обвивают его шею.

Он едва чувствует прикосновение ее рук, но Марианне кажется, что она дала выход затаенной страсти в удушающем объятии.

Однако же когда Бееренкройц увидел всю эту картину, он пустил лошадь бежать, куда ей вздумается, по знакомой дороге. Подняв глаза, он упрямо и неуклонно смотрел в небо на Плеяды.

Глава седьмая

Старые экипажи

Друзья мои, дети человеческие! Если вам доведется, сидя или лежа, читать эту книгу ночью, подобно тому как я пишу ее в эти тихие ночные часы, то вовсе не здесь, не на этой странице вы вздохнете с облегчением. И вовсе не на этой странице вы подумаете, что добрым господам кавалерам из Экебю удалось обрести наконец сон, после того как они вернулись домой вместе с Марианной и предоставили ей удобную постель в самой лучшей комнате для гостей – в большой гостиной.

Спать-то они легли, и заснули. Но им не суждено было в тишине и покое проспать до самого обеда, как это могло бы случиться со мной или с вами, дорогой читатель, если бы мы бодрствовали до четырех часов утра, а наши руки и ноги ломило бы от усталости.

Конечно, не следует забывать, что в те времена по всей округе бродила старая майорша с нищенской сумой и посохом. А когда ей предстояло какое-нибудь важное дело, особенно зимой, ей ничего не стоило нарушить покой каких-нибудь утомившихся грешников. А в эту ночь она тем более не собиралась тревожиться о чем-нибудь покое, потому что этой ночью она задумала выгнать кавалеров из Экебю.

Минуло то время, когда она в блеске и великолепии восседала в Экебю, сея радость на земле, подобно тому как сеет Бог звезды на небе. И пока она, бездомная, странствовала по округе, могущество и честь ее огромного поместья были отданы в руки кавалеров. Отданы для того, чтобы они пеклись о нем. Они и пеклись об Экебю, подобно тому как ветер печется о золе, а весеннее солнце – о снежных сугробах.

Порой кавалерам случалось выезжать по шесть или по восемь человек в длинных санях с упряжкой, бубенцами и плетеными вожжами. И если по пути им встречалась майорша, бродившая с нищенской сумой, то глаз пред ней они не опускали.

Лишь сжатые кулаки протягивала к ней вся эта шумная орава. Резкий рывок саней – и она вынуждена была сворачивать в сугробы у обочины. А майор Фукс, гроза медведей, всегда умудрялся трижды сплюнуть, чтобы отвести зло, какое могла причинить встреча с этой старухой.

Они не испытывали к ней ни малейшего сострадания.

Завидев ее на дороге, они чувствовали лишь омерзение, словно им повстречалась троллиха. Случись с ней беда, они горевали бы ничуть не больше, чем тот, кто, стреляя пасхальным вечером из ружья, заряженного латунными крючками, горюет о том, что случайно угодил в пролетающую мимо ведьму. Для несчастных кавалеров преследовать майоршу было святым делом. Если люди дрожат от страха за свои души, они часто бывают беспощадны и жестоко мучают друг друга.

Когда кавалеры, далеко за полночь, нетвердо держась на ногах, прямо от праздничных столов подходили к окнам, чтобы посмотреть, спокойна ли, звездна ли ночь, они часто замечали темную тень, скользившую по двору. И понимали, что это майорша пришла поглядеть на свой любимый дом. Тогда кавалерский флигель сотрясался от презрительного хохота старых грешников, а сквозь открытые окна к ней вниз доносились бранные слова.

По правде говоря, бесчувственность и высокомерие уже начали прочно овладевать сердцами нищих искателей приключений. Ненависть же взрастил в них Синтрам. Если бы майорша по-прежнему жила в Экебю, души их вряд ли были бы в большей опасности, чем теперь. Ведь многие погибают не в битве, а спасаясь бегством.

Майорша не питала лютой злобы к кавалерам.

Будь это в ее власти, она бы высекла их розгами, как непослушных мальчишек, а потом снова одарила бы своей милостью и благоволением.

Однако же теперь ее одолевал страх за любимое поместье, преданное в руки кавалеров, чтобы они радели о нем, подобно тому как волк радуется об овцах, а журавли о весенних посевах.

На свете, верно, немало найдется людей, на долю которых выпадало такое горе. Не одной майорше приходилось видеть, как разрушительная буря пронесется над любимым домом. Не одной ей довелось переживать, глядя, как процветающее поместье приходит в страшный упадок. Отчий дом, где зачастую прошло детство, смотрит на таких изгнанников глазами раненого зверя. И многие чувствуют себя злодеями, видя, как лишайники губят деревья, а песчаные дорожки густо порастают травой. Им хочется пасть на колени пред полями, которые прежде гордились богатыми урожаями, и умолять не упрекать их за этот позор. И отворачиваются от несчастных старых лошадей. Пусть более храбрый встречается с ними взглядом! Они не смеют стоять у калитки, глядя, как возвращается с пастбища скот. Самое страшное на свете – пришедший в упадок дом, самое же невыносимое – это войти в него.

О, умоляю вас всех, кто печется о полях и лугах, разбивает парки и приносящие людям радость цветники, – заботьтесь о них хорошенько! Заботьтесь о них хорошенько, не жалея на них ни любви, ни труда! Скверно, если природа скорбит о делах человека!

Когда я думаю о том, что пришлось выстрадать гордому поместью Экебю под владычеством кавалеров, мне хочется, чтобы покушение майорши достигло цели и чтобы поместье у них отобрали.

Майорша вовсе и не помышляла вновь завладеть Экебю.

У нее была одна мысль: освободить свой дом от этих безумцев, этой саранчи, этих одичалых разбойников с их неистовым буйством, после которого даже трава не росла.

Бродя по округе с нищенской сумой и живя подаянием, она непрестанно думала о своей матери. И сердце ее постоянно жгла мысль о том, что нет для нее спасения, пока мать не снимет с ее плеч тяжкое бремя проклятия.

Никто еще не известил ее о смерти старухи; стало быть, мать ее по-прежнему живет на лесном хуторе Эльвдалена. Девяностолетняя женщина, она по-прежнему неустанно трудится: летом ходит с подойниками, зимой – хлопочет в угольных ямах. Трудится, не покладая рук и мечтая о том дне, когда выполнит наконец свое жизненное предназначение.

Майорша думала, что старуха так зажила на свете для того, чтобы успеть снять проклятие, тяготевшее над дочерью. Нельзя до времени умереть матери, накликавшей такую беду на свое дитя.

И майорша надумала сходить к старухе, чтобы обе они обрели покой. Она надумала подняться в горы, на север, и пройти по темным лесам вдоль длинной реки в дом, где прошло ее детство. Ведь иначе она не могла обрести ни отдыха, ни покоя. Немало было в округе людей, предлагавших ей в те дни теплый кров и дары верной дружбы, но она нигде не задерживалась.

Угрюмая и разгневанная, она неустанно переходила из одной усадьбы в другую, потому что над ней довлело проклятие.

Ей нужно было подняться в горы, на север, к матери, но прежде ей хотелось позаботиться о любимом поместье. Не хотелось ей уходить, оставив Экебю в руках бездумных расточителей, никчемных пьяниц, сумасбродных расхитителей даров Божьих, уйти, чтобы, вернувшись, застать все свое имение расхищенным, молоты в кузнице умолкшими, лошадей истощенными, слуг рассеянными по свету!

О нет, она еще раз поднимется во всей своей силе и выгонит кавалеров!

Она прекрасно понимала, что муж с радостью смотрит на то, как расточается ее наследство. Но она достаточно знала его: выгони она из поместья всю эту саранчу, он не станет заводить новую. Слишком он ленив для этого. Только бы изгнать кавалеров, и тогда ее старый управитель с приказчиком поведут хозяйство в Экебю по старой, проторенной дорожке.

Вот почему ее мрачная тень много ночей подряд скользила вдоль закопченных стен завода. Она тайком пробиралась в лачуги торпарей, шепталась с мельником и его подручными в нижней каморе большой мельницы, держала совет с кузнецами в темной угольне.

И все они поклялись ей помочь. Честь и могущество огромного завода нельзя было долее оставлять в руках беспечных кавалеров, чтобы они пеклись о них так, как ветер печется о золе, а волк – об овечьем стаде.

В эту ночь, когда веселые господа вдоволь натапцуются, наиграются в разные игры и напоятся, а после, смертельно усталые, погружаются в сон, – в эту ночь им придется покинуть Экебю. Она дала им покуражиться, этим беспечным мотылькам. Она угрюмо, не двигаясь сидела в кузнице, ожидая, когда кончится бал. Она ждала еще дольше, когда кавалеры вернутся из своей ночной поездки. Она сидела в молчаливом ожидании до тех пор, пока ей не принесли весть о том, что последний огонек свечи в окнах кавалерского флигеля погас и что все огромное поместье спит. Тогда она встала и вышла из кузницы.

Майорша велела, чтобы все люди с завода собрались у кавалерского флигеля. Сама же поднялась в свое поместье. Подойдя к жилому дому, она постучалась, и ее впустили. Юная дочь пастора из Брубю, из которой она воспитала хорошую служанку, встретила ее на пороге.

– Добро пожаловать, госпожа, – сердечно приветствовала ее служанка, целуя руку хозяйки.

– Погаси свечу! – приказала майорша. – Неужто ты думаешь, что я не могу обойтись в этом доме без света?

И она начала обход своего молчаливого дома. Прощаясь с ним, она обошла его от погреба до чердака. Крадучись, переходила она из комнаты в комнату, а служанка покорно следовала за ней.

Майорша беседовала со своими воспоминаниями. Служанка не вздыхала и не всхлипывала, но слезы неудержимо капали у нее из глаз. Майорша приказала открыть шкафы с бельем и шкафы с серебром. Она гладила тонкие камчатные скатерти и великолепные серебряные кувшины. Ласково перетрогала она огромную гору пуховых перин в чулане. Ей надо было коснуться всех инструментов и всех снастей, ткацких станков, мотальных машин и ручных прялок. Она проверила ларь, где хранились пряные корни, и, сунув туда руку, ощупала целые ряды тонких сальных свечей, подвешенных на железной проволоке к крышке.

– Свечи уже высохли, – сказала она. – Их можно снять и положить на место.

Внизу в погребе она осторожно приоткрывала бочки с пивом и гладила со всех сторон шеренги винных бутылок.

Она побывала в кладовой и на кухне, все проверила, все перетрогала. Протягивая руку ко всем вещам, она прощалась со своим домом.

Потом она пошла в жилые комнаты. В столовой она погладила столешницу огромного раздвижного стола.

– Многие наедались досыта за этим столом! – сказала она.

И пошла по всей анфиладе комнат. Она увидела, что длинные широкие диваны по-прежнему стоят на своих местах. Она клала руку на прохладные плиты мраморных столиков, поддерживаемые позолоченными ножками в виде грифонов; они, в свою очередь, подпирали зеркала с рельефами на рамах, изображающими танцующих богинь.

– Богатый дом! – произнесла она. – А что за чудо был человек, подаривший мне все это!

В зале, где совсем недавно еще кружились в вихре танца гости и кавалеры, были уже расставлены вдоль стен застывшие в чинном порядке кресла.

Она подошла к клавибордам и совсем тихо потрогала клавиши.

– И при мне здесь немало радовались и веселились! – сказала она.

Майорша зашла также в комнату для гостей рядом с залом.

Там было темно, хоть глаз выколи. Майорша ощупью ходила по комнате и внезапно коснулась рукой лица служанки.

– Ты плачешь? – спросила она, потому что почувствовала, как рука ее омочилась слезами.

Тут девушка разрыдалась.

– Госпожа! – воскликнула она. – Моя госпожа, они здесь все разорят! Зачем вы, госпожа, уходите от нас и позволяете кавалерам разорять ваш дом!?

Тогда майорша, дернув за шнур шторы и указав служанке на двор, воскликнула:

– Неужто это я научила тебя плакать и причитать?! Смотри! Двор полон людей, завтра в Экебю не останется ни одного кавалера!

– И тогда вы снова вернетесь, госпожа? – спросила служанка.

– Мое время еще не настало, – ответила майорша. – Проселочная дорога – мой дом, а сноп соломы – постель! Но пока меня нет, ты должна сберечь для меня Экебю, девочка.

И они пошли дальше. Ни одна из них не знала, да и думать не думала, что именно в этой комнате спала Марианна.

Правда, она вовсе не спала. Сна у нее уже ни в одном глазу не было, она слышала все и все поняла.

Лежа в гостевой комнате, она слагала гимн в честь любви.

– О ты, дивная, возвысившая меня над самой собой! – говорила она. – Я была низвергнута в бездну несчастья, ты же превратила эту бездну в рай. Мои руки примерзали к железной ручке запертых входных дверей, они были ободраны в кровь, мои слезы, замерзнув и превратившись в ледяные жемчужинки, остались на пороге родного дома. Ледяной холод гнева сковал мое сердце, когда я услышала, как удары палки обрушиваются на спину моей матери. В холодном сугробе хотела я заставить уснуть вечным сном мой гнев, но ты явилась! О любовь, дитя пламени, ты явилась ко мне, замерзавшей на лютом морозе. Когда я сравниваю мое несчастье с тем блаженством, которое обрела благодаря тебе, несчастье мое представляется совершенно ничтожным. Я освобождена от всех уз – у меня нет ни отца, ни матери, ни дома. Люди поверят любой дурной молве обо мне и отвернутся от меня. Ну и пусть, ведь так захотелось тебе, о любовь; ведь я не должна быть выше моего любимого. Рука об руку пойдем мы с ним по жизни. Бедна невеста Йёсты Берлинга – он нашел ее в снежном сугробе. Так позвольте же нам жить вместе не в высоких чертогах, а в торпарской лачуге на опушке леса! Я буду помогать тебе стеречь угольню, костер, где жгут уголь, ставить капканы на глухарей и зайцев. Я буду варить тебе еду и латать твою одежду. О мой любимый, как мне будет скучно, как я буду тосковать, сидя в ожидании тебя, в полном одиночестве, на опушке леса. Веришь ли ты мне? Да, я буду тосковать, буду, но не о прошлых днях в богатстве и неге, а только о тебе. Только тебя буду я высматривать вдаль и о тебе мечтать, о звуках твоих шагов на лесной тропинке, о твоей веселой песне, которую ты будешь петь, возвращаясь домой, с топором на плече. О мой любимый, мой любимый! Всю жизнь могла бы я просидеть в ожидании тебя!

Так лежала она, слагая гимн в честь всемогущей богини сердца и не смыкая глаз, как вдруг в комнату вошла майорша.

Когда же она удалилась, Марианна встала и оделась. Еще раз пришлось ей надеть свой черный бархатный наряд и тонкие бальные башмачки. Завернувшись в одеяло, как в шаль, она поспешила еще раз выйти в эту ужасную ночь.

Февральская ночь – спокойная, звездная и пронизывающе холодная – еще висела над землей. Казалось, ей никогда не будет конца. А мрак и холод, рассеянные по земле этой долгой ночью, еще долго-долго не исчезнут даже тогда, когда взойдет солнце. Они не исчезнут долго-долго после того, как растают снежные сугробы, по которым брела прекрасная Марианна.

Марианна поспешила уйти из Экебю, чтобы позвать на помощь. Она не могла допустить, чтобы изгнали людей, которые подняли ее из сугроба и открыли ей свои сердца и свой дом.

Она хотела спуститься вниз, в Шё, к майору Самселиусу. Она очень торопилась. Только через час она сможет вернуться обратно.

Простившись со своим домом, майорша вышла во двор, где ее ждали; и битва за кавалерский флигель началась.

Майорша расставляет людей вокруг высокого узкого дома, верхний этаж которого и есть пресловутый прославленный дом кавалеров. Там, в большой верхней горнице с оштукатуренными стенами, красными сундуками и большим раздвижным столом, где карты еще валяются в луже пролитого вина, где широкие кровати прикрыты пологам в желтую клетку, – там спят кавалеры. Ах, до чего же недалёковидны эти кавалеры!

А в конюшне перед полными кормушками спят кони кавалеров, и им снятся походы в дни их молодости. Как сладостно, если на покое снятся безумные подвиги молодости, поездки на ярмарку, когда приходилось выстаивать под открытым небом днями и ночами. Если снятся бешеные скачки наперегонки после рождественской заутрени. Или пробные пробеги перед тем, как обменяться лошадьми, когда захмелевшие хозяева с вожжами, готовыми обрушиться на спины животных, перегнувшись с облучка и осыпая их проклятиями, кричат им прямо в уши. О как сладостны эти сны! Тем более если знаешь, что уже никогда больше не покинешь теплые стойла конюшни и полные корма ясли в Экебю. О, до чего же беспечны эти кони!

В жутком и унылом старом каретном сарае, куда обычно свозили сломанные, разбитые экипажи и отслужившие свой век сани, собрано диковинное скопище старых колымаг. Здесь и выкрашенные в зеленый цвет телеги, и разные повозки – желтые и красные. Здесь и самый первый кабриолет, какой только видели в Вермланде, – военный трофей, захваченный Бее-ренкройцем в 1814 году. Здесь и всякие мыслимые и немыслимые одноколки, коляски на качающихся рессорах и почтовые таратайки, похожие на причудливые орудия пытки с сиденьем, покоящимся на деревянных рессорах. Здесь и все эти нелепые рыдваны в виде жаровни для кофе, и всевозможные кареты, напоминающие серых куропаток, воспетые еще в эпоху проселочных дорог. Здесь и длинные сани, вмещающие двенадцать кавалеров, и сани с кибиткою, принадлежавшие зябкому кузену Кристоферу. И фамильные сани Эрнеклу с побитой молью медвежьей шкурой и полустертым гербом на спинке, а также беговые сани, бесчисленное множество беговых саней.

Почти все они принадлежат кавалерам, которые жили и умерли в Экебю. Имена их забыты на этом свете и не занимают больше места в сердцах людских. Но майорша спрятала в сарае экипажи и сани, в которых кавалеры прибыли в ее поместье. Все они собраны в старом каретном сарае.

Там они стоят и дремлют, а на них густым-прегустым покровом лежит пыль. Гвозди и заклепки уже не держатся в трухлявом прогнившем дереве, длинными хлопьями отваливается краска, из дыр в побитых молью подушках и сиденьях торчит набивка.

– Дайте нам покой, дайте нам развалиться наконец! – просят старые экипажи. – Мы долго тряслись по дорогам, немало впитали в себя влаги под проливными дождями. Дайте нам отдохнуть! Давным-давно миновали времена, когда мы вывозили наших молодых господ на их первый бал. Давным-давно мы, заново выкрашенные и сияющие, выезжали на санную прогулку навстречу увлекательным приключениям. Давным-давно возили мы наших веселых героев по размокшим весенним дорогам, на юг, к полям Троснесе. Большинство из них спит вечным сном, последние и самые лучшие из них намерены никогда больше не покидать Экебю.

И вот трескается кожа на фартуках экипажей, расшатываются зубчатые ободья, гниют спицы и втулки колес. Старые экипажи не хотят больше жить, они жаждут умереть.

Словно в плащаницу одевает их пыль, и под ее покровом они, не противясь, позволяют старости одерживать над ними верх. Одолеваемые неукротимой ленью, стоят они там, все больше и больше приходя в упадок. Никто не дотрагивается до них, и все же они рассыпаются на куски. Один раз в году двери сарая открываются, если прибывает новый сотоварищ, кото-

рый всерьез собирается обосноваться в Экебю. Но как только двери за ним закрываются, усталость, сонливость, упадничество, старческая слабость наваливаются также и на новый экипаж. Крысы и жучки, моль и могильный червь, и как там их еще называют, – словом, все на свете хищники набрасываются на него, и он также начинает ржаветь и гнить в сладостном, лишенном сновидений покое.

Однако же сегодня, в эту февральскую ночь, майорша велит отворить двери каретного сарая.

И при свете фонарей и факелов велит отыскать и выкатить из сарая экипажи, принадлежащие ныне живущим в Экебю кавалерам: старый кабриолет Бееренкройца, и украшенные гербом фамильные сани Эрнеклу, и сани с узенькой кибиткой, защищавшей от холода кузена Кристофера.

Майорше нет дела, зимние ли это сани или летний экипаж, она внимательно следит лишь за тем, чтобы каждому досталось то, что ему принадлежит.

А в конюшне меж тем уже будят их, всех старых кавалерских лошадей, которые совсем недавно, стоя перед полными корма яслями, видели свои сны.

Сны ваши сбудутся, станут явью, о вы, беспечные кони!

Вы вновь изведаете крутые склоны холмов, и затхлое сено в конюшнях постоянных дворов, и усеянный шипами хлыст захмелевших барышников. И бешеные скачки наперегонки по гладкому льду, такому скользкому, что вы начнете дрожать, еще не ступив на него ногой.

Теперь, когда низкорослых серых лошадемок, которых презрительно кличут «норвежцы», запрягают в высокую, похожую на страшное привидение коляску, или же длинноногих, мосластых верховых лошадей – в низкие беговые сани, все эти старые экипажи вновь принимают свой прежний, истинный облик. Старые одры скалятся и фыркают, когда в их беззубые рты вкладывают удила, старые же экипажи скрипят и трещат. Жалкие, одряхлевшие одры, которым нужно было бы коротать свои дни во сне и в покое до скончания века, выставляются на всеобщее обозрение. Окостеневшие поджилки на задних ногах, хромящие передние ноги, лошадиные болезни – шпат и сап, – все извлекается на свет божий. Конюхи все же умудряются впрячь этих лошадей в экипажи. А потом подходят к майорше и спрашивают, на чем поедет Йёста Берлинг, ведь каждому известно, что он явился в Экебю вместе с майоршей, в санях с плетеными корзинками для возки угля.

– Запрягите Дон Жуана в наши лучшие беговые сани, – велит майорша, – и постелите ему медвежью шкуру с серебряными когтями!

Когда же один из конюхов начинает роптать, она продолжает:

– Запомни: в моей конюшне нет ни единой самой лучшей лошади, которую я не отдала бы за то, чтобы избавиться от этого малого!

Теперь уже все экипажи разбужены, точно так же как и лошади, однако кавалеры по-прежнему спят.

Теперь настает и их черед; но вытащить кавалеров из постелей и вывести в зимнюю ночь куда труднее, чем вывести из конюшни лошадей с одеревенелыми ногами, а из каретного сарая – расшатанные старые экипажи.

Кавалеры – отважные, сильные, наводящие страх мужи, закаленные в сотнях опасных приключений. Они готовы защищаться не на жизнь, а на смерть. И нелегко будет, вопреки их воле, выгнать их из постелей и усадить в экипажи, которые увезут их отсюда!

Тогда майорша велит поджечь сноп соломы, который стоит так близко от флигеля, что зарево пожара непременно должно осветить горницу, где спят кавалеры.

– Солома моя, и все Экебю – мое! – говорит она.

И когда сноп соломы ярко вспыхивает, она кричит:

– Теперь будите их!

Но кавалеры продолжают спать за крепко запертыми дверями. Тогда толпа под их окнами начинает выкрикивать страшное, внушающее ужас слово:

– Пожар! Пожар!

Тяжелый молот самого знатного из кузнецов обрушивается на входную дверь, но кавалеры продолжают спать.

Твердый снежок разбивает стекло и, влетев в горницу, ударяется о полог кровати, но кавалеры продолжают спать.

Им снится, будто прекрасная девушка бросает им носовой платок, им снятся аплодисменты в зале за опускающимся занавесом, радостный смех и оглушающий шум полуночного праздника.

Чтобы разбудить их, потребовался бы, должно быть, пушечный выстрел в самые их уши или целое море холодной воды.

С утра до поздней ночи они кланялись, танцевали, музицировали, разыгрывали роли и пели. Отяжелевшие от вина, обессилевшие, они спят глубоким, можно сказать мертвым, сном.

В этом благословенном сне – их спасение.

Люди начинают думать, что за этим молчаливым спокойствием таится угроза. А что, если кавалеры уже успели послать за помощью? А что, если они уже пробудились и, стоя у окна или за дверью, держат палец на спусковом крючке, готовые уничтожить первого же, кто к ним войдет?

Эти люди хитры и воинственны; что-то же должна означать эта молчаливая тишина! Кто поверит, что они дадут застать себя врасплох, подобно медведю в берлоге?!

Люди снова и снова вопят: «Пожар!» – но ничего не помогает.

И вот, когда уже все трепещут от страха, майорша сама берет в руки топор и взламывает входную дверь.

Ринувшись вверх по лестнице, она, рванув дверь кавалерского флигеля, кричит:

– Пожар!

Ее голос сразу же находит более действенный отклик в ушах кавалеров, чем шум и крики толпы. Привыкнув повиноваться звукам этого голоса, все двенадцать кавалеров, как один, мигом вскакивают, видят пламя пожара и, схватив одежду, стремглав мчатся вниз по лестнице, во двор.

Но в дверях стоят огромный детина – самый знатный из кузнецов – и два дюжих подручных мельника, и тогда страшное бесчестье обрушивается на кавалеров. По мере того как они спускаются вниз, их хватают, валят на землю и, связав по рукам и ногам, уносят без всяких церемоний в предназначенный для каждого из них экипаж.

Никто не избежал этой участи, все до одного были схвачены. Связали и унесли Бееренк-ройца, этого сурового полковника, точно так же как могучего капитана Кристиана Берга и дядюшку Эберхарда – философа.

Схвачен также самый неодолимый и грозный Йёста Берлинг. Замысел майорши удался. Она оказалась все же сильнее, чем все кавалеры, вместе взятые.

Они являют собой жалкое зрелище, сидя, связанные по рукам и ногам, в старых расшатанных экипажах и санях. Опущенные головы, злобные взгляды, а двор сотрясают проклятия и бешеные взрывы бессильной злобы.

Однако майорша обходит их всех, одного за другим.

– Поклянись, – говорит она, – что никогда больше не вернешься обратно в Экебю.

– Стыдись, ведьма!

– Ты должен поклясться в этом, – настаивает она, – а не то я собственными руками брошу тебя, связанного, обратно в кавалерский флигель и ты сгоришь там. Потому что нынче ночью я сожгу этот флигель дотла. Знай это!

– Ты не посмеешь, майорша!

– Не посмею? Разве Экебю не мое? Ах ты, каналья! Думаешь, я не помню, как ты плевал мне вслед на проселочной дороге? Думаешь, у меня не чесались руки поджечь этот флигель, чтобы вы все сгорели с ним заодно? Разве ты поднял руку в мою защиту, когда меня выгоняли из собственного дома? Нет! Так клянись же!

Майорша стоит такая грозная, хотя, быть может, притворяясь более гневной, чем была на самом деле. И ее окружает целая толпа вооруженных топорами людей! Кавалерам поневоле приходится дать клятву, чтобы предотвратить еще большую беду.

Затем майорша отдает распоряжение вынести из флигеля всю одежду кавалеров, сундуки и велит развязать их. Затем им в руки вкладывают вожжи.

Но на все это потребовалось немало времени, и Марианна уже успела добраться в Шё.

Майор был не из тех, кто поздно встает по утрам. Когда она явилась к нему, он был уже одет. Она встретила его во дворе, куда он как раз вышел кормить завтраком своих медведей.

Немного произнес он в ответ на ее речи и тут же направился в клетки к медведям. Надев на них намордники, он вывел их во двор и поспешил в Экебю.

Марианна следовала за ним на некотором расстоянии. Спотыкаясь от усталости, она вдруг увидела яркое зарево пожара, охватившее весь оком, и испугалась чуть ли не до смерти.

– Что за ужасная ночь! Мужчина избивает жену и оставляет свою дочь замерзать в сугробе у самых дверей родного дома! Неужели теперь эта женщина вместе с домом сожжет своих врагов? Неужели старый майор спустит медведей на своих собственных домочадцев?

Преодолев усталость и поспешно обогнав майора, она помчалась в Экебю.

Намного опередив майора, она благополучно добралась до поместья и проложила себе путь сквозь толпу. Оказавшись лицом к лицу с майоршей, окруженной множеством людей, она закричала изо всех сил:

– Майор! Сюда идет майор с медведями!

Толпа пришла в замешательство, все взгляды искали взгляда майорши.

– Это ты привела его, – сказала она Марианне.

– Бегите! – все отчаяннее кричала девушка. – Ради бога, бегите! Не знаю, что задумал майор, но с ним медведи.

Никто не шевельнулся, все по-прежнему стояли, не сводя глаз с майорши.

– Благодарю вас за помощь, дети мои! – спокойно сказала людям майорша. – Все, что случилось нынче ночью, было устроено так, чтобы никого из вас не притянули к ответу или чтоб вас не постигла иная беда. А теперь расходитесь по домам! Не хочу видеть, как моих людей начнут убивать или же как они сами станут убийцами. А теперь идите!

Люди по-прежнему не шевелились.

Майорша обратилась к Марианне.

– Я знаю, ты любишь, – сказала она, – и творишь безрассудство оттого, что сходишь с ума от любви. Пусть никогда не наступит такой день, когда ты в бессильном отчаянии увидишь, как отдают на разорение твой дом! Пусть всегда повинуются рассудку твой язык и твоя рука, когда гнев начнет переполнять твою душу!

Дорогие дети, уходите же, уходите! – продолжала она, снова обернувшись к народу. – Пусть Господь Бог охранит Экебю, а мне надобно идти к моей матушке. О Марианна, когда ты вновь обретешь разум, когда Экебю будет опустошено, а вся округа начнет задыхаться от нужды, подумай тогда, что ты натворила нынче ночью, и позаботься о людях!

С этими словами она ушла, и все последовали за ней.

Явившись на двор, майор не застал там ни одной живой души, кроме Марианны да длинной вереницы лошадей, запряженных в разные повозки, экипажи и сани. Да, длинной, унылой вереницы, где лошади были под стать экипажам, а экипажи – своим владельцам. Все они были изрядно потрепаны в жизненной борьбе.

Марианна подошла к экипажам и стала развязывать кавалеров.

Она заметила, что они кусают губы и отворачиваются. Никогда еще им не было так стыдно. Никогда еще на их долю не выпадал такой ужасный позор.

– Мне было не лучше, когда несколько часов тому назад я стояла на коленях у порога Бьёрне, – утешала их Марианна.

Я даже не стану, дорогой читатель, рассказывать о том, что происходило дальше этой ночью. Не стану рассказывать, как старые экипажи вновь водворили в каретный сарай, лошадей – в конюшню, а кавалеров – в кавалерский флигель.

На востоке над горами уже занималась утренняя заря, наступал ясный и тихий день. Насколько все же спокойнее светлые, озаренные солнцем дни, чем темные ночи, под сенью которых охотятся крылатые хищники и ухают филины!

Я только хочу сказать, что, когда кавалеры снова вошли во флигель и обнаружили в последней чаше пунша несколько капель, которые и разлили по бокалам, ими внезапно овладел необычайный восторг.

– За здоровье майорши! – воскликнули они.

Бесподобная, несравненная женщина! Что может быть лучше, чем служить ей, боготворить ее?

Разве это не горько, что дьявол захватил власть над нею и что все ее силы уходят лишь на то, чтобы спровадить души кавалеров в ад?

Глава восьмая

Большой медведь с горы Гурлита

Во тьме лесов живут нечестивые звери и птицы; глаза их сверкают жаждой крови, у них страшные челюсти, жуткие блестящие клыки или острые клювы. Их цепкие когти готовы вонзиться в горло жертвы, из которого тотчас же брызнет кровь.

Там живут волки, которые выходят по ночам из своего логова и гонятся за крестьянскими санями. Они гонятся до тех пор, пока крестьянка не будет вынуждена взять на руки маленького ребенка, сидящего у нее на коленях, и бросить его на съедение волкам, чтобы спасти жизнь мужа и свою собственную.

Там живет рысь, которую в народе кличут «омроча», потому что, в лесу по крайней мере, опасно называть ее настоящим именем. Тот, кого угораздило произнести это имя днем, должен к вечеру хорошенько осмотреть двери и оконца в овчарне, а не то рысь непременно явится туда. Она взбирается прямо по стене овчарни, ведь когти у нее очень сильные – можно сказать, стальные. Она проскальзывает в самое узкое оконце и бросается на овец. Омроча повисает на шее одной из них и пьет кровь из овечьих жил. Она убивает и, вонзив когти, терзает и разрывает свои жертвы до тех пор, пока ни одной овцы не останется в живых. Она не прекращает бешеной пляски смерти, пока хоть одна из них подает признаки жизни.

А наутро крестьянин обнаруживает, что рысь задрала всех его овец, потому что там, где свирепствует омроча, не найдешь ни одного живого существа.

Там живет филин, который ухает в сумраке ночи. Стоит его подразнить, как он с шумом и свистом налетит на своих широких крыльях и выклюет тебе глаза. Ведь филин – вовсе не настоящая птица, а нечистая сила, призрак.

И еще там живет самый страшный из всех лесных зверей – медведь, обладающий силой двенадцати дюжих молодцов. А когда он наберет такую силу и становится матерым медведем, его можно сразить лишь серебряной пулей. Есть ли на свете более страшный зверь, наделенный ореолом ужаса, кого может сразить лишь серебряная пуля? Что за тайная, жуткая сила скрыта в этом звере, которому не страшен обыкновенный свинец? Можно ли удивляться тому, что дети не спят часами, дрожа от страха при одной мысли об этом злобном звере, которого охраняют злые духи?

Если встретишься с ним в лесу, с огромным и высоким, словно бродячий скалистый утес, нельзя ни бежать, ни тем более защищаться. Надо лишь броситься на землю и прикинуться мертвым. Многие маленькие дети в мыслях своих уже пережили это. Вот они лежат на земле, а медведь возвышается над ними. Сопя, он катает их лапой по земле, и они ощущают его жаркое дыхание на своем лице. Но они лежат неподвижно до тех пор, пока он не уходит, чтобы выкопать яму и спрятать в ней детей. Тогда они тихонько поднимаются и тайком удирают; сперва медленно, а потом словно вихрь они мчатся прочь.

Но только подумать, только подумать, что было бы, если бы медведь поверил, что они в самом деле мертвые, и укусил бы их разок?! Если бы он был страшно голоден и захотел бы их тут же съесть?! А вдруг медведь увидел бы, что они шевелятся, и погнался бы за ними? О боже!

Страх – всесильный колдун! Он сидит в сумраке леса, напевая в уши людям волшебные песни, от которых леденеют их сердца. Эти песни вселяют немой ужас, омрачающий жизнь и затуманивающий прелестную улыбку окрестных ландшафтов. Природа кажется исполненной злобы, подобно спящей змее. Ей ни в чем нельзя верить. Вот озеро Лёвен, раскинувшееся пред тобой, во всей своей чарующей красе! Но не верь ему! Оно подстерегает добычу: ежегодно берет оно с людей дань утопленниками. Вот лес, манящий тишиной! Но не верь ему! Лес полон кровожадными зверями и птицами, в которых вселились души страшных троллих и жестоких разбойников.

Не верь ручью с прозрачной водой! Мучительные недуги и смерть несет он тем, кто перейдет его вброд после захода солнца. Не верь кукушке, что так весело поет по весне! К осени она превратится в ястреба с хмурыми глазами и грозными когтями! Не верь никому – ни мху, ни вереску, ни утесу! Природа зла, одержима скрытыми от глаз силами, ненавидящими людей. Нет такого места на земле, куда ты можешь надежно, не сомневаясь, ступить ногой. Удивительно еще, что столь слабый род человеческий умудряется избегнуть стольких бедствий.

Страх – всеильный колдун! Сидишь ли ты еще во тьме вермландских лесов и поешь ли волшебные песни? Затуманиваешь ли ты по-прежнему прелестную улыбку окрестных ландшафтов, вселяя немой ужас, омрачающий жизнь, в сердца людей? Уж я-то знаю, как велика власть страха. Ведь это мне положили в колыбель – сталь, а в купель – каленый уголь. Да, я хорошо знаю, что такое страх; я не раз испытала, как его железная рука сжимает мне сердце.

Но не думайте, будто я собираюсь рассказывать что-то вселяющее страх или ужас. Это всего лишь старая история о большом медведе с горы Гурлита. Я расскажу ее, и каждый из вас вправе верить ей или не верить, как любой охотничьей истории.

Берлога большого медведя находится на великолепной горной вершине, которая зовется пик Гурлиты. Непрístupными кручами поднимаются склоны горы Гурлита над верхним Лёвенном.

Корни вывороченной сосны, на которых еще висят густо поросшие мхом кочки, образуют стены и крышу медвежьего жилища, а ветки и валежник, густо запорошенные снегом, надежно защищают берлогу. Там медведь может сладко спать от одного лета до другого. Уж не поэт ли он, не изнеженный ли мечтатель, этот косматый лесной король, этот ослепший на один глаз разбойник? Уж не хочет ли он проспаться все пасмурные ночи и тусклые дни холодной зимы, покуда его не разбудят журчание ручьев и пение птиц? Уж не собирается ли он пролежать там всю зиму, мечтая о горных склонах и пригорках, покрытых краснеющей брусникой, о муравейниках, битком набитых бурями, лакомыми существами, и о белых ягнятах, которые пасутся на поросших зеленой травой откосах? Уж не собирается ли этот счастливчик избежать и зимы жизни – заката дней своих?

В лесу метет, завывая меж сосен, поземка, в лесу рыщут обезумевшие от голода волк и лис. Почему только одному медведю дано проспаться всю зиму в берлоге? Пусть он встанет, пусть узнает, как кусает мороз, как тяжело брести по глубокому снегу! Пусть он поднимется, этот лежебока.

Он так уютно разлегся в берлоге! Спит себе, словно сказочная принцесса. Ее пробудит любовь, а он хочет, чтобы его пробудила весна. Либо солнечный луч, пробивающийся сквозь прутья и согревающий его морду. Либо несколько капель талого снега, просочившихся от сугроба и замочивших его шубу. Но горе тому, кто разбудит его раньше времени!

Если бы хоть кто-нибудь полюбопытствовал, как сам лесной король желает устроить свою жизнь! Только бы не обрушился на него свистящий град пуль, проникший сквозь сухие ветки и впившийся в его шкуру, подобно злым комарам!

Внезапно он слышит крики, шум и выстрелы. Он стряхивает с себя оцепенение и расшвыривает валежник, желая посмотреть, что случилось! Да, трудно придется старому богатырю! Это не весна шумит, грохочет и свистит вокруг его берлоги и не ветер, который опрокидывает на землю ели и поднимает снежную круговерть. Это кавалеры, да – кавалеры из Экебю, давние знакомцы лесного короля.

Он хорошо помнит ту ночь, когда Фукс и Бееренкройц сидели в засаде на скотном дворе крестьянской усадьбы Нюгорд, хозяева которой поджидали его в ту ночь. Только кавалеры вздремнули над бутылкой вина, как медведь перемахнул через устланную дерном крышу. Но они пробудились, когда он, задрвав в хлеве корову, собирался вытащить ее из стойла, и напали

на него, пустив в ход и ружья, и ножи. Медведю удалось спасти свою жизнь, но он лишился и коровы, и одного глаза.

По правде говоря, он и кавалеры – не такие давние знакомцы. Лесной король прекрасно помнит, как они настигли его в другой раз, когда он, его царственная супруга и их детеныши только что удалились на зимний покой в своем старом королевском замке на вершине горы Гурлита. Он прекрасно помнит, как кавалеры неожиданно напали на них. Ясное дело, сам он спасся, расшвыривая в стороны все, что стояло у него на пути. Но от пули, попавшей ему в бедро, он остался хромым на всю жизнь. А когда ночью он вернулся в свои королевские владения, снег был красным от крови его царственной супруги, королевских детенышей же увели на равнину, чтобы вырастить из них слуг и друзей человека.

И вот теперь содрогается земля, сотрясается сугроб, прикрывающий берлогу, а оттуда вырывается он, большой, матерый медведь, старый заклятый враг кавалеров. Берегись, Фукс, гроза медведей; берегись, Бееренкройц, полковник и игрок в килле; берегись и ты, Йёста Берлинг, герой сотен приключений!

Горе вам всем – поэтам, мечтателям, героям любовных историй! Там стоит Йёста Берлинг, положи палец на спусковой крючок, а медведь идет прямо на него. Почему Йёста не стреляет, о чем он думает? Отчего он сразу же не посылает пулю в широкую медвежью грудь? Ведь он стоит на таком расстоянии, откуда легче всего сразить зверя. Остальным охотникам трудно подступиться к нему, чтобы выстрелить в подходящий момент. Может, Йёста думает, что он на параде в честь его лесного величества?

А Йёста, разумеется, стоит, думая о прекрасной Марианне; в эти дни она лежит в Экебю тяжело больная, ужасно простуженная после ночи, проведенной в сугробе.

Он размышляет о ней; ведь и она тоже – жертва проклятой ненависти, нависшей над землей. И его пробирает дрожь при мысли о том, что и сам он вышел на охоту, чтобы травить и убивать зверя.

А между тем прямо на него идет матерый медведь, кривой на один глаз от удара кавалерского ножа и хромой на одну лапу от пули из кавалерского ружья. Сердитый и лохматый, совершенно одинокий с тех пор, как кавалеры убили его подругу и увели детенышей. И Йёста видит его таким, какой он есть на самом деле, – несчастным затравленным зверем, у которого он не хочет отнять жизнь, последнее, что осталось после того, как люди лишили его всего на свете.

«Пусть убивает меня, – решает Йёста, – но я стрелять не буду».

И вот, пока медведь устремляется к нему, он стоит недвижно, как на параде. И когда лесной король оказывается прямо перед ним, он берет ружье на караул и отступает в сторону.

Тогда медведь продолжает свой путь, прекрасно понимая, что не должен терять время. Он вламывается в лес, прокладывая себе путь меж сугробами вышиной в человеческий рост, скатывается с крутых откосов и исчезает. А те, кто стоял со взведенными курками, ожидая выстрела Йёсты, палят ему вслед из ружей.

Но все напрасно! Кольцо облавы прорвано, медведь скрылся. Фукс брюзжит, Бееренкройц проклиная все на свете. Йёста лишь хохочет в ответ.

Как могут они требовать, чтобы человек, столь счастливый, как он, причинил зло хоть одной из созданных Богом тварей?

Итак, большой медведь с горы Гурлита снова спас свою шкуру в этой переделке. Но его раньше времени пробудили от зимней спячки, и скоро крестьяне узнают, чем это чревато. Ни один медведь не умеет с большим проворством разворотить крышу на низеньких, похожих на погреб скотных дворах на летних пастбищах; ни один зверь не может так ловко и хитро выскочить из засады.

Вскоре люди, обитающие на горных склонах над вершинами Лёвена, уже не знали, как справиться с медведем. Они посылали одного гонца за другим к кавалерам, чтобы те пришли в горы и убили медведя.

Весь февраль – день за днем, ночь за ночью – поднимались кавалеры к верховьям Лёвена, чтобы найти медведя, но он постоянно ускользал от них. Уж не научился ли он хитрости у лиса, а расторопности – у волка? Стоит кавалерам устроить засаду в одной усадьбе, как он уже бесчинствует в соседней. Если они преследуют его в лесу, он уже гонится за крестьянином, переправляющимся на другую сторону озера по льду. Это самый дерзкий из разбойников. Он пробирается на чердак и опустошает хозяйкины кувшины с медом, он убивает коня, запряженного в сани, прямо у хозяина на виду.

Но мало-помалу люди начинают понимать, что это за медведь и почему Йёста не смог выстрелить в него. Страшно сказать, ужасно в это поверить, но этот медведь – не простой медведь! Нечего и надеяться сразить его, если ружье не заряжено серебряной пулей. Пуля из серебра и колокольной зеленой меди, отлитая в новолуние на колокольне, да так, чтобы ни одна живая душа – ни пастор, ни пономарь – не знала об этом, такая пуля наверняка убила бы медведя, но добыть такую пулю, верно, не так-то уж легко.

Есть в Экебю человек, которого, должно быть, больше всякого другого сокрушает все это. Человек этот, как вам, вероятно, уже понятно, Андерс Фукс, гроза медведей. Досадуя, что не может сразить матерого медведя с горы Гурлита, он утрачивает и сон, и аппетит. В конце концов и ему становится ясно, что медведя можно сразить только серебряной пулей.

Грозный майор Андерс Фукс вовсе не был красавцем. У него было тяжелое, неуклюжее тело, широкое красное лицо с обрюзгшими щеками и несколько двойных подбородков. Над его толстыми губами топорщились маленькие черные щетинистые усы, а на голове торчали вихры черных, жестких и густых волос. К тому же человек он был молчаливый и великий обжора. Он был не из тех, кого женщины встречают солнечными улыбками и распростертыми объятиями. Да и сам он тоже не бросал на них нежных взглядов. Невозможно даже вообразить, чтобы ему когда-нибудь встретилась женщина, которой он мог бы отдать предпочтение перед другими. Ведь он был так далек от всего, что связано с любовью и мечтаниями!

И вот однажды вечером, в четверг, когда серп луны, как раз в два пальца шириною, красовался на горизонте уже несколько часов после захода солнца, майор Фукс поспешно ушел из Экебю, ни слова не говоря о том, куда направляется. В ягдташе у него было огниво, жаровня и форма для отливки пуль, на спине ружье, и он поднялся к церкви в Бру попытать счастья.

Церковь стоит на восточном берегу узкого пролива между верхним и нижним Лёвеном; чтобы попасть туда, майору Фуксу надо перейти мост Сундсбру.

И вот он спускается вниз, к мосту, погруженный в свои мрачные мысли и не глядя вверх ни на холм, где на фоне ясного вечернего неба резко вырисовываются дома Брубю, ни на гору Гурлита. Залитая потоками закатного солнца, она во всей красе вздымает ввысь свою круглую макушку. Он смотрит только себе под ноги, ломая голову над тем, как бы раздобыть ключ от церкви, да так, чтобы никто об этом не знал.

Когда же он сходит вниз на мост, то слышит вдруг чьи-то крики, такие отчаянные, что ему приходится поднять глаза.

Органистом в церкви Бру был в то время маленький немец Фабер, этакий тщедушный человечек, с ничтожно малым весом и таким же точно достоинством. А пономарем был Ян Ларссон, человек дельный, из крестьян, однако же бедняк, так как пастор из Бру надул его, выманив у него отцовское наследство, целых пятьсот риксдалеров.

Пономарь хотел жениться на сестре органиста, хрупкой юнгфру Фабер, но органист не желал, чтобы она вышла замуж за пономаря, и потому-то эти двое стали недругами. В этот вечер пономарь, повстречавшись с органистом на мосту Сундсбру, буквально бросился на него.

Он схватил органиста за грудки, поднял его на вытянутых руках над перилами моста и, клянусь всеми святыми, торжественно обещал сбросить его вниз, в пролив, если тот не отдаст ему в жены маленькую, хрупкую юнгфру. Но маленький немец, несмотря ни на что, не желал уступить, он бился у него в руках и кричал, неустанно повторяя «нет!», хотя прямо под собой он видел, как внизу бурлит и пенится среди берегов черная борозда открытой воды.

– Нет, нет! – кричал он. – Нет, нет!

И кто знает, может, пономарь в своем бешеном гневе и в самом деле швырнул бы его в черную холодную воду, не подоспей в ту самую минуту к мосту майор Фукс. Испуганный пономарь тут же опустил Фабера на землю и убежал со всех ног.

Маленький Фабер бросился майору на шею, чтобы поблагодарить его за спасение своей жизни, но майор оттолкнул его и сказал, что благодарить не за что. Майор недолюбливал немцев с тех самых пор, когда был на постое в Путбусе на острове Рюген во время войны за Поме- ранию. Никогда в жизни не был он так близок к тому, чтобы умереть с голоду, как в ту пору.

Тогда маленький Фабер решил тотчас же бежать к ленсману Шарлингу и обвинить поно- маря в покушении на его жизнь. Но майор дал ему понять, что делать этого не надо, ведь в этой стране ничего не стоит убить немца.

Тогда маленький немец успокоился и пригласил майора к себе домой отведать свиной колбасы и выпить муммы.

Майор принимает его приглашение, так как полагает, что у органиста наверняка должен быть дома ключ от церкви. Они поднимаются в гору, туда, где стоит церковь Бру, окруженная усадьбами пастора, пономаря и домиком органиста.

– Прошу прощения! Прошу прощения! – говорит маленький Фабер, входя вместе с май- ором в свой дом. – У нас с сестрой сегодня в доме беспорядок. Мы резали петуха.

– Ерунда! – восклицает майор.

Вслед за этим в горнице появляется маленькая хрупкая юнгфру Фабер; она несет мумму в больших глиняных кружках. Теперь уже всем известно, что майор не бросал на женщин нежных взглядов, но на маленькую юнгфру Фабер, такую очаровательную в вышитом фар- тучке и чепце, ему волей-неволей пришлось взглянуть с величайшей благосклонностью. Свет- лые волосы гладко зачесаны, домотканое платьице такое миленькое и ослепительно чистое! Ее маленькие ручки хлопотливы и усердны, а маленькое личико – розовое и пухленькое! И майор не может не думать о том, что, встретить он такую маленькую женщину двадцать пять лет тому назад, он наверняка бы посватался.

Но притом что она такая миленькая, такая розовощекая, такая расторопная, глазки у нее заплаканные. Именно это и внушает майору такие нежные мысли о ней.

Пока мужчины едят и пьют, она все время ходит взад-вперед, то выходя из комнаты, то снова возвращаясь. Один раз она подходит к брату, приседает и спрашивает:

– Как прикажете, братец, поставить коров в хлеву?

– Поставь двенадцать налево, а одиннадцать – направо, вот они и не станут бодаться! – отвечает маленький Фабер.

– Черт побери, неужто у вас, господин Фабер, столько коров? – спрашивает майор.

Но дело в том, что у органиста было всего две коровы, но он называл одну «одиннадцать», а другую «двенадцать». И все это для того, чтобы звучало более солидно, когда он говорил о них.

Хозяин рассказывает майору, что скотный двор перестраивается, поэтому коровы днем бродят где придется, а ночь проводят в деревянном сарае.

Маленькая юнгфру Фабер по-прежнему ходит взад-вперед, то выходя из комнаты, то снова возвращаясь. Она снова подходит к брату, приседает и говорит, что плотник спрашивает, какой высоты должен быть хлев.

– По росту коров! – отвечает органист Фабер. – По росту коров!

Майор Фукс считает, что это очень находчивый ответ.

Тут майор начинает выпрашивать органиста, почему у его сестры такие красные глаза. И узнает, что она непрерывно плачет, так как брат не позволяет ей выйти замуж за бедного пономаря, у которого ничего нет, кроме долгов.

Услыхав об этом, майор Фукс все глубже погружается в свои мысли. Сам того не замечая, он осушает кружку за кружкой и поглощает один кусок колбасы за другим. Маленький Фабер содрогается при виде такой жажды и такого аппетита. Но чем больше майор ест и пьет, тем яснее становится его голова и тем решительнее намерения.

Все тверже также становится его решение сделать что-нибудь для маленькой юнгфру Фабер.

Одновременно он не спускает глаз с большого ключа с изогнутой бородкой, висящего на стенке у двери. Но завладевает он этим ключом лишь тогда, когда маленький Фабер, вынужденный поддержать компанию майору за кружкой муммы, охмелев, роняет голову на стол и начинает громко храпеть. Майор Фукс тут же срывает со стенки ключ, нахлобучивает шапку и спешит прочь. Минуту спустя он уже ощупью поднимается по лестнице на колокольню, освещая ее маленьким роговым фонариком. И вот наконец-то он на колокольне, где над его головой разевают широкие пасти колокола. Там, наверху, он сначала соскребывает лучковым напильником немного зеленой колокольной меди. Но только он собирается вытащить жаровню и форму для отливки пули из ягдташа, как замечает, что ему недостает самого важного: он не взял с собой серебра. А чтобы пуля обрела силу, ее нужно отлить здесь же на колокольне. Нынче ведь все сошлось: сегодня – четверг, вечер, новолуние. Кроме того, никто и не подозревает, что он – здесь. А он, как назло, ничего не может сделать! И он оглашает ночную тишь таким звучным проклятием, что колокола начинают гудеть.

Внезапно снизу, из церкви, слышится какой-то легкий шумок, и ему кажется, что на лестнице раздаются чьи-то шаги. Да, в самом деле, кто-то тяжело ступает по лестнице.

Майора Фукса, стоящего на колокольне и извергающего такие страшные проклятия, что колокола начинают гудеть, охватывает легкая тревога. Он в недоумении: кто бы это мог быть, кто поднимается сюда, быть может, чтобы помочь ему отлить пулю? Шаги все ближе и ближе. Тот, кто идет сюда, намерен, как видно, подняться на самую колокольню.

Майор незаметно скрывается между балками в самой глубине колокольни и, подув на роговой фонарик, гасит его не потому, что ему страшно, а потому, что все сорвется, если кто-нибудь увидит его здесь, наверху. И не успел он спрятаться, как над лестницей появляется чья-то голова.

Майору хорошо знакома эта голова. Она принадлежит пастору-скряге из Брубю. Пастор почти помешался от жадности и взял в привычку прятать свои сокровища в самых невообразимых местах. Сейчас он приносит с собой пачку ассигнаций, которые собирается спрятать на колокольне. Не зная, что за ним наблюдают, он приподнимает одну из половиц, кладет туда деньги и тут же уходит.

Но майор тоже малый не промах; он тотчас приподнимает ту же самую половицу. Ой, сколько денег! Пачки ассигнаций, а между ними – коричневые кожаные мешочки, битком набитые серебряными монетами. Майор берет ровно столько серебра, сколько требуется, чтобы отлить пулю, а к остальному даже не притрагивается.

Когда он снова спускается вниз, ружье у него заряжено серебряной пулей. Он идет, размышляя над тем, какую еще удачу уготовила ему эта ночь. Всякий знает, что самые невероятные чудеса случаются именно ночью в четверг. Для начала он стучится в дверь домика органиста. Подумать только, если б этот каналья медведь знал, что коровы Фабера стоят в жалком дровяном сарае, все равно что под открытым небом!

И вдруг он и вправду видит, как что-то огромное, черное переходит поле и движется прямо к дровяному сараю; должно быть, это медведь!

Он прижимает ружье к щеке и уже готов спустить курок, но тут же останавливается.

Пред ним во мраке встают заплаканные глазки юнгфру Фабер. Ему хочется хоть чуточку помочь ей и пономарю, но ему нелегко отказаться от чести самому сразить большого медведя с горы Гурлита. Позднее он сам говорил, что труднее этого для него ничего на свете не бывало. Но маленькая юнгфру так хрупка и так мила, что он просто обязан что-нибудь сделать для нее.

И вот он отправляется в усадьбу пономаря, будит его, выводит полуодетого во двор и говорит, что пономарь должен застрелить медведя, рыскающего тайком возле дровяного сарая Фабера.

– Если ты убьешь этого медведя, Фабер, верно, выдаст за тебя сестру, – говорит он. – Ведь тогда ты сразу станешь всеми уважаемым человеком. Это не простой медведь, и самые знатные люди страны почли бы за честь сразить его собственной рукой.

И он сам вкладывает в руки пономаря свое ружье, заряженное пулей из серебра и зеленой колокольной меди, отлитой на церковной колокольне в четверг вечером, в тот миг, когда нарождается месяц. Фукс не может совладать с собой, он весь дрожит от зависти, оттого, что кто-то другой, а не он сразит матерого лесного короля, старого медведя с Гурлиты.

Пономарь целится. Господи, помоги! Он целится так, словно намеревается убить не медведя, бредущего по полю, а совсем другого огромного зверя медвежьей породы. Иначе говоря – Большую Медведицу, которая высоко в небесах кружит вокруг Полярной звезды. И вот раздается такой громкий, такой оглушительный выстрел, что его слышно на самой вершине Гурлиты.

Но как и куда бы он ни целился, медведь все равно падает. Так всегда бывает, когда стреляешь серебряной пулей. Если даже целишься в Большую Медведицу, все равно попадешь в медведя.

Со всех близлежащих дворов тотчас сбегаются люди, желая узнать, что случилось. Ведь никогда еще ни один выстрел не гремел с такой страшной силой и не будил такое громкое, многократно повторяющееся, уже было заснувшее эхо. Все восхваляют пономаря до небес, потому что медведь поистине был народным бедствием для всей округи.

Маленький Фабер также выходит из дома. Но майор Фукс жестоко обманут в своих ожиданиях. Перед ними стоит пономарь, покрытый славой; а к тому же еще он спас коров Фабера. Но маленький органист вовсе не кажется растроганным или благодарным. Он не раскрывает пономарю своих объятий и не приветствует его как зятя и как героя.

Майор, возмущенный столь бесчестным поступком, хмурит брови и гневно топает ногой. Он пытается втолковать этому алчному, жестокосердому маленькому человечку, какой подвиг совершил пономарь. Но вдруг начинает заикаться и, не в силах выговорить ни слова, испытывает все большую и большую злобу при мысли о том, что совершенно напрасно уступил честь сразить матерого медведя.

У него совершенно не укладывается в голове, что герой, свершивший такой подвиг, по мнению Фабера, не достоин руки самой гордой невесты на свете.

Пономарь и несколько молодых парней отправляются к точильному камню – точить ножи, для того чтобы освежевать убитого медведя. Другие расходятся по домам и ложатся спать; майор Фукс остается один рядом с мертвым медведем.

Тогда он еще раз идет к церкви, снова вставляет ключ в скважину, взбирается по узкой лестнице и покосившимся ступенькам, будит спящих голубей и снова поднимается на колокольню.

А потом, когда под наблюдением майора свежуют медведя, в его пасти находят пачку ассигнаций в пятьсот риксдалеров. Как они туда попали – непостижимо. Но ведь медведь-то не простой. А поскольку его убил пономарь, всем ясно, что деньги и принадлежат ему.

Когда весть об этом разносится по всей округе, до маленького Фабера тоже наконец доходит, какой доблестный подвиг совершил пономарь. И он заявляет, что будет горд назвать его зятем.

В пятницу вечером, почтив своим присутствием охотничью пирушку в усадьбе пономаря, а затем ужин по случаю помолвки в домике органиста, майор Андерс Фукс возвращается домой. С тяжелым сердцем идет он по дороге. Ни малейшей радости не испытывает он оттого, что его заклятый враг наконец пал. Не утешает его и роскошная медвежья шкура, подаренная ему пономарем.

Кое-кто, может, и подумает: он печалится оттого, что маленькая хрупкая юнгфру будет принадлежать другому. О нет, это его вовсе не печалит. Глубоко волнует его сердце лишь то, что старый одноглазый лесной король пал не от его руки, что не ему было дано сразить серебряной пулей большого медведя.

И вот он поднимается по лестнице в кавалерский флигель, где кавалеры сидят вокруг пылающего очага, и, не говоря ни слова, бросает им медвежью шкуру. Не подумайте, что он тут же рассказывает им о своем благородном поступке. Лишь много-много лет спустя кое-кому удалось выведать у него, как все обстояло на самом деле. Не выдал он и тайника пастора из Брубю. А тот, верно, так никогда и не смог обнаружить пропажу.

Кавалеры разглядывают шкуру.

– Хорош мех! – говорит Бееренкройц. – Нельзя ли полюбопытствовать, как этого молодца угораздило пробудиться от зимней спячки, а может, ты убил его в берлоге?

– Его убили в Бру.

– Да, он не такой огромный, как наш медведь с Гурлиты, – замечает Йёста, – но он был все же прекрасный зверь.

– Нет! Он просто огромный! – рассуждает Кевенхюллер. – Будь он одноглазый, я бы подумал, что ты сразил самого старика. Но ведь у убитого нет ни шрама, да и ничего похожего у глаза, так что это – не наш медведь.

Фукс проклинает себя за глупость, но потом вдруг его лицо озаряется такой улыбкой, что он становится по-настоящему красив. Стало быть, не тот большой медведь пал от выстрела другого человека!

– Господи Боже мой, как Ты милостив ко мне! – говорит он, складывая молитвенно руки.

Глава девятая

Аукцион в Бьёрне

Нам, молодым, часто приходится удивляться рассказам старых людей.

– Неужели во времена вашей блистательной юности вы каждый день танцевали на балах? – допытывались мы. – Неужели вся ваша жизнь была тогда одним сплошным приключением?

– Неужели в те времена все дамы были прекрасны и обходительны, а всякое пиршество кончалось тем, что Йёста Берлинг похищал одну из них?

Тогда почтенные старцы качали головами и начинали рассказывать про жужжание прялок и стук ткацких станков, про хлопоты на поварне, про стук цепов на гумне и взмахи топов в лесу. Но такого рода рассказы продолжались недолго, а потом старики все равно снова садились на своего любимого конька. Вот к парадному входу подают сани, вот кони мчатся во весь опор по мрачным лесам, увозя ватагу веселых молодых людей. Вот они кружатся в вихре танца, да так лихо, что лопаются струны скрипки.

Шум и грохот были постоянными спутниками бешеной погони за приключениями вокруг длинного озера Лёвен. Далеко-далеко доносились отзвуки этой дикой охоты. Лесные деревья, содрогаясь, падали на землю, злые силы, сорвавшись с цепи, вырывались на свободу, опустошая и разоряя округу. Бушевали пожары, неистовствовали водопады, хищники, подгоняемые голодом, рыскали возле усадеб. Копыта восьминогих коней затаптывали в прах тихое счастье. Повсюду, где только шла дикая охота за приключениями, сердца мужчин вспыхивали бешеным пламенем, а побледневшие от ужаса женщины покидали свои дома.

Мы, молодые, сидели, дивясь этим рассказам, примолкшие, охваченные страхом, но все же счастливые. «Какие люди! – думали мы. – Нам таких уже не видать!»

– А люди тех минувших лет никогда не *думали* о том, что творят?

– Ну конечно, дети, думали, – отвечали старики.

– Но не так, как ныне думают молодые, – возражали мы.

Однако же старики не понимали, что мы имели в виду.

А мы, мы думали о всепожирающем самоанализе, об этом удивительном существе, всецело завладевшем нашей душой. Мы думали о нем, об этом духе, с его холодным ледяным взором и длинными крючковатыми пальцами. О том, который гнездится в самом темном уголке души и раздирает на части все наше существо, подобно тому как старые женщины раздирают на лоскутья шелк или шерсть.

На куски раздирают нашу душу длинные, грубые, крючковатые пальцы. До тех пор, пока все наше «я» не превращается в грудку лоскутьев. Наши лучшие чувства, наши самые сокровенные мысли, все, что мы делаем и говорим, исследуется, изучается и раздирается на части. Холодный же ледяной взор духа лишь взирает на это, а губы беззубого рта презрительно улыбаются и шепчут: «Смотри, ведь это же тряпье, одно лишь тряпье».

Однако же нашлась в те далекие времена женщина, отдавшая свою душу во власть такого вот существа с холодным ледяным взором. Там-то этот дух и угнездился. Стоя на страже самых истоков всех ее поступков, презирая и добро и зло, понимая все и не осуждая ничего, исследуя, выискивая, раздирая на части, дух этот беспрерывно парализовал движения ее сердца и силу разума своей презрительной улыбкой.

В душе прекрасной Марианны поселился дух самоанализа. Она чувствовала, как каждый ее шаг, каждое слово сопровождают его ледяные взоры, его презрительные улыбки. Ее жизнь превратилась в сплошное театральное представление, где он был единственным зрителем. Она не была больше человеком, она не страдала, не радовалась, не любила, она играла лишь роль

прекрасной Марианны Синклер. А дух самоанализа, угнездившись в ее душе, разрывая ее на части прилежными пальцами, неотступно следил ледяным взглядом за ее игрой.

Ее душа как бы раздвоилась. Одна половина ее «я», бледная, отталкивающая, презирающая, не отрывая глаз следила за тем, как действует вторая. И никогда этот удивительный дух, раздиравший на части все ее существо, не находил для нее ни единого слова сочувствия или симпатии.

Но где же был он, этот бледный страж самых истоков всех ее поступков, в ту ночь, когда она впервые познала нераздвоенность и полноту жизни? Когда она целовала Йёсту Берлинга на глазах сотен людей? И когда, одержимая мужеством отчаяния и ярости, бросилась в сугроб, чтобы умереть? Тогда холодный ледяной взгляд его был притуплен, а презрительная улыбка парализована, потому что безумная страсть бушевала тогда в ее душе. Шум бешеной погони за приключениями звучал в ее ушах. Только однажды, в ту единственную ужасную ночь, она не ощущала раздвоенности и была цельным человеком.

О ты, дух самоанализа, бог самоуничтожения! В тот миг, когда Марианне с невероятным трудом удалось поднять свои оцепеневшие руки и обхватить ими шею Йёсты, тогда и тебе, подобно старику Бееренкройцу, должно было отвести свой взгляд от земли и устремить его к звездам!

В ту ночь ты утратил свою власть. Ты был мертв – и пока она слагала гимн любви, и пока бежала за майором в Шё; мертв, когда она видела, как красное зарево пожара окрашивает небо над верхушками лесных деревьев.

Смотри, наконец-то они явились, эти всемогущие буревестники, эти всепокрушающие на своем пути грифы страстей. На крыльях огня, с когтями из стали, они вихрем промчались над твоей головой, ты, дух с холодным ледяным взглядом! Вонзив когти в твой затылок, они швырнули тебя в неизведанное. О дух, ты был мертв, ты был сокрушен!

Но они пролетели дальше, эти гордые, эти могучие грифы страстей. Те, кто не ведает холодного расчета, те, чьи пути неисповедимы. И вот тогда из неизведанной бездны вновь восстал непостижимый дух самоанализа и опять поселился в душе прекрасной Марианны.

Весь февраль Марианна пролежала больная. Прибежав к майору в Шё, она заразилась там оспой. Ужасная болезнь со всей своей сокрушительной яростью набросилась на нее, простуженную и изможденную. Смерть уже подстерегала ее, но к концу месяца она все же выздоровела. Однако она была по-прежнему слаба и к тому же сильно обезображена. Никогда больше не называться ей прекрасной Марианной.

Пока же об этом никто не знал, кроме самой Марианны и ее сиделки. Даже кавалеры ничего не подозревали. Комната, превращенная в больничную палату, где царила оспа, была открыта далеко не каждому.

Но когда же власть духа самоанализа бывает всего сильнее, чем в долгие, томительные часы выздоровления?! Дух сидит тогда и смотрит, неотрывно смотрит холодным ледяным взглядом на свою жертву и терзает ее, бесконечно терзает костлявыми, грубыми пальцами. А если взглянуть как следует, то за его спиной сидит еще одно, изжелта-бледное существо, которое также парализует тебя своим ледяным взглядом и презрительной улыбкой. За ним же еще одно и еще... И все они презрительно улыбаются друг другу и всему миру.

И вот пока Марианна лежала больная, вглядываясь в собственную душу широко раскрытыми ледяными глазами всех этих существ, в ней мало-помалу умирали ее прежние чувства.

Она лежала, разыгрывая из себя то больную, то несчастную, то влюбленную, то жаждущую мщения.

Она и была такой на самом деле, но вместе с тем это была всего лишь игра. Все превращалось в игру, казалось призрачным и мнимым под вечно стерегущим ее пристальным взглядом холодных, ледяных глаз. А их, в свою очередь, стерегли стоящие за ними на страже другие глаза, а за ними еще и еще, и так в нескончаемой перспективе.

Все могучие жизненные силы уснули в ней вечным сном. Ее жгучей ненависти и преданной любви хватило всего лишь на одну-единственную ночь, не более того.

Она даже не знала, любит ли она Йёсту Берлинга. Она мечтала увидеть его, чтобы удостовериться, может ли он заставить ее вновь уйти от самой себя. Пока она была во власти болезни, ее мучила только одна-единственная мысль, она беспокоилась лишь о том, чтобы никто не узнал, что она больна. Она не желала видеть своих родителей, не желала примирения с отцом. Она понимала, что он будет раскаиваться, если узнает, как она тяжело больна. Поэтому она распорядилась, чтобы родителям, да и всем остальным, говорили, будто старая болезнь глаз, всегда мучившая ее, когда она появлялась в родных краях, заставляет ее оставаться в комнате с опущенными шторами. Она запретила сиделке рассказывать, как тяжело она больна, запретила кавалерам привозить врача из Карлстада. У нее, конечно, оспа, но в самой легкой форме, и в домашней аптечке Экебю вполне достаточно всяких снадобий, чтобы спасти ее жизнь.

Правда, она никогда не думала, что умрет; она только лежала, ожидая дня, когда выздоровеет, чтобы поехать вместе с Йёстой к пастору и огласить в церкви их помолвку.

Но вот наконец болезнь и лихорадка прошли. К ней снова вернулись разум и хладнокровие. Ей казалось, будто она – единственное разумное существо в этом мире безумцев. Она не испытывала ни ненависти, ни любви. Она понимала отца, она понимала всех людей на свете. А кто понимает, тот не может ненавидеть.

До нее дошли слухи, будто Мельхиор Синклер намерен устроить в Бьёрне аукцион и пустить по ветру все свое состояние. Чтобы после его смерти ей не досталось бы никакого наследства. Говорили, что он собирается как можно основательней разорить свое имение: сначала распродать мебель, домашнюю утварь, всю снасть, затем скот и все прочее имущество, под конец же пустить с молотка само поместье. А все вырученные деньги сунуть в мешок и бросить в самое глубокое место Лёвена. Полное разорение, сумбур и опустошение – вот что достанется ей в наследство. Марианна одобрительно улыбалась, слыша подобные разговоры. Это было в духе ее отца, иначе поступить он не мог.

Ей казалось просто невероятным, что это она слагала гимн в честь великой любви. Что она, как и многие другие, мечтала о лачуге углежого. Теперь же ей представлялось странным, что она вообще когда-нибудь могла о чем-то мечтать.

Она жаждала всего искреннего, обыкновенного. Она устала от этой постоянной игры. Никогда не испытывала она сильного чувства. Едва ли горюя о потере своей красоты, она боялась лишь жалости чужих людей.

О, хотя бы на секунду забыть самое себя! Хотя бы один жест, одно слово, один поступок, которые не были бы плодом осмотрительного и расчетливого ума!

Однажды, когда оспа была уже изгнана из ее комнаты и она, одетая, лежала на диване, она велела позвать Йёсту Берлинга. Ей ответили, что он уехал на аукцион в Бьёрне.

В Бьёрне и вправду происходил большой аукцион. Дом был старинный и богатый. Люди приходили и приезжали издалека, чтобы присутствовать при распродаже.

Все, что было в доме, огромный Мельхиор Синклер нагромоздил в большом зале. Там, сваленные в кучи – от пола до самого потолка, – лежали тысячи самых разнообразных вещей и предметов.

Он сам, подобно духу разрушения в Судный день, обошел весь дом, стаскивая в кучу все, что ему хотелось продать. Общей участи избежала лишь кухонная утварь – закопченные котелки, деревянные стулья, оловянные пивные кружки, медная посуда... Потому что среди этой утвари не было ничего, что напоминало бы о Марианне. Но утварь эта и была единственным в доме, избежавшим гнева Мельхиора Синклера.

Он ворвался в комнату Марианны и учинил там страшный разгром. Там стоял ее кукольный шкафчик, ее полка с книгами, маленький стульчик, который он когда-то велел вырезать для нее, ее диван и кровать – все прочь отсюда!

А потом, переходя из комнаты в комнату, он хватал все, что ему было не по душе, и, сгибаясь под тяжестью объемистой ноши, тащил ее в зал, где должен был состояться аукцион. Он задыхался под тяжестью диванов и мраморных досок от столиков; но он все выдержал. Он громоздил все в страшном беспорядке. Он раскрывал шкафы и вытаскивал оттуда фамильное серебро. Прочь отсюда! Ведь этого серебра касались руки Марианны! Он набирал целые охапки белоснежного дамаста, охапки гладких полотняных скатертей с ажурной строчкой шириной с ладонь – добросовестно исполненное домашнее рукоделие, плоды долголетних трудов – и сваливал все это в одну кучу! Прочь отсюда! Марианна недостойна владеть такими вещами! Он бурей носился по комнатам с грудями фарфора в руках, почти не обращая внимания на то, что дюжинами бьет тарелки. Он хватал настоящие музейные чашки с фамильным гербом. Прочь отсюда! Пусть кто угодно пользуется ими! Он сбросил с чердака целую гору постельного белья, подушек и перин, таких мягких, что в них можно было нырять, как в волнах. Прочь отсюда! На этих простынях, подушках и перинах спала Марианна!

Он бросал яростные взгляды на старинную, столь хорошо знакомую ему мебель. Найдется ли в доме хоть один стул, на котором бы она когда-нибудь не сидела, или диван, которым бы она не пользовалась? Хоть одна картина, которую бы она не созерцала, люстра, которая бы не светила ей, зеркало, которое не запечатлело бы черты ее лица? Мрачно сжимал он кулаки, угрожая этому миру воспоминаний. Охотнее всего он ринулся бы на них, размахивая аукционным молоточком, и сокрушил бы все на мелкие крупички и осколки.

Однако же куда более превосходной мезью казалась ему продажа всего имения с аукциона. Прочь отсюда! Пусть все достается чужим людям. Прочь! Пусть все грязнится в лачугах торпарей, пусть приходит в упадок, отданное на попечение равнодушных чужаков. Разве не знакома ему эта купленная на аукционах мебель с отбитыми углами в крестьянских домишках? Мебель, поруганная, как и его дочь! Прочь отсюда! Пусть эта мебель с разодранной обивкой и стертой позолотой, со сломанными ножками и засаленными столешницами стоит в лачугах и тоскует о своем прежнем доме! Пусть она, подобно пыли, рассеется на все четыре стороны, чтобы ни один глаз не смог ее отыскать, ни одна рука – снова собрать ее воедино!

Когда начался аукцион, Мельхиор Синклер уже громоздил половину зала штабелями сваленной в немыслимом беспорядке домашней утвари.

Зал был перегороден поперек длинным прилавком. За ним стоял аукционщик; ударяя молоточком, он громогласно возвещал, что вещь продана. Там сидели писари и чиновник, ведущий протокол. Там же Мельхиор Синклер распорядился поставить анкерок горячего вина. В другой половине зала, в прихожей и на дворе толпились покупатели. Собралось много народу, было очень шумно и весело. Возгласы аукционщика слышались все чаще и чаще; аукцион становился все оживленнее. Рядом с анкерком горячего вина восседал со всем своим имуществом, сваленным в невероятнейшем беспорядке за его спиной, полупьяный и наполовину обезумевший Мельхиор Синклер. Его красное лицо обрамляли стоявшие дыбом жесткие ключья волос, налитые кровью глаза грозно вращались в орбитах. И каждого, предлагавшего хорошую цену, он подзывал к себе и подносил стаканчик вина.

Среди тех, кто видел его, был и Йёста Берлинг, замешавшийся тайком в толпу покупателей, но избегавший попадаться на глаза Мельхиору Синклеру. То, что он увидел, заставило его задуматься; сердце его тревожно сжалось, словно от предчувствия беды.

Его очень беспокоило, где посреди всего этого ужаса скрывается мать Марианны. Упорно желая найти ее, подгоняемый волей судьбы, он отправился на поиски фру Густавы Синклер.

Ему пришлось отворить множество дверей, прежде чем он нашел ее. У огромного заводчика терпение было коротким, а желание выслушивать женские причитания да сетования и

того меньше. Ему надоело видеть, как жена льет слезы о судьбе, уготовленной сокровищам ее дома. Как она может оплакивать постельное белье, подушки и перины, когда то, что дороже всего, – его красавица-дочь – погибло навеки! И он, в дикой ярости сжав кулаки, погнал жену по всем комнатам в кухню, а оттуда в чулан. Бежать дальше было некуда, и он удовлетворился тем, что увидел, как она, вся сжавшись, сидит на корточках в этой клетке за лестницей, ожидая жестоких побоев, а быть может, и смерти. Он оставил ее там, но дверь запер; ключ же сунул себе в карман. Пусть сидит, пока не кончится аукцион. С голоду она там не умрет, а уши его отдохнут от ее сетований.

Она еще сидела взаперти в собственной кладовой, когда Йёста, проходя по коридору между кухней и залом, увидел в маленьком оконце почти под самым потолком лицо фру Густавы. Взобравшись на лесенку, она выглядывала из своей темницы.

– Что вы там делаете, тетушка Густава? – спросил Йёста.

– Он запер меня, – прошептала она.

– Кто вас запер? Господин заводчик?

– Да, я думала, он убьет меня. Послушай-ка, Йёста, возьми ключ от зала, пройди через кухню и отвори дверь чулана, чтобы я могла выйти отсюда. Тот ключ подходит к двери кладовой.

Йёста послушался, и через несколько минут маленькая женщина уже стояла в кухне, где, кроме них, не было ни души.

– Вы бы, тетушка, велели одной из служанок отпереть вам дверь ключом от зала, – упрекнул хозяйку Йёста.

– Неужто ты думаешь, я стану учить их подобным уловкам?! Тогда никакую снедь из этой кладовки в покое не оставят! Да и вообще, я пока что прибрала там, на верхних полках. Право, давно пора было это сделать! Не понимаю, как я могла допустить, чтобы там набралось столько сора!

– Ведь у вас, тетушка, столько разных дел, – как бы оправдывая ее, сказал Йёста.

– Да, что правда, то правда. Если я не вмещаюсь, ни один ткацкий стан, ни одна прялка не будут работать как следует. А если...

Она внезапно смолкла и отерла в уголке глаза слезу.

– Боже, помоги мне! Что ж такое я болтаю, – вздохнула фру Густава. – Мне, видно, в этом доме больше не за чем приглядывать. Ведь муж распродает все, что у нас есть.

– Да, это просто беда! – сказал Йёста.

– Ты ведь видел, Йёста, большое зеркало в гостиной? Оно такое замечательное, и стекло в нем цельное, а не из отдельных кусков, и даже ни малейшего изъяна в позолоте. Так вот, я получила его в наследство от матери, а он хочет продать его!

– Он просто с ума сошел!

– Да, твоя правда. Похоже на то! Он не успокоится, пока мы не пойдем по проселочной дороге с протянутой рукой, как майорша!

– Так далеко, должно быть, дело не зайдет, – утешил ее Йёста.

– Нет, Йёста! Когда майорша уходила из Экебю, она предсказала всем нам беду, вот и пришла беда. Она бы не дала ему продать Бьёрне. Подумать только! Он распродает фамильный фарфор, музейные чашки из собственного дома! Майорша бы никогда не допустила этого!

– Что же с ним стряслось? – спросил Йёста.

– Да только то, что Марианна не вернулась домой. Он все ходил и ждал. Он все ходил и ходил целыми днями взад-вперед по аллее и все ждал и ждал. Он прямо-таки помешался от тоски, но я не смела слова сказать.

– Марианна думает, что он зол на нее.

– Видишь ли, она не может так думать. Она хорошо его знает, но она гордая и не хочет сделать первый шаг к примирению. Они оба самолюбивы и упрямы, и им обоим живется неплохо. А вот я – между двух огней.

– Вы, тетушка, верно, знаете, что Марианна выходит за меня замуж?

– Что ты, Йёста, этому не бывать! Она говорит так, чтобы подразнить отца. Уж больно она избалованна и не пойдет за бедняка, да к тому же она такая гордая! Поезжай-ка домой и скажи ей, что, если она сейчас же не вернется, все ее наследство пойдет прахом. О, он, верно, все спустит с молотка, все отдаст за бесценок!

Йёста страшно разозлился на нее. Сидит тут на кухонном столе, и ничто ее не заботит, кроме зеркал да фарфора.

– Как вам не стыдно, тетушка! – набросился он на нее. – Сначала вы выкидываете вашу дочь в снежный сугроб, а после думаете, что она только из одного лишь злобного упрямства не возвращается домой! И вы считаете ее такой дрянью, что, по-вашему, она может предать любимого человека ради наследства?!

– Дорогой Йёста, хоть ты не сердись на меня! Я и сама не знаю, что болтает мой язык! Я пыталась тогда отворить Марианне дверь! Но он схватил меня и насильно оттащил прочь! Да и здесь, дома, все постоянно только и делают, что твердят, будто я ничего не понимаю. Я не стану, Йёста, противиться твоей женитьбе на Марианне, если ты только сделаешь ее счастливой. Не так-то легко сделать женщину счастливой, Йёста!

Йёста взглянул на нее. Как он смел, охваченный гневом, повысить голос на фру Густава, на такого человека, как она?! Ведь она запугана, загнана, но сердце у нее такое доброе!

– Тетушка, вы не спрашиваете, что с Марианной? – тихо сказал он.

Она разразилась слезами.

– А ты не рассердишься, если я задам тебе этот вопрос? – сказала она. – Я все время хотела спросить тебя об этом. Подумать только, я ничего о ней не знаю, кроме того, что она жива! Ни разу за все это время я не получила от нее весточки или привета, даже когда посылала ей платья. И тогда я подумала, что вы с Марианной не хотите, чтоб я что-нибудь знала о ней.

Йёста больше не мог выдержать. В какое он впал буйство, в какое неистовство! Порой Господь Бог посылал ему вслед волков, чтобы принудить его к послушанию. Но выдержать слезы, выдержать сетования этой старой женщины было труднее, чем вой волков. И он решился поведать ей всю правду.

– Все это время Марианна была больна, – сказал он. – У нее оспа. Сегодня она в первый раз должна была встать с постели и перебраться на диван. Я и сам не видел ее с той ночи.

Фру Густава одним прыжком соскочила на пол. Оставив Йёсту, она, без единого слова, ринулась к мужу.

Люди, собравшиеся в зале на аукцион, увидели, как она подбежала к нему и стала взволнованно шептать что-то на ухо. Они видели, как лицо его еще больше побагровело, а рука, лежавшая на краде, нечаянно повернула его так, что вино полилось на пол.

Всем показалось, что фру Густава принесла какие-то важные вести, и аукцион тут же прекратился. Молоточек аукционщика повис в воздухе, перья писцов замерли, никто не выкрикивал больше цен.

Мельхиор Синклер, словно внезапно очнувшись от своих мыслей, вскочил на ноги.

– Ну! – воскликнул он. – Что ещестряслось?!

И аукцион снова пошел полным ходом.

Йёста Берлинг по-прежнему сидел на кухне, когда фру Густава вернулась вся в слезах.

– Не помогло, – сказала она. – Я думала: стоит ему услышать, что Марианна была больна, и он тут же покончит с аукционом, но он велит продолжать. Ему, верно, хочется остановить аукцион, но гордость не позволяет!

Йёста пожал плечами и тут же попрощался.

В прихожей он встретил Синтрама.

– Черт возьми, какое веселое представление! – вскричал, потирая руки, Синтрам. – Ну и мастер же ты, Йёста! Боже мой, как ты смог все это устроить!

– Скоро будет еще веселее! – шепнул ему Йёста. – Здесь пастор из Брубю, в санях у него куча денег. Поговаривают, будто он хочет скупить все поместье Бьёрне и заплатить наличными. Хотел бы я тогда взглянуть на великого заводчика, дядюшка Синтрам!

Синтрам, втянув голову в плечи, долго смеялся про себя. Но потом, сорвавшись с места, пронесся в зал, где происходил аукцион, и подбежал прямо к Мельхиору Синклеру.

– Если хочешь выпить глоток, Синтрам, то придется тебе, дьявол тебя побери, сперва купить что-нибудь!

Синтрам приблизился к нему вплотную.

– Тебе, братец, везет, как всегда, – проговорил он. – Сюда в усадьбу прикатил один крупный покупатель, в санях у него куча денег. Он собирается купить Бьёрне с полным заведением. Он уговорил множество людей, чтобы они вместо него выкрикивали цены на аукционе. Он сам, разумеется, пока еще показываться не желает, скрывается за спиной подставных лиц.

– А ты, братец, можешь, верно, сказать, кто это, тогда я поднесу тебе стаканчик за труды.

Синтрам выпил и, прежде чем ответить, отступил на несколько шагов назад.

– Говорят, это пастор из Брубю, братец Мельхиор!

Пастор из Брубю был Мельхиору Синклеру заклятым врагом. Вражда между ними длилась уже много лет. Ходили легенды о том, как огромный заводчик лежал темными ночами в засаде на дорогах, где должен был проезжать пастор. И о том, как он не раз задавал хорошую взбучку этому лицемеру и мучителю крестьян.

Хотя Синтрам и отступил на несколько шагов назад, полностью избежать гнева огромного хозяина поместья ему все же не удалось. Брошенный Синклером стакан угодил ему между глаз, а анкерок с вином свалился прямо на ноги. Но затем последовала сцена, которая еще долгое время спустя радовала сердце Синтрама.

– Так это пастор из Брубю желает заполучить мое поместье? – взревел патрон Синклер. – Так это вы все болтаетесь здесь и скупаете мое имение для пастора из Брубю? И не совестно вам! Стыдитесь!

Схватив шандал и чернильницу, он запустил ими в толпу.

Вся горечь, скопившаяся в его наболевшем сердце, наконец-то вырвалась наружу. Рыча, словно дикий зверь, он, сжав кулаки, грозил стоящим вокруг, швыряя в них все, что попадалось под руку, все, что годилось для метания. Стаканы и бутылки так и летали по всему залу. Он не помнил себя от гнева.

– Баста! – рычал он. – Конец аукциону! Вон отсюда! Покуда я жив, не видать Бьёрне пастору из Брубю! Вон отсюда! Я вам покажу, как выкрикивать цены за пастора из Брубю!

Он кинулся на аукционщика и писцов. Они пустились бежать, опрокинув в суматохе прилавки, а заводчик в неопикуемой ярости ворвался в толпу мирных людей.

В диком замешательстве люди обратились в бегство. Несколько сот человек пробивались в давке к дверям, обращенные в бегство одним-единственным человеком. А он спокойно стоял на месте, продолжая рычать: «Вон отсюда!» Он посылал им вслед проклятия, время от времени угрожая толпе стулом, которым размахивал, словно молоточком аукционщика.

Он преследовал покупателей до самой прихожей, но не дальше. Когда последний из них спустился с лестницы, он вернулся в зал и запер за собой дверь. Затем, вытащив из жуткой свалки матрац и пару подушек, улегся на них и заснул посреди всего этого страшного разорения. А проснулся он лишь на следующий день.

Вернувшись домой, Йёста узнал, что Марианна хочет с ним побеседовать. Это было очень кстати. Он и сам думал, как бы ему с ней повидаться.

Когда он вошел в затемненную комнату, где лежала Марианна, ему пришлось на миг остановиться у двери. Он не знал, где она находится.

– Оставайся у дверей, Йёста! – услышал он голос Марианны. – Ведь, может быть, подходит ко мне еще опасно.

Но Йёста подбежал к ней, в два прыжка осилив лесенку, весь дрожа от пылкой страсти. Какое ему дело до черной оспы! Он хочет насладиться блаженством видеть ее!

Потому что его возлюбленная – прекрасна! Ни у кого нет таких мягких волос, такого ясного, светлого лба! Все ее лицо поражает чудной игрой очаровательно мягких линий.

Он вспомнил ее брови, нарисованные пронзительно и ясно, будто тычинки лилии, и дерзко изогнутую линию носа, и мягкие изгибы губ, напоминающие стремительно катящиеся волны. Он вспоминал продолговатый овал ее щек и изысканно-хрупкую форму подбородка.

Он вспоминал нежные краски ее лица и то волшебное впечатление, которое оставляли ее темные как ночь брови на фоне светлых волос, и ярко-голубые зрачки, плавающие в ясной белизне белков, и блестящие искорки в уголках глаз...

Как она прелестна, его возлюбленная! Он думал о том, какое горячее сердце скрывается под ее гордой внешностью. У нее достанет сил и на преданность, и на самопожертвование, таящихся за ее нежной красотой и за гордыми словами. Какое блаженство видеть ее!

В два прыжка преодолел он лесенку и ринулся к ней. А она-то думала, что он останется у дверей. Неистово промчался он по комнате и упал на колени у ее изголовья.

Но видеть ее и целовать ее он хотел только для того, чтобы сказать: «Прости».

Он любил ее. Разумеется, он никогда не перестанет любить ее, но сердце его привыкло к тому, что его лучшие чувства вечно попирают.

О, где ему найти ее, эту розу, лишенную опоры и глубоких корней, которую он мог бы сорвать и назвать своей? Даже ту, что он поднял, выброшенную из родного дома и полумертвую у обочины, он удержать не сможет.

Когда же наконец его любовь споет свою собственную песню, столь возвышенную и чистую, что ни один диссонанс не станет резать слух? Когда же наконец замок его счастья будет построен не на зыбкой почве, а на такой, где бы не тосковало, сожалея и беспокоясь, ничье сердце?

Он думал о том, как сказать ей «прости».

«В твоём доме большая беда, – скажет он ей. – Мое сердце разрывается при мысли об этом. Тебе надо ехать домой и вернуть твоему отцу разум. Твоя мать живет в постоянном страхе за свою жизнь. Тебе надо вернуться домой, любимая!»

Эти слова отречения готовы были сорваться с уст Йёсты, но он их так и не произнес.

Он упал на колени у ее изголовья, обхватил ее голову руками и целовал ее. А потом он так и не нашел нужных слов. Сердце забилось у него в груди так пылко, словно хотело разорваться.

Оспа со страшной силой прошла по ее прекрасному лицу. Кожа покрылась рубцами, сделалась грубой и рябой. Никогда больше не будет ее алая кровь просвечивать сквозь нежную кожу щек, никогда тонкие голубые жилки не станут биться на висках. Глаза под вспухшими веками потускнели, брови выпали, а эмалевый блеск глазных белков окрасился желтизной.

Ее красота была уничтожена. Исполненные очарования дерзкие линии сменились грубыми и тяжелыми.

Позднее немало было в Вермланде людей, горевавших о погибшей красоте Марианны Синклер, об утрате нежной кожи ее лица, сияния пламенных глаз, ее светлых волос. Там красоту ценили, как нигде в другом месте. Веселые люди горевали так, словно страна утратила драгоценный камень в венце своей славы, словно грязные пятна затмили солнечный блеск их собственного существования.

Но самый первый, увидевший ее после того, как она потеряла свою красоту, не стал предаваться горю.

Невыразимые чувства заполнили душу Йёсты. Чем дольше он смотрел на девушку, тем теплее становилось у него на сердце. Его любовь все росла и росла, она ширилась, словно река весной, в половодье. Волнами огня изливалась она из его сердца, заполонив все его существо. Слезами подступала она к его глазам; это она вздыхала на его устах, трепетала в его руках, во всем его теле.

О, любить Марианну, защищать ее, не давать в обиду, да, не давать ее в обиду!

Быть ее рабом, ее ангелом-хранителем!

Сильна любовь, выдержавшая крещение огнем, крещение болью. Он не мог говорить Марианне о разлуке и отречении. Не мог покинуть ее. Он был обязан ей жизнью. Ради нее он мог совершить не один смертный грех.

Он не произнес ни единого разумного слова, а только плакал и целовал девушку до тех пор, пока старая сиделка не сочла нужным увести его.

Когда он ушел, Марианна долго лежала, думая о нем, о движениях его сердца и души. «Хорошо, когда тебя так любят», – думала она.

Да, хорошо быть любимой, но что же это с ней самой? Что она чувствует? О, ничего, даже меньше, чем ничего.

Умерла ли она, ее любовь, или же скрылась куда-то? Куда же она спряталась, ее любовь, дитя ее сердца?

Жива ли она еще, ее любовь? Притаилась ли в самых темных уголках ее сердца и сидит там, замирая под взорами холодных ледяных глаз, испуганная жалким, презрительным смехом, полузадушенная костлявыми пальцами?

– О, моя любовь, дитя моего сердца! – вздыхала она. – Жива ли ты или уже мертва, мертва, как и моя красота?

На следующий день огромный заводчик ранним утром вошел к жене:

– Пригляди, Густава, чтобы в доме снова навели порядок! – сказал он. – Я поеду и привезу домой Марианну!

– Хорошо, дорогой Мельхиор! Не беспокойся, в доме снова будет порядок! – ответила она.

На этом их объяснения и кончились.

Час спустя огромный заводчик был уже на пути в Экебю. Невероятно трудно было представить себе более благородного и более доброжелательного пожилого господина, чем заводчик из Бьёрне, восседавший в крытых санях с откидным верхом, одетый в свою лучшую шубу, с повязанным вокруг шеи лучшим своим шарфом. Волосы его были гладко зачесаны, лицо побледнело, а глаза глубоко запали.

И никогда еще не струился с ясного неба столь ослепительный солнечный свет, как в тот февральский день. Снег сверкал так, как сверкают глаза юных девушек, когда звучит их первый вальс. Березы простирали к небесам неясное кружево тонких красно-коричневых ветвей, на которых кое-где сверкала бахрома мелких ледяных сосулук.

День сиял и сверкал каким-то праздничным блеском. Кони, словно приплясывая, вскидывали вверх передние ноги, а кучер в безудержной радости шелкал кнутом.

После недолгой поездки сани огромного заводчика остановились у парадных дверей Экебю.

Вышел слуга.

– Где хозяйева? – спросил заводчик.

– Они охотятся за большим медведем с Гурлиты.

– Все?

– Да, все, патрон. Кто не ради охоты на медведя, тот ради корзины с разной снедью.

Заводчик так расхохотался, что смех его громким эхом прокатился по безмолвному двору. За находчивый ответ слуга получил далер серебром.

– Поди-ка теперь к моей дочери и скажи: я здесь, чтоб увезти ее с собой! И пообещай, что она не замерзнет в дороге. У меня – крытые сани, и я захватил с собой волчью шубу; она сможет завернуться в нее.

– Не угодно ли вам, патрон, войти в дом?

– Нет, спасибо! Мне и здесь хорошо!

Малый исчез, а заводчик начал ждать.

В этот день у него было чудесное лучезарное расположение духа, и ничто ему не досаждало. Он заранее настроился на то, что ему придется немного подождать, ведь Марианна, быть может, еще даже не вставала. Единственное развлечение, которое ему пока оставалось, – смотреть по сторонам.

С крыши свисала длинная сосулька, причинявшая ужасные хлопоты солнечным лучам. Они нагревали сосульку сверху, и с нее начинали падать капельки воды. Но, едва добравшись до середины сосульки, они снова застывали. А солнечным лучам так хотелось, чтобы хоть одна растаявшая капля, скатившись вниз по сосулке, упала на землю! И солнце делало все новые и новые попытки растопить сосульку, однако по-прежнему неудачно. Но наконец-то нашелся один смелый пират в образе солнечного луча, который крепко вцепился в кончик сосульки. Он был совсем маленький, но так и светился, так и сверкал от усердия! И внезапно добился своего: одна из капель, нежно звеня, упала на землю.

Заводчик, глядя на это, засмеялся.

– А ты не глуп! – сказал он солнечному лучу.

Двор был тих и безлюден. Из дома тоже не доносилось ни звука. Но заводчик по-прежнему не терял терпения. Он знал, что женщине требуется много времени, пока она приведет себя в порядок.

Он сидел, глядя на голубятню, оконце которой было забрано решеткой. Зимой птицы сидели взаперти, чтобы их не истребил ястреб. Время от времени один из голубей подходил к оконцу и просовывал свою белую головку между прутьями решетки.

«Он ждет весны, – сказал самому себе Мельхиор Синклер. – Но ему придется еще потерпеть».

Голубь показывался регулярно – через определенные промежутки времени, так что заводчик выгащил часы и стал ожидать птицу с часами в руках. И правда, ровно через каждые три минуты голубь высовывал головку.

– Нет, дружок, – обратился к голубю Мельхиор Синклер, – неужто ты думаешь, что весна явится через три минуты? Придется тебе научиться ждать!

Ему самому тоже приходится ждать, но времени у него было достаточно.

Сначала кони нетерпеливо скребли копытами снег, но потом, ослепленные солнцем, понурили головы, и их сморил сон.

Кучер сидел, выпрямив спину, на облучке с кнутом и вожжами в руках; обратив лицо к солнцу, он тоже спал, да, спал, более того, храпел.

Но заводчик не спал. Никогда не был он менее расположен спать, чем теперь. Редко выпадали на его долю более приятные часы, чем теперь, во время этого радостного ожидания. Марианна была больна. Она не могла вернуться раньше, но теперь она приедет домой. О, конечно, она это сделает. И все снова будет хорошо.

Теперь-то она сможет понять, что он уже не сердится на нее. Ведь он сам приехал за ней в крытых санях, с двумя лошадьми в упряжке.

В стороне, у самого отверстия пчелиного улья, сидела синица, затеявшая какую-то дьявольскую проделку. Ей наверняка нужно было пообедать, и она стала стучать клювом по улью, маленьким острым клювиком. А внутри улья в большом темном кузове висели пчелы. Там все

содержалось в строжайшем порядке: пчелы, поставлявшие корм по порциям, пчелы-кравчие, бегавшие от одной пчелы к другой с нектаром и амброзией. В улье шла постоянная возня, весь рой метался, пчелы то вползали в кузов, то выползали из него. Те, кто висел внутри кузова, постоянно менялись местами с теми, кто висел с краю; ведь тепло и удобства должны были распределяться поровну.

И тут вдруг в улье слышат стук клювика синицы, и весь улей начинает жужжать от любопытства. Кто стучит, друг или враг? Представляет ли он опасность для их пчелиного роя? У королевы пчел совесть нечиста. Она не может спокойно дожидаться вестей. Может, это призраки убитых трутней стучатся в улей? «Посмотри, что там такое?» – приказывает она сестре-привратнице. И та бросается к выходу из улья. С криком: «Да здравствует королева!» – она вылетает из улья. И – о ужас! Синица на дрожащих от нетерпения крыльях уже над ней. Вытянув шею, она хватается пчелу, давит ее, проглатывает; и некому возвестить повелительнице пчел о судьбе привратницы. Синица же начинает снова стучать, а королева пчел продолжает посылать все новых и новых привратниц на разведку, и все они бесследно исчезают. Никто не возвращается обратно, чтобы рассказать о том, кто стучится в улей. Ух, как жутко становится в темном улье! Это мстительные духи, призраки трутней, затеяли чертовскую возню. Хоть бы ничего не слышать! Хоть бы превозмочь любопытство! Хоть бы спокойно выждать, что будет дальше!

Огромный Мельхиор Синклер раздражается хохотом, таким громким, что слезы выступают у него на глазах. Он смеется над женской глупостью в пчелином улье и над шустрой желто-зеленой канальей на воле.

Невелика беда – ждать, когда ты совершенно уверен в благополучном исходе своей миссии, да еще когда вокруг столько прекрасной пищи для размышлений.

А вот и большой дворовый пес. Он крадется, почти не касаясь лапами земли, опустив глаза и слегка помахивая хвостом; а вид у него такой, словно он направляется куда-то совсем в другое место и занят каким-то совершенно маловажным и посторонним делом. Но вдруг он начинает усердно рыться в снегу. Не иначе как старый бездельник спрятал там какую-то нечестно доставшуюся ему добычу.

Но только он поднимает голову, чтобы посмотреть, можно ли спокойно проглотить свой трофей, – как перед ним, словно из-под земли, вырастают две сороки.

– Укрыватель краденого! – кричат сороки с таким видом, будто они сами – воплощенная совесть. – Мы – здешние полицейские, выкладывай краденое!

– Молчать, негодяйки! Я – управитель здешней усадьбы!

– Как бы не так! Ишь какой выискался! – насмеются сороки.

Пес бросается на птиц, и они улетают, вяло помахивая крыльями. Пес мчится за ними, подскакивает и лает. Но пока он гонится за одной, другая уже возвращается обратно. Она залетает прямо в вырытую псом в снегу ямку, клюет кусок мяса, но подняться с ним в воздух не может. Пес вырывает у нее мясо, держит его передними лапами и остервенело впивается в него зубами. Сороки нагло усаживаются прямо у него под носом и выкрикивают разные гадости. Продолжая пожирать мясо, он угрюмо, не спуская глаз смотрит на них, но когда они своей болтовней преступают границы дозволенного, он вскакивает и прогоняет их прочь.

Солнце начинает садиться на западе, за горами. Огромный заводчик смотрит на часы. Уже целых три часа. Как там жена, у которой обед обычно готов к двенадцати!

В этот миг появляется слуга и докладывает, что фрёкен Марианна желает с ним поговорить.

Заводчик берет на руку волчью шубу и в самом лучезарном настроении поднимается по лестнице.

Когда Марианна услышала его тяжелые шаги на лестнице, она еще не знала, поедет она с ним домой или нет. Она знала только, что надо положить конец этому долгому ожиданию.

Она все надеялась, что кавалеры тем временем вернутся домой, но они не возвращались. Значит, ей самой надо все улаживать и положить этому конец. Она больше не в силах ждать.

Она думала, что отец, прождав пять минут и разгневавшись, уедет, или выломает двери, или же попытается поджечь дом.

Но он спокойно сидел в санях, улыбался и ждал. Она не испытывала к нему ни ненависти, ни любви. Но какой-то внутренний голос словно предостерегал ее, что не надо уступать ему, ни одного-единственного раза. Кроме того, она хотела сдержать слово, данное Йёсте.

Если бы отец задремал, если бы он заговорил, если бы он выказал беспокойство или хоть какой-то признак колебания, если б хоть распорядился откатить сани в тень! Но он был олицетворенное терпение и мудрость.

Он был уверен, твердо уверен, что она выйдет к нему, надо только подождать.

У нее болела голова, дергался каждый нерв. Нет, ей не обрести покоя, куда она знает, что он сидит там, в санях. Казалось, что его воля тащит ее, связанную по рукам и ногам, вниз по ступенькам.

Тогда уж по крайней мере ей было бы проще поговорить с ним.

Прежде чем он вошел в комнату, она распорядилась поднять шторы и легла так, что лицо ее было прекрасно освещено.

Тем самым она преследовала совершенно отчетливую цель подвергнуть отца испытанию. Но в этот день Мельхиор Синклер вел себя совершенно непредсказуемо. Увидев ее, он ни жестом, ни словом не выдал своих чувств. Казалось, он не заметил ни малейшего изменения в ее лице. Она знала, как высоко он ценил ее прекрасную внешность. Но сейчас он не дал ей заметить ни малейших следов волнения. Он судорожно держал себя в руках, чтобы не огорчить ее. Это глубоко тронуло Марианну, и она начала понимать, почему ее мать все еще любит его.

Он не выказал ни малейшего колебания или удивления. Он не упрекал ее, не извинялся перед ней.

– Я заверну тебя в волчью шубу, Марианна! Она совсем не холодная. Она все время лежала у меня на коленях.

На всякий случай он подошел к огню в камине и стал греть шубу.

Потом он помог дочери подняться с дивана, закутал ее в шубу, повязал ей голову шалью, стянул концы шали под мышками и завязал их на спине.

Она не сопротивлялась, чувствуя себя совершенно безвольной. Хорошо, когда о тебе заботятся, приятно, когда не надо проявлять силу. А особенно хорошо для того, кто так истерзан, как она; для того, у кого не осталось ни единой собственной мысли, ни единого чувства.

Огромный заводчик взял дочь на руки, снес ее вниз, положил в сани, укрыл звериными шкурами, поднял верх саней и поехал прочь из Экебю.

Она закрыла глаза и вздохнула не то от радости, не то от ощущения потери. Она покидала жизнь, настоящую жизнь, но ей это было совершенно все равно. Ведь она не умела жить, она только умела играть роль.

Через несколько дней фру Густава устроила так, что Марианна смогла встретиться с Йёстой. Фру Густава послала за ним, пока заводчик уехал в длительную поездку к возчикам леса. Когда же Йёста появился в Бьёрне, она ввела его в комнату дочери.

Йёста вошел, не поздоровавшись и не произнеся ни слова. Остановившись внизу, у дверей, он смотрел себе под ноги, словно строптивый мальчишка.

– Йёста! – воскликнула Марианна.

Сидя в кресле, она глядела на него, то ли насмехаясь над ним, то ли забавляясь.

– Да, так меня зовут.

– Иди сюда, подойди же ко мне, Йёста!

Он медленно подошел к ней, все еще не поднимая глаз.

– Подойди ближе! Встань на колени! Здесь!

– Боже мой, к чему все это? – воскликнул он, но послушался.

– Йёста, я хочу сказать тебе: по-моему, мне лучше было вернуться домой.

– Надо надеяться, что они больше не станут выбрасывать вас на мороз, фрёкен Марианна.

– О Йёста, ты больше не любишь меня? Ты думаешь, что я слишком безобразна?

Притянув к себе голову девушки, он поцеловал ее, но вид у него был по-прежнему холодный.

Она и вправду забавлялась. Если ему вздумалось ревновать ее к собственным родителям, чего же еще? Но это, верно, пройдет. А теперь ей казалось забавным попытаться вернуть его. Она и сама едва ли знала, зачем ей удерживать его подле себя, но ей хотелось этого. Она думала о том, что ему все же один-единственный раз удалось избавиться ее от нее самой. И он, верно, единственный, кто может, должно быть, еще раз заставить ее забыть.

И вот она снова заговорила, стараясь изо всех сил вернуть его. Она сказала, что вовсе не собиралась навсегда покинуть его, но приличия ради им надо было на некоторое время расстаться. Ведь он и сам видел, что ее отец стоял на пороге безумия, что ее мать жила в постоянном страхе за свою жизнь. Он ведь должен понять, что она вынуждена была уехать домой.

И тут он дал выход своему гневу. Ни к чему ей лицемерить. Он не желает быть больше игрушкой в ее руках. Она покинула его, предала, как только у нее появилась возможность вернуться домой. И он больше не может любить ее! Когда он вернулся домой с охоты и узнал, что она уехала без единого прощального слова, не передав ему даже привета, кровь застыла у него в жилах. Он чуть не умер! Не может он любить ту, которая причинила ему такое ужасное горе! Впрочем, она никогда не любила его! Она самая настоящая кокетка, которой просто нужно, чтобы и здесь, в родных краях, кто-то целовал и ласкал ее. Вот и все!

Так, стало быть, он считает, что в ее обычае позволять молодым людям целовать и ласкать себя?

О да, он так считает! Женщины вовсе не такие святые, какими кажутся с виду. Эгоистки и кокетки с головы до ног! Нет, если бы только она знала, каково ему было, когда он вернулся домой с охоты! Ему казалось, будто он бредет по колени в ледяной воде. Никогда не преодолеть ему эту страшную боль. Она будет преследовать его всю жизнь. Никогда больше не стать ему таким, как прежде.

Она пыталась объяснить ему, как все произошло. Она изо всех сил старалась уверить его, что по-прежнему ему верна.

Но ему уже все равно, потому что он больше не любит ее. Теперь он видит ее насквозь. Она – эгоистка. Она не любит его. Она уехала, даже не передав ему привета.

Он все снова и снова возвращался к этому ужасному событию. Она же почти наслаждалась этой сценой. Злиться на него она не могла. Она так прекрасно понимала его гнев! Окончательного же разрыва между ними она не боялась. В конце концов ее все-таки охватило беспокойство. Неужели он и в самом деле внезапно так сильно переменился, что она ему больше не по душе?

– Йёста! – произнесла она. – Разве я была эгоисткой, когда отправилась за майором в Шё? Я ведь прекрасно знала, что там свирепствует оспа. Да и не очень-то приятно бежать в лютый мороз по снегу в тонких башмачках.

– Любовь питается любовью, а не услугами и благодеяниями, – сказал Йёста.

– Ты хочешь, чтобы отныне мы стали чужими друг другу, Йёста?

– Да, я хочу этого.

– У Йёсты Берлинга весьма переменчивый нрав.

– Да, мне это обычно вменяют в вину.

Он был холоден, и отогреть его было невозможно. Впрочем, сама она была еще холоднее. Дух самоанализа, притаившись в ее груди, презрительно улыбался в ответ на ее попытки разыгрывать роль влюбленной.

– Йёста! – сказала она, используя еще одно доступное ей средство. – Я никогда по своей воле не наносила тебе незаслуженных оскорблений, если даже со стороны могло показаться, что это так. Прощу тебя: прости меня!

– Не могу!

Она знала: будь ее чувство подлинным и цельным, она бы вновь завоевала его. И она попыталась сыграть роль страстно влюбленной.

Взор ледяных глаз презрительно сверлил ее, но она, не желая потерять Йёсту, все равно делала все новые и новые попытки.

– Не уходи, Йёста! Не уходи в гневе! Подумай, как я подурнела, как безобразна я стала! Никто больше не сможет полюбить меня!

– Я тоже не смогу! – заявил он. – Придется и тебе узнать, как и многим другим, каково это, когда попирают твое сердце!

– Йёста, я никогда не могла полюбить никого, кроме тебя. Прости меня! Не покидай меня! Ты – единственный, кто может спасти меня от самой себя!

Он отстранил ее от себя.

– Ты говоришь неправду, – сказал он с ледяным спокойствием. – Не знаю, что ты хочешь от меня, но вижу: ты лжешь. Почему ты хочешь удержать меня? Ты ведь так богата, что в женихах у тебя никогда недостатка не будет.

С этими словами он ушел.

И не успел он закрыть дверь, как глубокое сожаление об утрате и безмерное страдание наполнили сердце Марианны.

То была любовь, дитя ее собственного сердца, любовь, которая выбралась на свет божий из угла, куда взор ледяных глаз изгнал ее. И вот она пришла, долгожданная, пришла теперь, когда было уже слишком поздно. Она выступила вперед, серьезная и всемогущая, а ее пажи – сожаление об утрате и страдание – несли шлейф королевской мантии.

Когда Марианна с непоколебимой уверенностью могла сказать самой себе, что Йёста Берлинг покинул ее, она ощутила почти физическую боль, такую ужасную, что едва не впала в беспамятство. Прижимая руки к сердцу, она много-много часов просидела без слез на одном и том же месте, борясь с постигшим ее страшным горем.

И страдал не кто-либо другой и не какая-либо актриса, а она сама. Страдала она сама!

Зачем явился ее отец и разлучил их? Ведь ее любовь вовсе не умерла. Просто она, Марианна, была так слаба после болезни, что не могла распознать ее силу.

О боже, боже, как могла она потерять его! О боже, как могла она так поздно прозреть!

О, он был для нее единственным, он был властелином ее сердца! От него она могла стерпеть все что угодно. Его жестокосердие, его недобрые слова лишь побуждают ее к смирению любви. Если бы он ударил ее, она подползла бы к нему, как собака, и поцеловала ему руку.

Схватив перо и бумагу, она увлеченно, с лихорадочной быстротой начала писать. Сначала она стала молить его, но не о любви, а лишь о милосердии. Она написала нечто напоминавшее стихи.

Она не знала, что ей делать, чтобы смягчить сведавшую ее глухую боль.

Кончив писать, она подумала, что, если бы он прочитал это письмо, он все же поверил бы, что она любит его. Ну а почему не послать ему это предназначенное ему письмо? На следующий день она обязательно отошлет это письмо, и тогда, как она полагала, оно снова вернет ей Йёсту.

На следующий день она бродила по дому, в страхе и борьбе с самой собой. Все, что она написала, казалось ей таким жалким и глупым. А в ее стихах – ни рифмы, ни размера, одна сплошная проза. Он лишь посмеется над такими стихами.

Пробудилась и ее уснувшая гордость. Если он больше не любит ее, то как же унижительно вымаливать его любовь.

Порой, правда, жизненная мудрость подсказывала ей: надо радоваться, что удалось выпутаться из всех этих сложных отношений с Йёстой и из всех прочих грустных обстоятельств, которые их любовь повлекла бы за собой.

Однако же муки ее сердца были столь ужасны, что чувства в конце концов одержали верх. Через три дня после того, как Марианна, прозрев, осознала, что любит Йёсту, она вложила стихи в конверт и написала на нем имя Йёсты Берлинга. Но стихи так и не были отосланы. Прежде чем она нашла подходящего нарочного, чтобы передать письмо, ей довелось услышать о Йёсте Берлинге много такого, что она поняла: слишком поздно, он потерял для нее безвозвратно.

Но мысль о том, что она не отослала вовремя стихи, пока еще можно было вернуть его, стала величайшей трагедией ее жизни.

Вся ее боль сосредоточилась на одном: «Если б я не мешкала, если б я не мешкала столько дней!»

Стихи эти, адресованные Йёсте слова наверняка помогли бы ей вернуть счастье жизни или по крайней мере подлинную жизнь. Она не сомневалась, что они наверняка привели бы его к ней обратно.

Однако же горе сослужило ей ту же самую службу, что и любовь. Оно превратило ее в цельного человека, могущественного в своей беспредельной приверженности как добру, так и злу. Пламенные чувства струились в ее душе. И даже ледяной холод, исходящий от духа самоанализа, не в силах был их сдержать. Именно благодаря этому, несмотря на ее уродство, на ее долю выпало в жизни немало любви!

И все же, говорят, она никогда не смогла забыть Йёсту Берлинга. Она горевала о нем так, как горюют об утраченной жизни.

А ее злосчастные стихи, которые когда-то многими читались и ходили по рукам, давным-давно забыты.

Однако же и ныне они кажутся мне весьма трогательными даже в том виде, в каком предстают предо мной. Хотя бумага, исписанная красивым, мелким почерком, уже пожелтела, а чернила выцвели. В этих злосчастных стихах скрыты страдания целой жизни. И я переписываю их с чувством какого-то смутного мистического страха, словно в них нашли приют какие-то тайные силы.

Прошу вас, прочтите эти стихи и подумайте о них. Кто знает, какую бы они возымели силу, будь они отосланы? Все же они исполнены глубокой страсти, достаточной для того, чтобы свидетельствовать об истинном чувстве. Возможно, они могли бы снова привести к ней Йёсту.

Своей неловкой бесформенностью они в достаточной степени вызывают чувство умиления и нежности. Да никто и не пожелает им быть иными. Никто и не захочет увидеть их заключенными в оковы рифмы и размера. И все же как грустно думать о том, что, быть может, именно несовершенство этих стихов помешало ей отослать их вовремя.

Прошу вас, прочтите и полюбите их! Их написал человек, которого постигла страшная беда.

Ты любила, дитя, но уже никогда
Не вернуть тебе счастья любви.
Бурей страсти душа твоя потрясена
И устало вкушает покой.
Не видать тебе более счастья вершин,
Ты устало вкушаешь покой.
И в пучины страданий вовек не упасть,

Никогда!

Ты любила, дитя, но уже никогда
Не затеплится пламя в душе.
Ты была словно поле пожухлой травы,
Что пылает мгновенно и кратко,
Черной гарью и дымом и ворохом искр
Разгоняя испуганных птиц.
Пусть вернуться они.
Твой пожар отпылал.
И уже не пылать ему вновь.

Ты любила, дитя, но уже никогда
Не услышишь ты голос любви.
О, угасли душевные силы твои,
Как ребенок, что в классе пустом
О свободе мечтает, об играх живых,
Но никто не окликнет его.
Так и силы души твоей – больше никто
Не вспоминает о них.

О дитя, твой любимый покинул тебя.
Он лишил тебя счастья любви,
Столь любимый тобой словно крылья тебе подарил
И как птицу летать научил.
Столь любимый тобой словно в бурю тебе подарил,
Утопающей, чудо спасенья.
Он ушел, он, единственный, кто отворил
Дверь твоего сердца.

Об одном умоляю тебя, любимый,
Не обрушивай на меня бремя ненависти,
Нет ничего слабее нашего сердца:
Разве сможет оно жить с мыслью,
Что кому-то оно ненавистно?

О любимый, коль хочешь меня погубить,
Не ищи ни кинжал, ни веревку, ни яд.
Дай мне знать, что ты хочешь, чтоб я исчезла
С зеленых полей земных, из царства жизни,
И я тотчас сойду в могилу.

Ты дал мне жизнь. Ты дал мне любовь.
Теперь ты свой дар отбираешь. О, я знаю!
Но не давай мне взамен ненависть,
Я знаю – она убьет меня¹⁶.

¹⁶ Перевод Д. Закса.

Глава десятая

Молодая графиня

Молодая графиня спит до десяти часов утра и желает всякий день видеть свежий хлеб на столе, накрытом к завтраку. Она вышивает тамбурным швом и любит читать стихи. Она ничего не смыслит в тканье или в стряпне. Молодая графиня очень избалованна.

Однако же она чрезвычайно жизнерадостна и не скупится озарять своей веселостью всех и вся вокруг. Ей охотно прощают и долгий сон поутру, и пристрастие к свежему хлебу, потому что она расточает благодеяния беднякам и ласкова со всеми.

Отец молодой графини – шведский дворянин, который всю свою жизнь прожил в Италии – стране, пленившей его своей красотой и красотой одной из ее прекраснейших дочерей. Когда граф Хенрик Дона путешествовал по Италии, он был принят в доме этого высокородного дворянина, познакомился с его дочерьми, женился на одной из них и привез ее с собой в Швецию.

Она, с детства знавшая шведский язык и воспитанная в духе любви ко всему шведскому, прекрасно уживается на севере, в стране медведей. Ей так радостно в хороводе бездумных развлечений, кружащемся вокруг длинного озера Лёвен, что можно подумать, будто она всегда жила здесь, на севере. Между тем она не очень хорошо понимает, что значит быть графиней. Этому юному, радостному существу совершенно чужды и высокомерность, и чопорность, и снисходительное достоинство.

Но кто больше всех очарован молодой графиней – так это пожилые мужчины. Просто поразительно, каким огромным успехом она пользовалась у них! Стоило им увидеть ее на балу, и можно было ничуть не сомневаться в том, что все они – и судья из Мункеруда, и пробст из Бру, и Мельхиор Синклер, и капитан из Берги – в приступе величайшего доверия начнут тут же признаваться своим супругам, что доведись им встретиться с молодой графиней лет тридцать или сорок тому назад...

– Да. Но тогда ведь ее наверняка еще на свете не было! – говорят их пожилые жены.

И, встретившись следующий раз с молодой графиней, приводят ее в смущение, намекая на то, что, мол, она похищает у них сердца их престарелых супругов.

Пожилые жены смотрят на нее с некоторой опаской. Они ведь еще так прекрасно помнят ее свекровь, графиню Мэрту. Она была такая же веселая, и добрая, и всеми любимая, когда впервые появилась в Борге. А теперь она превратилась всего-навсего в тщеславную, падкую на развлечения кокетку, которая не в силах думать ни о чем другом, кроме собственных удовольствий. «Если бы только муж молодой графини мог приучить ее к работе! – говорили пожилые дамы. – Если бы только она научилась ткать!» Ведь умение ткать утешает в любом горе, оно поглощает все интересы, оно послужило спасением для множества женщин.

Да и самой молодой графине очень хочется стать хорошей хозяйкой. Она не знает лучшей доли, чем быть счастливой женой и жить в хорошем, благоустроенном доме. И часто, приезжая на званые вечера, она подсаживается к пожилым дамам.

– Хенрику так хочется, чтоб я стала хорошей хозяйкой, – говорит она, – такой же, как и его мать. Научите меня ткать!

Тут старушки начинают вздыхать. Во-первых, из-за графа Хенрика, который считает свою мать хорошей хозяйкой. Во-вторых, из-за этого юного, несведущего существа, которое столь трудно посвятить в тайны такого сложного искусства. Стоит только заговорить с ней об уткэ и о пасмо, о рукоятках и наугольниках, о мотовиле, как у нее голова идет кругом. А еще хуже, когда речь заходит о таких вещах, как тканье камчатных скатертей и узоров «гусиный глазок» и «странник».

Все, кто только знает молодую графиню, не могут не удивляться тому, что она вышла замуж за глупого графа Хенрика.

Как несчастен тот, кто глуп! Жаль его, где бы он ни жил. А более всего жаль того, кто глуп и к тому же живет в Вермланде.

О глупости графа Хенрика ходит уже множество легенд, а ему всего-навсего двадцать лет с небольшим! Вот, к примеру, как несколько лет тому назад он развлекал Анну Шернхёк во время прогулки на санях.

– А ты красива, Анна! Да, красива, – сказал он.

– Не болтай глупостей, Хенрик.

– Ты самая красивая во всем Вермланде.

– Вовсе нет!

– Во всяком случае, ты самая красивая из всех, кто едет с нами на прогулку.

– Ах, Хенрик, и это неправда!

– Ну, тогда ты самая красивая в наших санях. Этого уж ты не станешь отрицать.

Нет, этого она отрицать не стала.

Потому что граф Хенрик совсем не красив. Он столь же уродлив, сколь глуп. О нем говорят, что голова, сидящая на его тонкой шее, передается в роду Дона вот уже несколько столетий по наследству, от одного графа к другому. Потому-то мозг у последнего отпрыска этого рода так одряхлел и пришел в полную негодность. «Ведь совершенно ясно, что собственной головы у него нет, – говорят о нем люди. – Голову одолжил ему его отец. И потому-то он не смеет склонить ее, боится, что она отвалится. Да и кожа у него совсем пожелтела, а лоб весь в морщинах. Ведь головой этой пользовались и его отец, и дед. А иначе почему бы волосы у него были такие редкие, губы такие бескровные, а подбородок такой заостренный?!»

Его постоянно окружают шутники, которые подстрекают его говорить глупости. Они запоминают их, а потом разносят по всей округе, немало добавляя и от себя.

Счастье, что он ничего этого не замечает. Все его манеры и осанка исполнены важной торжественности и чувства собственного достоинства. Разве ему может прийти в голову, что другие ведут себя совершенно иначе? Чувство собственного достоинства у него в крови: он движется размеренно, ходит выпрямив спину и никогда не поворачивает голову, не повернувшись одновременно всем туловищем.

Несколько лет назад он был в гостях у судьи с семейством в Мункеруде. Он приехал верхом, чопорно и гордо держась в седле. На нем был высокий цилиндр, желтые рейтузы и начищенные до блеска сапоги. Сначала все шло хорошо. Но когда он собрался уезжать, случилось так, что одна из веток, свисавшая с дерева в березовой аллее, сбила с него цилиндр. Он спешился, надел цилиндр и снова проехал под той же самой веткой. Цилиндр был снова сбит на землю. Это повторилось ровно четыре раза.

Тогда судья подошел к нему и сказал:

– А что, если вам, братец, в следующий раз объехать ветку стороной?

И вот на пятый раз он удачно проехал мимо ветки.

Однако же молодая графиня любит мужа, несмотря на его старческую голову. Когда она впервые увидела его там, на юге, она ведь не знала, что в собственной своей стране он был окружен лучезарным ореолом мученика глупости. Там, в Риме, над его головой сияло нечто подобное блеску юности, и они соединились при весьма романтических обстоятельствах. Надо было слышать рассказ графини о том, как графу Хенрику пришлось похитить ее. Монахи и кардиналы пришли в страшную ярость, узнав, что она хотела предать религию своей матери, которой прежде была привержена, и стать протестанткой. Вся чернь бушевала. Дворец ее отца был осажден. Хенрика преследовали бандиты. Мать и сестра умоляли ее отказаться от мысли об этом замужестве. Но отец ее пришел в бешенство от того, что какой-то там итальянский сброд может помешать ему отдать дочь в жены тому, кому он пожелает. И он приказал графу Хенрику похитить ее. Обвенчаться в Италии для них оказалось невозможным, потому что это тут же открылось бы. Тогда она и граф Хенрик тайком прокрались по боковым улочкам

и всевозможным мрачным закоулкам в шведское консульство. И когда она там отреклась от католической веры и приняла протестантство, их мгновенно обвенчали. И тут же дорожная карета быстро помчала их на север. «Видите ли, провести оглашение в церкви уже не было времени. Это было просто невозможно, – имела обыкновение повторять молодая графиня. – А как же грустно было венчаться в консульстве, а не в одной из красивых итальянских церквей, но в противном случае Хенрик лишился бы меня. Там, на юге, все они такие пылкие: и родители, и кардиналы с монахами, все – такие пылкие. Потому-то все венчание должно было происходить в страшной тайне. И если бы людям удалось увидеть, как мы незаметно крадемся из дому, они наверняка, ради того чтобы спасти мою душу, убили бы нас обоих. Хенрик, разумеется, был уже предан анафеме».

Но молодая графиня продолжала любить своего мужа даже и тогда, когда они приехали домой в Борг и зажили более спокойной жизнью. Ей дорог блеск его древнего имени и его славные своими подвигами предки. Ей нравится видеть, как одно ее присутствие смягчает чопорность всего его существа. И слышать, как в голосе его звучит нежность, когда он говорит с ней. К тому же он любит ее, он балует ее; и она ведь обвенчана с ним. Молодая графиня просто не может себе представить, чтобы замужняя женщина не любила своего мужа.

К тому же он, в известной степени, соответствует ее идеалу мужественности. Он честен и правдив. Он никогда не изменяет данному им слову. Она считает его истинным дворянином.

Восьмого марта ленсман Шарлинг празднует свой день рождения. И тогда на холмы в Брубю съезжается множество гостей. В усадьбу ленсмана в тот день стекаются обычно гости с запада и востока, знакомые и незнакомые, званные и незванные. Все здесь желанные гости. Еды и спиртного припасается для всех вдоволь, а в бальном зале достаточно места для любителей потанцевать, прибывающих из семи церковных приходов Вермланда.

Молодая графиня тоже приезжает на бал: она постоянно ездит туда, где только ожидаются веселье и танцы.

Но на этот раз молодая графиня ничуть не рада празднику. Кажется, будто ее гнетет предчувствие того, что настает ее черед кинуться в дикую погоню за приключениями.

По дороге, сидя в санях, она наблюдала, как заходит солнце. Солнце садилось на почти безоблачном небе, не оставляя после себя ни единого золотистого ободка на легких тучах. Бледно-серая сумеречная дымка, гонимая холодными, порывистыми ветрами, окутывала всю окрестность.

Молодая графиня наблюдала, как сражаются меж собой день и ночь, как все живое охватывает ужас пред лицом двух борющихся могучих стихий – света и тьмы. Лошади спешили как можно скорее довести последний воз, чтобы наконец оказаться под крышей. Лесорубы торопились вернуться домой из леса, работницы – со скотного двора. На лесной опушке завывали дикие звери. Светлый день, любимец людей, терпел явное поражение.

Свет угас, краски поблекли. Единственное, что она видела, – это стужу и мрак. Все, на что она надеялась, все, что любила, все, что делала, – также казалось ей покрытым серой пеленой сумерек. Как для нее, так и для всей природы то был час поражения, усталости, изнеможения.

Она думала о собственном сердце, которое в своей трепетной радости облекало все кругом в пурпур и золото. Она думала о том, что, быть может, это сердце когда-нибудь утратит свою силу и перестанет озарять своим светом ее внутренний мир, ее душу.

– Ах, эта слабость, слабость моего сердца! – сказала она самой себе. – Ты, богиня гнетущего мрака и сумерек! Когда-нибудь ты станешь властительницей моей души! Тогда жизнь предстанет предо мной в сером и уродливом свете, какая она, быть может, и есть на самом деле. Тогда мои волосы поседеют, спина согнется, а мозг лишится своей силы!

В тот же миг сани въехали во двор усадьбы ленсмана. И молодая графиня, случайно подняв голову, тут же увидела за решетчатым окном одного из флигелей чье-то лицо и угрюмый взгляд.

То было лицо майорши из Экебю. И молодая женщина почувствовала, что вся ее радость от предстоящего сегодняшним вечером веселья начинает улетучиваться.

Легко быть веселым, когда не знаешь горя, а только слышишь, как о нем говорят, словно о госте из дальней, чужой стороны. Куда труднее сохранять радость в сердце, когда сталкиваешься лицом к лицу с черной как ночь, угрюмо глядящей на тебя бедой.

Графиня, разумеется, знает, что ленсман Шарлинг посадил майоршу под стражу и что с нее будет снято дознание по делу о всех действиях, учиненных ею в Экебю в ту самую ночь, когда там был большой бал. Но графиня не думала, что майоршу будут держать под стражей здесь, на дворе у ленсмана, так близко от бального зала, что оттуда можно заглянуть в ее темницу. Держать так близко, что она услышит звуки танцевальной музыки и веселый шум голосов. И мысль о майорше окончательно убила всю радость графини.

Молодая графиня умеет, конечно, танцевать и вальс, и кадрили. Она, разумеется, отлично танцует и англес, и менуэт. Но в перерыве между танцами она непременно старается тайком проскользнуть к окну и взглянуть вверх, на боковую пристройку. В зарешеченном оконце горит свет, и можно видеть, как майорша ходит в своей темнице взад и вперед. Кажется, что она вовсе не отдыхает, а непрерывно ходит взад и вперед.

Графиню совершенно не радуют танцы. Она думает лишь о том, что майорша ходит взад и вперед в своей темнице, словно пойманный зверь в клетке. Ее удивляет, как могут танцевать другие гости. Наверняка многих, точно так же как и ее, волнует, что майорша находится так близко от них. И все же среди них нет ни одного, кто бы выдал свое волнение. До чего же невозмутимые люди живут в Вермланде!

Но после того как графиня выглядывает в окно, она чувствует, что с каждым разом ноги ее все тяжелее ступают в танце, а смех застревает в горле.

Жена ленсмана обратила внимание на графиню, когда та вытирала запотевшее стекло, чтобы посмотреть в окно. Подойдя к ней, она прошептала:

– Какое несчастье! Какое же это несчастье!

– Мне кажется, сегодня просто невозможно танцевать! – шепчет графиня ей в ответ.

– Это вовсе не моя вина, что у нас здесь бал, когда она сидит там взаперти, – продолжает фру Шарлинг. – С тех пор как ее взяли под стражу, она все время находилась в Карлстаде. Но скоро должно начаться дознание, и поэтому ее сегодня перевели сюда. Мы не могли позволить запереть ее в эту ужасную темницу при доме заседаний суда, и потому ее поместили у нас в усадьбе в ткацкой, во флигеле. Она жила бы в моей гостиной, графиня, если бы все эти люди не приехали сюда именно сегодня. Вы, графиня, едва ли знакомы с майоршей, но для нас для всех она была все равно что мать и королева. Что она должна думать о нас обо всех, кто здесь танцует, в то время как ее постигло такое несчастье! Слава богу, лишь немногие из гостей знают, что она там сидит.

– Ее вообще нельзя было брать под стражу, – строго замечает молодая графиня.

– Это совершенно справедливо, но другого средства не было. А не то могли бы случиться еще худшие беды! Ни один человек не мог бы помешать ей поджечь свой собственный сноп соломы и прогнать кавалеров. Но майор рыскал по всей округе, охотясь за ней. Бог знает, что бы он еще придумал, если б ее не взяли под стражу. Шарлингу пришлось вынести немало неприятностей за то, что он арестовал майоршу. Даже в Карлстаде им были недовольны: почему, мол, он не смотрел сквозь пальцы на все, что творилось в Экебю? Но он считал, что так будет лучше всего. И так он и сделал.

– Но теперь ее, верно, осудят? – спрашивает графиня.

– О нет, осудить ее не осудят. Майоршу из Экебю, верно, признают невиновной; но то, что ей пришлось перенести за эти дни, слишком тяжело для нее. Боюсь, она может утратить рассудок, не иначе. Подумайте, графиня, какво этой гордой госпоже терпеть, что с ней обращаются будто с последней преступницей? Мне кажется, было бы лучше всего, если б ей дали возможность избежать наказания. Быть может, она и сама сумела бы спастись от майора!

– Выпустите ее на волю! – говорит графиня.

– Это ведь может сделать кто угодно, кроме ленсмана или его жены, – шепчет фру Шарлинг. – Мы-то, именно мы обязаны ее караулить. Особенно нынче ночью, когда здесь столько ее друзей! Ее караулят двое, а двери в ее темницу заперты и закрыты на засов, так что никто не может войти к ней. Но если бы кто-нибудь вызволил ее оттуда, мы оба – и Шарлинг, и я – были бы только рады.

– А нельзя ли мне пойти к ней? – спрашивает молодая графиня.

Фру Шарлинг нервно хватает ее за руку и выводит из зала. В прихожей они набрасывают на себя шали, выходят из дома и поспешно пересекают двор.

– Еще неизвестно, станет ли она с нами разговаривать, – говорит жена ленсмана. – Но все-таки она увидит, что мы не забыли ее.

Они входят в первую комнату флигеля, где двое мужчин караулят возле заложённых на засов дверей, и беспрепятственно входят к майорше. Она заперта в большой горнице, заполненной ткацкими станками, а также разной утварью и инструментами. Собственно говоря, горница эта предназначена лишь для ткацкой, но окно там зарешечено, а на дверях – прочные замки, чтобы, в случае крайней необходимости, ее можно было использовать как тюрьму.

Там, в этой горнице, майорша продолжает ходить взад и вперед, не обращая особого внимания на вошедших.

Все эти дни она в своем воображении совершала длительное путешествие. Ей не приходится в голову ничего иного, кроме того, что ей надо пройти те двадцать миль, которые отделяют ее от лесов Эльвдалена. Там на севере ее ждет мать. У майорши нет времени отдыхать, ей необходимо продолжать путь. Она страшно спешит, она неутомимо мчится вперед. Ее матери уже более девяноста лет. Она скоро умрет.

И майорша ходит взад и вперед, меряя длину горницы альнами. А теперь она отсчитывает пройденные круги, складывая альны в фамны, а фамны в полумили и мили.

Тяжким и долгим кажется ей путь, и все же она не смеет отдыхать. Она идет, увязая по колено в глубоких сугробах. Там, где она проходит, она слышит шум вечных лесов над своей головой. Она делает привалы в хижине финна и в шалаше углежога. Порой, когда на расстоянии множества миль ей не встречается ни одной живой души, ни единого человеческого жилища, ей приходится устраивать себе ложе из сломанных веток под корнями вывороченной ели.

И вот наконец-то она достигает цели, двадцать миль пройдены, лес кончается, и взору ее открывается красный дом, стоящий на заснеженном дворе. Перепрыгивая множество мелких порогов, пенясь, стремительно мчится вперед Кларэльвен, и по хорошо знакомому ей шуму реки она понимает, что она – дома.

И мать майорши, которая видит свою дочь с протянутой рукой, именно такой, какой ей хотелось видеть майоршу, выходит ей навстречу.

Но, зайдя столь далеко в своем воображении, майорша всякий раз поднимает голову, оглядывается вокруг, видит запертые двери и вспоминает, где она находится.

Тут она задает себе вопрос, уж не сходит ли она с ума, и присаживается, чтобы отдохнуть и подумать. Но немного погодя она уже опять в пути и подсчитывает альны и фамны, превращая их в полумили и мили. Она снова делает недолгие привалы в хижинах финнов и не спит ни днем ни ночью до тех пор, пока снова не проходит те же двадцать миль.

За все время, что она находится под стражей, она почти не спала.

И обе женщины, пришедшие ее навестить, с ужасом смотрят на нее.

Потом молодая графиня всегда будет вспоминать майоршу, неустанно ходящую взад и вперед по горнице. Она часто будет видеть ее в своих снах и просыпаться от этого страшного зрелища с глазами, мокрыми от слез, и со стонами на устах.

Старая майорша ужасающе опустилась: волосы ее поредели, и отдельные пряди вылезают из тонкой косы. Кожа на лице обвисла, щеки впали, одежда порвана и смята. Но вместе с тем в ней сохранились еще отдельные черты высокопоставленной благодетельницы и повелительницы. Она вызывала не только сострадание, но и уважение.

Особенно запомнились графине ее глаза – глубоко запавшие, как бы обращенные внутрь, глаза, еще не окончательно утратившие свет разума, но вот-вот готовые угаснуть. А в самой глубине ее глаз – настороженная искорка дикой ярости; и надобно было бояться того, что в следующий миг старая майорша может наброситься на вас и начать кусаться и царапаться.

Они простояли там довольно долго, как вдруг майорша внезапно подошла вплотную к молодой графине и окинула ее суровым взглядом. Графиня отступила назад и схватила фру Шарлинг за руку.

Черты лица майорши вдруг обрели живость, стали выразительными, а глаза ее вполне разумно смотрели на мир.

– О нет, о нет, – говорит она, улыбаясь, – все-таки еще не все так плохо, милая моя юная дама!

Она приглашает их сесть и сама тоже садится. Она как бы надевает на себя маску, как бы окружает себя аурой старомодной величавости, хорошо известной со времен богатых пиров в Экебю и королевских балов в резиденции губернатора в Карлстаде. Обе женщины забывают и про ее лохмотья, и про то, что она содержится под стражей. Они видят лишь самую гордую и самую богатую женщину Вермланда.

– Дорогая графиня! – говорит майорша. – Что может побудить вас оставить танцы ради того, чтобы навестить такую одинокую дряхлую старуху, как я? Вы, должно быть, очень добры!

Графиня Элисабет не может даже произнести ни слова в ответ. От волнения у нее пропадает голос. Вместо нее отвечает фру Шарлинг: мол, графиня не могла танцевать, так как все время думала о майорше.

– Дорогая фру Шарлинг, – отвечает майорша, – неужели дела мои так плохи и так все ужасно, что я мешаю веселиться молодым? Не плачьте обо мне, дорогая юная графиня, – продолжает она, – ведь я – злая старуха, которая заслужила свою участь. Ведь вы же не считаете, что бить свою мать – справедливо?

– Нет, но...

Майорша прерывает ее и отбрасывает со лба светлые кудрявые локоны графини.

– Ах, дитя мое, дитя мое, – говорит она, – как вы могли выйти замуж за глупого Хенрика Дону?

– Но я люблю его.

– Я вижу, как это случилось, вижу, – продолжает майорша. – Вы – просто милое дитя, и ничего больше. Вы плачете с теми, кто печален, и смеетесь с теми, кто весел. И вынуждены были ответить «да» самому первому, кто сказал вам: «Я люблю тебя». Да, разумеется, это так. Идите же теперь и вернитесь к танцам, моя дорогая юная графиня! Танцуйте и будьте веселы! Ничего дурного в вас нет.

– Но мне хотелось бы сделать что-нибудь для вас, майорша!

– Дитя мое! – торжественно провозглашает майорша. – Жила-была в Вермланде одна старая женщина, которая держала у себя в плену все силы небесные, все небесные ветры. Теперь она сама сидит взаперти, а все силы, все ветры гуляют на воле. Что ж тут удивительного, если во всей округе свирепствует буря?

Я – стара, графиня, и я уже видела бури на своем веку. Я знакома с ними. Я знаю, что грохочущая буря Господня грянет и над нами. Порой она раздражается над великими государствами, а порой и над малыми, забытыми богом. Но Божья буря не щадит никого. Ни великих, ни малых. Славно видеть, как надвигается Божья буря!

О ты, Божья буря, ты, благословенный шквал Господний, промчись над землей! Все живое, глаголющее в воздухе и в воде! Внемлите, ужасайтесь! Пусть грянет гром небесный! Пусть Божья буря вселяет страх! Пусть грозные шквалы пронесутся над этим краем, сметая шаткие стены, взламывая заржавелые замки и обрушивая на землю покосившиеся дома!

Страх овладеет всей округой! Маленькие птичьи гнезда, утратив опору, упадут с ветвей. С ужасающим шумом свалится на землю гнездо ястреба с вершины сосны. Страшный вихрь, завывая, достанет своим языком дракона даже гнездо филина в горной расселине.

Мы думаем, что у нас все хорошо, но это не так. Нам нужна Божья буря. Я понимаю это и не жалею. Я хочу только одного, чтобы мне дали добраться к моей матери.

Внезапно она сникла.

– А теперь, молодая графиня, уходите! – говорит она. – У меня нет больше времени! Мне пора отправляться в путь. Теперь уходите и опасайтесь тех, кто скачет верхом на грозных тучах!

И она возобновляет свое странствие. Щеки ее обвисают, взор снова устремлен внутрь. Графиня и фру Шарлинг вынуждены оставить ее.

Как только они опять смешались с толпой танцующих, молодая графиня тут же подошла к Йёсте Берлингу.

– Привет вам, господин Берлинг, от майорши, – говорит она. – Майорша ждет, что вы, господин Берлинг, вызволите ее из темницы.

– В таком случае ей придется долго ждать, графиня!

– О, помогите ей, господин Берлинг!

Йёста мрачно смотрит прямо перед собой.

– Нет, – говорит он. – С какой стати я должен ей помогать? Разве я обязан ей благодарностью? Все, что она сделала для меня, послужило лишь моей гибели.

– Но, господин Берлинг...

– Если бы не она, – запальчиво говорит он, – я бы давным-давно спал вечным сном там, на севере – в вечных лесах. Неужто я должен рисковать жизнью из-за того, что она сделала меня кавалером в Экебю? Уж не думаете ли вы, графиня, что подобное звание приносит мне громкую славу?

Молодая графиня, не говоря ни слова, отворачивается от него. Ее обуревают гнев.

Она возвращается к своему месту, преисполненная горьких мыслей о кавалерах. Они явились сюда с валторнами и скрипками, намереваясь водить смычком по струнам до тех пор, пока конский волос, из которого они сработаны, не изотрется, и ничуть не думая о том, что веселые звуки музыки доносятся и до жалкой темницы, где майорша сидит под стражей. Они явились сюда, чтобы танцевать до тех пор, пока подошвы их башмаков не обратятся в прах. Они и думать не думают о том, что их старая благодетельница может увидеть их тени, мелькающие за запотевшими стеклами.

Ах, каким серым и омерзительным стал окружающий майоршу мир! Ах, какая страшная тень беды и жестокости омрачила душу молодой графини!

Через некоторое время Йёста подходит к графине и приглашает ее танцевать.

Она резко отказывает ему.

– Вы не желаете танцевать со мной, графиня? – спрашивает он, и лицо его при этом багровеет.

– Ни с вами, ни с одним другим кавалером из Экебю, – отрезает она.

– Стало быть, мы не достойны такой чести?

– Дело вовсе не в чести, господин Берлинг. Просто я не испытываю ни малейшего удовольствия в танцах с теми, кто забывает все заповеди благодарности.

Йёста резко поворачивается на каблуках и уходит.

Эту сцену слышат и видят многие. Все считают, что графиня права. Неблагодарность и бессердечие кавалеров по отношению к майорше вызвали всеобщее негодование.

Но в те дни Йёста – опаснее любого хищного зверя в лесу. С тех пор как он вернулся с охоты и не нашел Марианны, сердце его превратилось в открытую кровоточащую рану. Его обуревают неистребимое желание нанести кому-нибудь кровную обиду, а также желание сеять повсюду горе и муки.

«Что ж, если молодой графине угодно, пусть будет так, – говорит он самому себе. – Но и ей придется поплатиться за это». Молодой графине по душе похищения. Что ж, такое удовольствие ей можно доставить. И он тоже не возражает против нового приключения. Целых восемь дней он ходил, страдая из-за женщины. Это довольно долго для него. Он подзывает полковника Бееренкройца и могучего капитана Кристиана Берга, а также ленивого кузена Кристофера, которые никогда не могут устоять против самых безрассудных приключений, и держит с ними совет, как достойно отомстить за поруганную честь кавалерского флигеля.

И вот наконец праздник подходит к концу. Длинная вереница саней въезжает в усадьбу. Мужчины облачаются в шубы. Дамы с трудом отыскивают свою теплую одежду в отчаянном беспорядке гардеробной.

Молодая графиня торопится как можно скорее уехать с этого ненавистного бала. Она успевает одеться раньше других дам. Она уже стоит посреди гардеробной и смотрит, улыбаясь, на всеобщую суматоху, когда внезапно двери распахиваются и на пороге появляется Йёста Берлинг.

Ни один мужчина не имеет права входить в эту комнату. Пожилые дамы уже сняли свои нарядные чепцы и стоят, обнажив редкие волосы. А молодые подвернули под шубами подола платьев, чтобы накрахмаленные воланы не смялись в санях.

Однако же, не обращая ни малейшего внимания на панические, останавливающие его возгласы, Йёста Берлинг бросается к графине и хватает ее.

Подняв графиню на руки, он стремительно кидается из гардеробной в прихожую, а оттуда на лестницу.

Его не могут остановить крики испуганных женщин. Те, что бегут за ним следом, видят лишь, как он бросается в сани, держа в объятиях графиню.

Они слышат, как кучер шелкает кнутом, и видят, как стремительно рвется с места конь. Они знают кучера, это – Бееренкройц. Они знают коня, это – Дон Жуан. И, глубоко опечаленные судьбой графини, дамы зовут мужчин.

Не теряя времени на долгие расспросы, те бросаются к саням и с графом во главе мчатся вдогонку за похитителем.

А он лежит в санях, крепко держа молодую графиню. Позабыв все горести, он, хмельной от пьянящей радости приключения, во все горло распевает песню о любви и розах.

Он крепко прижимает к себе графиню, хотя она и не делает ни малейшей попытки вырваться. Ее лицо, бледное и окаменевшее, прижато к его груди.

Ну что остается делать мужчине, когда так близко от себя он видит бледное, беспомощное лицо, видит откинутые назад светлые волосы, обычно прикрывающие белый, сверкающий лоб, и тяжелые веки, прячущие плутовские искорки в серых глазах?!

Что остается делать мужчине, когда алые уста блекнут у него на глазах?!

Целовать, конечно же, целовать и блекнувшие уста, и сомкнутые веки, и белый лоб!

Но тут молодая женщина приходит в себя. Она пытается вырваться из объятий Йёсты. Она извивается, как угорь, она вся – натянутая пружина. И ему изо всех сил приходится

боротся с ней, чтоб она не выбросилась на дорогу, пока он не принуждает ее, усмиренную и дрожащую, забиться в угол саней.

– Посмотри-ка! – с невозмутимым спокойствием говорит Йёста Бееренкройцу. – Графиня – уже третья, кого мы с Дон Жуаном возим в санях нынешней зимой. Но те две висли у меня на шее и осыпали поцелуями, а эта не желает ни танцевать со мной, ни целоваться. Можешь ты понять этих женщин, Бееренкройц?

Когда Йёста съехал со двора, сопровождаемый криками женщин и проклятьями мужчин, звоном бубенцов и шелканьем хлыста, а все вокруг слилось в один сплошной вопль и пришло в страшнейшее смятение, стражам майорши тоже стало как-то не по себе.

«Что там происходит? – думали они. – Чего все так кричат?»

Внезапно двери распахнулись, и чей-то голос крикнул им:

– Она уехала! Он увез ее!

Вскочив на ноги, стражи, совершенно потеряв голову, кинулись бежать, не поглядев даже – майоршу ли увезли или кого-нибудь другого. К счастью, им даже удалось вскочить в какие-то стремительно проносившиеся мимо сани. Они проехали довольно далеко, прежде чем узнали, за кем гонятся.

Между тем капитан Берг и кузен Кристофер спокойно подошли к ткацкой, взломали замок и открыли дверь.

– Фру майорша, вы свободны! – сказали они.

Она вышла из своей темницы. Они стояли, прямые как палки, по обе стороны двери и не смотрели на нее.

– Лошадь и сани поданы, фру майорша!

Тогда она вышла во двор, села в сани и укатила. Никто за ней не гнался. Никто не знал, куда она поехала.

Тем временем Дон Жуан, миновав Брубю, мчится уже под гору, к скованному льдом Лёвену. Величавый и гордый рысак летит стрелой. Бодрящий, холодный как лед ветер обвеивает щеки, свистит в ушах ездоков. Звенят бубенцы. Сияют луна и звезды. Голубовато-белый снежный покров мерцает волшебным блеском.

Йёста чувствует, что в душе его пробуждаются поэтические струны.

– Смотри, Бееренкройц, вот это жизнь! Точно так же как Дон Жуан мчит эту молодую женщину, так летит и время, унося с собой человека. Ты – неизбежная необходимость, которая направляет наш путь. Я – желание, которое обуздывает волю. А она – бессильная жертва, которая падает все ниже и ниже.

– Перестань болтать! – взревел Бееренкройц. – Нас нагоняют!

И внезапным ударом кнута он подстрекает Дон Жуана, вынуждая его скакать все быстрее и быстрее.

– Там – волки, здесь – добыча! – восклицает Йёста. – Дон Жуан, мой мальчик, представь себе, что ты – молодой лось! Проносись через заросли, переходи вброд болото, прыгай с вершины горного хребта вниз в прозрачное озеро, переплывай его с горделиво поднятой головой и тут же исчезни! Исчезни в спасительном мраке елового леса! Беги, Дон Жуан, старый похититель женщин! Беги, как молодой лось!

Бешеная скачка наполняет радостью неистовое сердце Йёсты. Крики преследователей для него все равно что песнь торжества. Радость переполняет неистовое сердце Йёсты, когда он чувствует, как дрожит всем телом от ужаса графиня. И когда он слышит, как стучат ее зубы!

Внезапно железные объятия, в которых Йёста держал молодую женщину, разжимаются. Он становится во весь рост в санях, размахивая шапкой.

– Я – Йёста Берлинг! – кричит он. – Обладатель десяти тысяч поцелуев и тридцати тысяч любовных писем! Ура Йёсте Берлингу! Пусть поймают его тот, кто сможет!

И в следующий миг он уже шепчет на ухо графине:

– Разве не хороша эта прогулка? Не правда ли, настоящая королевская прогулка? По ту сторону Лёвена простирается Венерн, а за Венерном – море. И повсюду – бескрайние просторы прозрачного иссиня-черного льда, а там, еще дальше, – целый сверкающий мир. Наплывающий грохот ломающихся льдин, пронзительные крики за нашей спиной, падающие звезды в вышине и звон бубенцов! Вперед! Вперед и только вперед! Не угодно ли вам вкусить всю радость этой прогулки, моя юная, прекрасная дама?

Он снова выпустил ее из рук. Она резко отталкивает его от себя.

В следующий миг он уже стоит на коленях у ее ног.

– Я негодай, негодай! Но вам, графиня, не следовало дразнить меня. Вы стояли там предомной такая гордая, прелестная! И даже не подозревали, что грозная длань кавалера может протянуться и к вам. Вас любят и небо, и земля! И вы не должны отягощать бремя тех, кого презирают и небо, и земля!

Он хватает ее руки и подносит их к лицу.

– Если бы вы только знали, – говорит он, – что значит чувствовать себя отверженным! Тут уж не спрашиваешь самого себя – хорошо ли ты поступаешь или плохо. Тут уж не до вопросов!

В тот же миг он замечает, что руки у нее голые. Он вытаскивает из кармана огромные меховые рукавицы и надевает их на ее ручки.

Сделав это, он вдруг успокаивается и садится в санях как можно дальше от молодой графини.

– Вам нечего бояться, графиня, – говорит он. – Разве вы не видите, куда мы едем? Вы ведь можете понять, что мы никогда не посмеем причинить вам зла!

И вот она, почти обезумевшая от ужаса, видит, что они уже переехали озеро и что Дон Жуан с трудом поднимается по крутому холму к Боргу.

Дон Жуан останавливается у самой лестницы, ведущей в графскую усадьбу, и кавалеры помогают графине выбраться из саней у ворот ее родного дома.

Окруженная толпой выбежавших ей навстречу слуг, она вновь обретает силу духа и разума.

– Позаботься о лошади, Андерссон! – говорит она своему кучеру. – Надеюсь, господа, которые привезли меня, будут столь любезны, что зайдут к нам в дом? Граф скоро приедет!

– Как вам угодно, графиня! – соглашается Йёста и тотчас же выходит из саней.

Ни минуты не колеблясь, Бееренкройц бросает вожжи. Молодая графиня идет впереди и с плохо скрываемым злорадством указывает им дорогу в зал.

Графиня, несомненно, полагала, что кавалеры станут колебаться – принять ли им приглашение дожидаться графа.

А приняли они ее приглашение, не зная, как строг и справедлив ее муж. Потому-то они и не побоялись розыска, который он учинит им. Ведь они насильно схватили ее и увезли. Ей хочется услышать, как он запретит им навсегда переступить порог ее дома.

Ей захочется видеть, как муж призовет слуг и прикажет им не пускать этих людей в ворота Борга. Ей хочется услышать, как он выразит незванным гостям свое презрение не только за причиненное ей зло, но и за их недостойное поведение в отношении старой майорши, их благодетельницы.

Он, столь снисходительный и нежный с ней, наверняка ополчится со всей своей суровой строгостью на ее обидчиков. Любовь придаст огня его речам. Ведь он бережет ее, считает самым утонченным и возвышенным чувством на свете. И не потерпит, чтобы такие оголтелые грубияны набрасывались на нее, словно хищные птицы на воробья. Она пылала жаждой мести.

Однако же Бееренкройц – полковник с густыми седыми усами – бесстрашно вошел в столовую и устремился прямо к пылающему камину, который велено было всегда зажигать к ее возвращению с балов и приемов.

Йёста остался в темноте, у двери, и молча смотрел на графиню, когда лакей помогал ей снять шубу. И вот у него вдруг стало так радостно на сердце, как не бывало уже много-много лет. Хотя он и сам не знал, как это его осенило, он понял вдруг, что у графини – прекраснейшая душа. Это было ему ясно как божий день, это было истинным откровением для него.

Пока еще душа ее томилась в оковах и дремала, но она вот-вот очнется и проявит себя. Он так радовался, что открыл всю эту чистоту, кротость и невинность, таившиеся в святой святой ее души! Он готов был даже посмеяться над ней за ее негодующий вид, пылающие щеки и нахмуренные брови.

«Ты и сама не знаешь, до чего же ты мила и добра», – думал он.

Та сторона ее существа, которая была обращена к видимому, внешнему миру, никогда не сможет оценить по достоинству ее внутреннее «я». Но он, Йёста Берлинг, с этого часа должен служить ей так, как служат всему прекрасному и божественному. И незачем ему раскаиваться, что совсем недавно он так ужасно обошелся с ней. Не дрожи она так от страха, не оттолкни его так резко, не почувствуй он, как все ее существо встревожено его грубостью, ему никогда бы не узнать, сколь утонченна и благородна ее душа.

Никогда бы раньше он о ней этого не подумал. Ведь ему казалось, что она любила лишь танцы да увеселения. И кроме того, ведь ее угораздило выйти замуж за этого глупого графа Хенрика!

Да, это так. Но теперь он будет ее рабом до самой своей смерти, ее верным рабом, и никем иным, как говаривал, бывало, капитан Кристиан.

Йёста Берлинг, сидя у дверей и сложив руки, совершал своего рода богослужение. С того самого дня, когда он впервые почувствовал, как его осенило пылающее пламя вдохновения, он не знал подобной святости в душе. Ничто не могло помешать ему, хотя появился уже сам граф Дона со множеством людей, осыпавших проклятиями кавалеров, шалости которых приводили всех в ужасное негодование.

Он предоставил Бееренкройцу честь принять на себя первый удар. А тот, закаленный во множестве приключений, с невозмутимым спокойствием стоял у камина. Поставив ногу на решетку камина, опершись локтем о колено и подперев подбородок рукой, он смотрел на ввергнувшихся в столовую людей.

– Что все это значит? – взревел, обращаясь к нему, щупленький граф.

– Это значит, – ответил тот, – что пока на свете существуют женщины, будут существовать и сумасброды, которые пляшут под их дудку.

Молодой граф побагровел.

– Я спрашиваю, что это значит? – повторил он.

– Я тоже спрашиваю, что это значит?! – презрительно усмехаясь, ответил Бееренкройц. – Я спрашиваю, почему ваша супруга, граф Хенрик Дона, не пожелала танцевать с Йёстой Берлингом?

Граф вопрошающе обернулся к жене.

– Я не могла этого сделать, Хенрик! – воскликнула она. – Я не могла танцевать ни с ним и ни с одним из кавалеров. Я думала о майорше, ведь это они допустили, чтоб она томилась под стражей.

Маленький граф еще больше выпрямил свой негнувшийся стан и еще выше поднял свою старческую голову.

– Мы, кавалеры, – заявил Бееренкройц, – никому не позволяем бесчестить нас. Тот, кто не желает танцевать с нами, должен прокатиться с нами в санях! Графине не причинен ни малейший ущерб, и потому с этим делом можно покончить.

– Нет! – возразил граф. – Нельзя с ним покончить! За поступки своей супруги отвечаю я. А теперь я спрашиваю, почему вы, Йёста Берлинг, не обратились ко мне, чтобы получить сатисфакцию за нанесенную вам обиду, коль скоро моя жена оскорбила вас?

Бееренкройц улыбнулся.

– Я спрашиваю вас! – повторил граф.

– Когда с лиса хотят содрать шкуру, у него не спрашивают позволения на это.

Граф приложил руку к своей узкой груди.

– Я слышу справедливым человеком! – воскликнул он. – Я – судья своим слугам. Почему же я не могу быть судьей и собственной жене! Кавалеры не вправе судить ее! Наказание, которому они подвергли ее, я не признаю. Можете считать, что этого наказания никогда и не было, господа! Его вовсе и не было!

Граф выкрикнул все эти слова высочайшим фальцетом. Бееренкройц окинул быстрым взглядом собравшихся. Среди них – а там присутствовали и Синтрам, и Даниель Бендикс, и Дальберг, и много других людей – не было ни одного из сопровождавших графа в погоне за женой, кто бы не ухмылялся тому, как полковник одурачил глупого Хенрика Дона.

Молодая же графиня не сразу поняла, что происходит. Чего, собственно говоря, ее муж не признает? И чего вовсе не было? Уж не ее ли страхов, уж не железных ли рук Йёсты, обхвативших ее хрупкое тело, его дикого пения, бессвязных речей, безумных поцелуев? Неужто этого вовсе не было? Неужто в этот вечер не было ничего, неподвластного серой богине сумерек?

– Но, Хенрик...

– Молчать! – воскликнул он. И опять выпрямился, чтобы произнести обвинительную речь в ее адрес. – Горе тебе, женщина, вознамерившаяся стать судьей мужчин! – сказал он. – Горе тебе, что ты – моя жена – смеешь оскорблять того, кому я охотно пожимаю руку! Какое тебе дело до того, что кавалеры посадили майоршу под стражу? Разве они были не вправе это сделать? Никогда тебе не понять, какой гнев охватывает душу мужчины, когда он слышит о супружеской неверности! Уж не намерена ли ты сама ступить на этот дурной путь, раз ты берешь под защиту такую женщину?!

– Но, Хенрик...

Она плачет, как ребенок, протягивая руки, словно для того, чтобы отвратить от себя злобные слова мужа. Возможно, она никогда прежде не слышала таких суровых слов, обращенных к ней. Она была так беспомощна среди этих суровых мужчин! А теперь еще ее единственный защитник ополчился на нее! Никогда больше ее сердце не найдет в себе силы озарять мир!

– Но, Хенрик, кто, как не ты, должен защищать меня!

Внимание Йёсты Берлинга к тому, что происходило, пробудилось лишь теперь, когда было уже слишком поздно. По правде говоря, он и сам не знал, что ему делать. Он так желал ей добра! Но он не смел стать между мужем и женой.

– А где Йёста Берлинг? – спросил граф.

– Здесь! – ответил Йёста, сделав жалкую попытку обратить все в шутку. – Вы, граф, кажется, держали здесь речь, а я заснул. Что вы скажете, граф, если мы поедem сейчас домой, а вы тоже сможете пойти и лечь спать?

– Йёста Берлинг, поскольку моя супруга, графиня, отказалась танцевать с тобой, я велю ей поцеловать твою руку и попросить у тебя прощения.

– Мой дорогой граф Хенрик, – сказал, улыбаясь, Йёста. – Молодой женщине не подобает целовать руку мужчине. Вчера рука моя была красной от крови подстреленного лося, а ночью – черной от сажи после драки с углежогом. Вы, граф, вынесли благородный и великодушный приговор. Я удовлетворен им. Идем, Бееренкройц!

Граф преградил ему путь.

– Не уходи! – сказал он. – Моя жена должна меня слушаться. Я желаю, чтобы моя супруга поняла, к чему приводит своеволие.

Йёста растерянно остановился. Графиня стояла бледная как смерть, но она даже не шевельнулась.

– Подойди к нему! – сурово приказал ей граф.

– Хенрик! Я не могу!

– Можешь! – еще более сурово произнес граф. – Можешь. Но я знаю, тебе хочется заставить меня драться с этим человеком. Потому что ты по какой-то своей женской прихоти его не любишь. Ну что ж! Если ты не желаешь дать ему сатисфакцию, это сделаю я. Вам, женщинам, всегда необыкновенно приятно, если кого-нибудь убивают из-за вас. Ты совершила промах и не желаешь его искупить. Стало быть, я должен сделать это за тебя. Я буду драться на дуэли, графиня. И через несколько часов стану окровавленным трупом.

Она посмотрела на него долгим взглядом. И увидела своего мужа таким, каким он был на самом деле, – глупым, трусливым, надутым, высокомерным и тщеславным – одним словом, самым жалким из людей.

– Успокойся! – сказала она, став внезапно холодной как лед. – Я сделаю, что ты хочешь.

Но тут Йёста Берлинг совершенно утратил терпение.

– Нет, графиня, вы не сделаете этого! Нет, ни за что! Вы ведь всего-навсего дитя – слабое, невинное дитя, а вас заставляют целовать мою руку! У вас такая чистая, прекрасная душа! Никогда больше я не подойду к вам! О, никогда! Я приношу смерть всему доброму и невинному. Вы не должны прикасаться ко мне. Я трепещу перед вами, как огонь перед водой. Нет, вы не должны!

Он спрятал руки за спину.

– Для меня теперь это ровно ничего не значит, господин Берлинг. Теперь мне все безразлично. Я прошу у вас прощения. Я прошу вас, позвольте мне поцеловать вашу руку!

Йёста по-прежнему держал руки за спиной. Оценивая происходящее, он постепенно приближался к двери.

– Если ты не примешь извинение, которое предлагает тебе моя супруга, я буду драться с тобой, Йёста Берлинг. И кроме того, мне придется подвергнуть ее другой, еще более тяжелой каре.

Графиня пожала плечами.

– Он помешался от трусости, – прошептала она. Но тут же, повысив голос, воскликнула: – Пусть будет так! Для меня уже ровно ничего не значит, если я буду унижена. Именно этого, господин Берлинг, вы все время и хотели.

– Я хотел этого? – воскликнул Йёста. – Вы полагаете, что я этого хотел?! Ну а если у меня вообще не останется рук для того, чтобы их целовать, вы, верно, поймете, что я этого вовсе не хотел!

Бросившись к камину, он сунул свои руки в огонь. Их охватило пламя, кожа сморщилась, ногти затрещали. Но в тот же миг Бееренкройц схватил его за шиворот и непринужденно отшвырнул на пол. Йёста натолкнулся на стул и плюхнулся на него. Ему было стыдно за свою глупую выходку. Не подумает ли она, что с его стороны это лишь самонадеянное, пустое хвастовство? Поступить так в комнате, битком набитой людьми, означало выставить себя перед всеми глупым хвастуном. Ведь ему не угрожала и тень опасности.

Но не успел он подумать, что ему пора подняться со стула, как графиня уже стояла подле него на коленях. Схватив его обгорелые, покрытые сажей руки, она рассматривала их.

– Я поцелую их, непременно поцелую, как только они перестанут болеть и поправятся! – воскликнула она.

И слезы потоком заструились у нее из глаз, когда она увидела, как на обожженной коже его рук вздуваются пузыри.

Вот так он стал для нее воплощением неизведанного блаженства. Неужели подобное может еще свершиться на этой земле?! Неужели такой подвиг может быть свершен ради нее?! Нет, подумать только, какой человек! Какой же это человек! Способный на все, великий как в добром, так и в злом; человек, свершающий славные, блистательные подвиги, произносящий

прекрасные, высокие слова! Он герой, истинный герой, созданный совсем из другого теста, чем все остальные! Раб минутного каприза, минутной радости, дикий и грозный, но обладающий бешеной, не останавливающейся ни перед чем силой!

Она была так подавлена весь этот вечер, не видя ничего, кроме горя, жестокости и трусости. Теперь все было забыто. Молодая графиня снова радовалась тому, что живет на свете. Богиня сумерек была побеждена. Молодая графиня снова увидела, что мир озарен ярким светом и блистает всеми красками.

Это случилось той же самой ночью, наверху, в кавалерском флигеле.

Громко крича, кавалеры призывали всяческие муки и проклятия на голову Йёсты Берлинга. Пожилые господа страшно хотели спать, но это было невозможно. Йёста не давал им ни минуты покоя. Тщетно задерживали они пологи, прикрывавшие кровати, тщетно гасили свечи. Он все равно болтал и болтал без умолку.

В данный момент он возвещал им, каким ангелом небесным была юная графиня и как он преклоняется перед ней. Он будет служить ей, обожать ее. Теперь он доволен, что все его прежние возлюбленные оставили его. Теперь он сможет посвятить ей всю свою жизнь. Она, разумеется, презирает его. Но он будет счастлив, если сможет как верный пес лежать у ее ног.

Обращали ли они когда-нибудь внимание на остров Лагён на озере Лёвен? Видели ли они его с юга, где шероховатая скала круто поднимается из воды? Видели ли они его с севера, где скала покатым склоном мирно спускается в озеро? И где узкие песчаные отмели, поросшие высоченными чудесными елями, извиваются вдоль прибрежной кромки воды, образуя причудливейшие мелкие озерца? Там, на вершине крутой скалы, где еще сохранились развалины старинных укреплений морских разбойников, он построит для молодой графини замок, замок из мрамора. Он высечет прямо в скале широкие лестницы, которые будут спускаться к самому озеру и куда смогут причаливать украшенные вымпелами суда. В замке будут сверкающие залы и высокие башни с позолоченными шпилями и зубцами на стенах. Замок будет подобающим жилищем для молодой графини. Старая ветхая лачуга на мысе Борг недостойна даже того, чтобы туда хоть раз ступила ее нога.

Пока Йёста разглагольствовал так некоторое время, из-за пологов в желтую клетку то тут, то там стал раздаваться громкий храп. Но большинство кавалеров бранились и жаловались друг другу на Йёсту и его безрассудства.

– О люди, – торжественно говорит он им, – я вижу зеленую юдоль земную, покрытую творениями рук человеческих либо руинами их бывших творений. Пирамиды отягощают эту землю, башня Вавилонская пронзила облака, великолепные храмы и серые замки поднялись из руин. Но разве есть что-либо на свете, построенное руками человеческими, что не разрушится бы или не разрушится когда-нибудь? О люди, бросьте лопатку каменщика и форму для отливки глины! Накиньте лучше фартук каменщика на голову, ложитесь на землю и стройте светлые замки мечтаний! Зачем вашей душе храмы из камня и глины? Учитесь строить вечные, нетленные замки, сотканые из видений и мечтаний!

С этими словами он, смеясь, лег спать.

Когда вскоре после этого графиня узнала, что майорша освобождена, она пригласила всех кавалеров к себе на обед.

С этого и началась долгая дружба между ней и Йёстой Берлингом.

Глава одиннадцатая

Страшные истории

О, дети нынешних лет!

Я не могу поведать вам ничего нового, разве что старые, почти забытые истории. Предания и легенды эти я слышала еще в детской, когда мы, малыши, сидели на низеньких скамеечках вокруг сказительницы с седыми волосами. Я слышала их у яркого пламени очага в горнице, где беседовали меж собой работники и торпари. Пар шел от их мокрой одежды, а они вытаскивали ножи из висевших на шее кожаных чехлов и намазывали ими масло на толстые ломти свежего хлеба. Я слышала эти предания и легенды в зале, где пожилые господа, сидя в креслах-качалках, взбодренные горячим, дымящимся пуншем, рассказывали о минувших временах.

И если такому ребенку, наслушавшемуся историй сказительницы, работников и пожилых господ, доводилось зимним вечером заглянуть в окно, он видел на краю небосклона вовсе не тучи. Облака становились кавалерами, мчавшимися по тверди небесной в своих шатких одноколках, звезды – восковыми свечами, зажившимися в старинном графском поместье на мысе Борг. А педаль прялки, жужжавшей в соседней комнате, попирала в его воображении нога старой Ульрики Дильнер. Потому что голова ребенка была забита образами людей минувших лет. Ими он жил и о них мечтал.

Но стоило такого ребенка, душа которого была насыщена преданиями и легендами, послать на темный чердак, в заповедную кладовую за льном или сухарями, его маленькие ножки начинали торопиться. И тогда он стремительно слетал вниз по лестнице и через прихожую в кухню. Ведь там, наверху, в темноте, ему невольно приходили на ум все старые истории, слышанные им о злом заводчике из Форса, который вступил в сговор с дьяволом.

Прах злого Синтрама уже давным-давно покоится на кладбище в Свартшё, но никто не верит, что душа его призвана к Богу, как это написано на надгробном камне.

При жизни он был одним из тех, к дому которого в долгие дождливые воскресные дни подъезжала иногда тяжелая карета, запряженная черными лошадьми. Одетый в черное элегантный господин выходил тогда из экипажа и помогал игрой в карты и кости коротать тягостные послеобеденные часы, которые своим однообразием приводили хозяина дома в отчаяние. Игра затягивалась далеко за полночь, а когда незнакомец на рассвете покидал дом, он всегда оставлял после себя какой-нибудь прощальный подарок, приносящий несчастье.

До тех пор пока Синтрам жил на земле, он был одним из тех, чье прибытие всегда предвещали духи. Появлению таких людей всегда предшествовала разная нечисть: въезжали в усадьбу экипажи, шелкали бичи, голоса духов слышались на лестнице, двери прихожей открывались и закрывались. От страшного шума просыпались люди и собаки. Но никто не появлялся. Это была лишь всякая нечисть, предшествовавшая появлению таких людей.

Просто невероятно, какой ужас испытывали те, кого навещали злые духи! А что за огромный черный пес появлялся в Форсе во времена Синтрама?! У него были страшные искрящиеся глаза и окровавленный язык, свисавший из тяжело дышащей пасти. Однажды, как раз когда работники были на поварне и обедали там, пес начал скрестись в дверь. И все служанки закричали от ужаса. Но самый рослый и самый сильный из работников вытащил из очага горящую головню, распахнул дверь и швырнул головню прямо в пасть псу.

И тогда пес удрал со страшным воем, из его пасти валили пламя и дым, вокруг него вихрем кружились искры, а следы его лап на дороге сверкали, как огонь.

А разве не ужасно то, что всякий раз, когда заводчик возвращался домой из поездки, упряжка его была просто неузнаваема? Уезжал он на лошадях, а возвращался ночью в экипаже, запряженном черными волами. Люди, жившие близ проселочной дороги, не раз видели, как на

ночном небе вырисовывались огромные черные рога, когда он проезжал мимо. Они слышали мычание животных и ужасались длинной веренице искр, высекаемых из сухого гравия копытами волов и колесами экипажа.

Да, маленьким ножкам приходилось торопиться, чтоб побыстрее пересечь большой темный чердак. Подумать только, а что, если такое страшилище, если тот, чье имя и произнести-то нельзя, вдруг появится на чердаке из темного угла? Разве можно быть уверенным, что это не случится?! Ведь он являлся не одним только злодеям. Разве Ульрика Дильнер не видела его?! И она, и Анна Шернхёк могли бы поведать о том, как им довелось увидеть его.

Друзья мои, дети человеческие! Все, кто танцует, все, кто смеется! Прошу вас от всего сердца: танцуйте осторожно, смейтесь потише! Ведь столько несчастий может произойти оттого, что ваши атласные башмачки на тоненькой подошве вместо твердых половиц могут попирать чье-либо чувствительное сердце. А ваш веселый серебристый смех довести кого-нибудь до отчаяния.

Так наверняка однажды и случилось. Видно, ножки молодых девиц слишком жестко попирали сердце старой Ульрики Дильнер, а их надменный смех слишком резал ее слух. Но только внезапно ею овладело непреодолимое и страстное желание стать замужней женщиной со всеми ее титулами и преимуществами положения. И вот в конце концов она благосклонно отнеслась к затянувшемуся сватовству злого Синтрама, дала согласие на брак с ним и переехала к нему в Форс. Так она рассталась со старыми друзьями из Берги, с милыми ее сердцу хлопотами по хозяйству и вечными заботами о хлебе насущном.

Этот брак состоялся быстро и весело. Синтрам посватался на Рождество, а в феврале сыграли свадьбу. В тот год Анна Шернхёк жила в доме капитана Угглы. Она могла прекрасно заменить старую Ульрику, и та без всяких угрызений совести могла уехать из Берги – завоевывать титул жены и хозяйки.

Без угрызений совести, но не без некоторого раскаяния. Усадьба, куда она перебралась, была не самым лучшим местом на свете; в огромных пустых комнатах было страшно и жутко. Как только темнело, Ульрика начинала дрожать от ужаса. Она просто погибала от тоски по своему старому дому.

Но самыми невыносимыми были долгие послеобеденные часы в воскресенье. Часы эти тянулись бесконечно, точно так же как и длинная вереница мыслей в голове Ульрики.

И вот однажды в марте, когда Синтрам не вернулся домой к обеду, случилось так, что она поднялась в гостиную на верхнем этаже и села за клавикорды. Это было ее последнее утешение. Клавикорды с изображенными на белой крышке флейтистом и пастушкой были ее собственные, унаследованные из родного дома. Клавикордам она могла поведать все свои беды, они понимали ее.

Ну разве это не жалкое и в то же время не смешное зрелище? Знаете, что она играет? Всего-навсего веселую польку! И это она, чье сердце так удручено!

Больше она ничего играть не умеет. Еще до того, как пальцы ее перестали сгибаться от мутовки, которой она взбалтывала муку с водою или молоком, либо от большого ножа для жаркого, ей довелось выучить только эту одну-единственную пьесу. Эта полька так твердо заучена, что пальцы Ульрики сами ее играют. Но никакой другой музыкальной пьесы она не знает – ни траурного марша, ни исполненной страсти сонаты, ни даже жалобной народной песни. Она играет только польку.

Она играет ее всякий раз, когда ей есть что доверить старым клавикордам. Она играет ее и тогда, когда хочется плакать и когда хочется смеяться. Она играла эту польку, когда справляла свою свадьбу. И тогда, когда впервые вошла в собственный дом; точно так же она играет ее и теперь.

Старые клавиши, верно, хорошо понимают ее: она несчастна, несчастна до мозга костей.

Проезжающий мимо путник, слышав звуки польки, может подумать, что в доме злого заводчика дают бал соседям и родственникам, так весело звучит там музыка. У этой польки невероятно задорная и веселая мелодия. Играя эту польку, Ульрика в минувшие дни заманивала беззаботность в Бергу и изгоняла оттуда голод. Когда раздавались звуки этой польки, все тут же пускались в пляс. Полька исцеляла ревматизм, сковывавший суставы, и вовлекала в пляс восьмидесятилетних кавалеров. Чудилось, будто весь мир хочет танцевать под эту польку, – так весело она звучала. Однако же теперь, играя эту пьесу, старая Ульрика плакала.

Вокруг нее – одни лишь насупленные, ворчливые слуги и злобные животные. Она тоскует по дружелюбным лицам и ласковым улыбкам. Всю эту отчаянную тоску и должна была передать веселая полька.

Людам трудно свыкнуться с тем, что она теперь – фру Синтрам. Все, как и прежде, называют ее мамзель Дильнер. Видите ли, некоторые даже думают, что веселая мелодия польки выражает ее раскаяние в том, что тщеславие подстрекнуло ее погнаться за титулом и положением жены.

Старая Ульрика играет так, словно хочет, чтобы лопнули струны клавинордов. Сколько всего должны заглушить звуки польки: жалобные крики нищих крестьян, проклятия изнуренных торпарей, презрительный смех строптивых слуг и прежде всего – стыд, стыд за то, что она – жена злого человека.

Под эти звуки Йёста Берлинг вел в танце юную графиню Дону. Марианна Синклер и ее бесчисленные поклонники танцевали под эту польку; и майорша из Экебю двигалась в такт этой музыке, когда был жив еще красавец Альтрингер. Ульрика мысленно видит их всех, пару за парой, соединенных молодостью и красотой, видит, как они вихрем проносятся мимо. Поток веселья струится от них к ней, а от нее к ним. Это от ее польки пылают их щеки и сияют их глаза. Теперь же от всего этого она отлучена! Так пусть же гремит эта полька! Сколько воспоминаний, сколько сладостных воспоминаний нужно ей заглушить!

Она играет, чтобы заглушить свой страх. Ведь сердце ее готово разорваться от ужаса, когда она видит черного пса, когда слышит, как слуги шепчутся про черных волов. Все снова и снова играет она польку, чтобы заглушить свой страх.

Но тут вдруг она замечает, что ее муж вернулся домой. Она слышит, как он входит в гостиную и садится в качалку. Она так хорошо различает покачивание кресла, когда от тесного соприкосновения с половицами скрипят полозья, что ей даже не нужно оборачиваться...

Она играет, а меж тем покачивание и поскрипывание продолжается. Она уже больше не слышит звуков музыки, а лишь покачивание и поскрипывание.

Бедная старая Ульрика, она так измучена, так одинока, так беспомощна; она сбилась с пути во вражеском стане. И у нее нет ни друга, которому можно пожаловаться, ни утешителя. У нее нет ничего, кроме старых дребезжащих клавинордов, которые в ответ на все ее сетования играют одну лишь польку!

Это все равно что смех во все горло на похоронах или застольная песня в церкви.

Кресло меж тем продолжает покачиваться и поскрипывать, но внезапно в ответ на ее сетования ей слышится, будто клавинорды смеются над ней. И посреди такта она умолкает. Поднявшись, она оглядывается.

И вот мгновение спустя она уже лежит на полу в полном беспомыслии. В качалке сидит вовсе не ее муж, а тот, другой, кого дети не смеют назвать по имени, тот, кто напугал бы их до смерти, встретить они его на безлюдном чердаке.

Может ли тот, чья голова с детства набита преданиями и легендами, избавиться когда-нибудь от их власти? На дворе воеет ночной ветер, фикус и олеандр хлещут жесткими листьями столбы, поддерживающие балкон, темный небесный свод высится над цепью гор. В комнате горит лампа, шторы подняты, а я сижу одиноко в ночи и пишу эти строки. Я уже стара и, казалось бы, умудрена годами, я чувствую, как по спине у меня пробегают точно такие же

мурашки, как и тогда, когда я впервые услышала эту историю. И мне приходится непрестанно отрывать глаза от работы, чтобы посмотреть, не вошел ли кто-нибудь в комнату и не спрятался ли там, в углу. Мне приходится заглядывать и на балкон, чтобы проверить, не просовывается ли голова черного пса сквозь решетку балкона. Страх, который просыпается от старых историй в часы, когда ночь особенно темна, а одиночество безысходно, никогда не покидает меня. И в конце концов он становится таким невероятным, таким огромным, что приходится отбросить перо, забраться в постель и накрыться с головой одеялом.

Величайшим, тайным чудом моего детства было то, что Ульрика Дильнер пережила этот страшный послеобеденный час. Я бы выжить не смогла.

К счастью, вскоре после этого в Форс приехала Анна Шернхёк; она нашла Ульрику на полу гостиной и снова вернула ее к жизни. Но со мной бы так благополучно не кончилось. Я бы уже была мертва.

Хочу пожелать вам, дорогие друзья, никогда не видеть слез на глазах старого человека. Хочу пожелать, чтобы вами никогда не овладевало чувство беспомощности, когда седая голова склоняется к вам на грудь, ища опоры, а старые руки обвивают ваши в немой мольбе. Пусть никогда не доведется вам увидеть старых людей в горе, которому вы не в силах помочь!

Что рядом с этим горькие жалобы молодых? Ведь молодые полны сил, полны надежды. Когда же плачут старики – это ужасное несчастье! Какое отчаяние охватывает вас, когда те, кто поддерживал вас в дни юности, поникают в бессильной скорби!

Анна Шернхёк сидела, слушая рассказ старой Ульрики, и не видела никакого средства спасти ее.

Старая женщина дрожала и плакала. Глаза ее дико блуждали по сторонам. Она все говорила и говорила, иногда так сбивчиво, словно не понимая, где она. Тысячи морщинок, избороздивших ее лицо, стали вдвое глубже, чем прежде. Накладные локоны, свесившиеся ей на глаза, распрямились от слез, а вся ее длинная, тощая фигура сотрясалась от рыданий.

Наконец Анне удалось положить конец ее сетованиям. Сама она между тем твердо решила: она заберет Ульрику с собой обратно в Бергу. Пусть она жена Синтрама, но жить в Форсе ей больше невозможно. Заводчик сведет ее с ума, если она останется с ним. Анна Шернхёк приняла решение увезти отсюда старую Ульрику.

О, как же радовалась бедняжка своему счастью и как ужасалась ему! Но, конечно, она не посмеет бросить мужа и дом. Ведь он может послать за ней вдогонку большого черного пса!

Но Анне Шернхёк удалось то шутками, то угрозами сломить ее сопротивление, и через полчаса Ульрика уже сидела рядом с ней в санях. Анна правила сама, а старая Диса тащила сани. Дорога была плохая, так как была уже вторая половина марта. Но старой Ульрике было хорошо ехать в знакомых санях, которые везла знакомая лошадь: ведь она верой и правдой служила в Берге по крайней мере ничуть не меньше времени, чем сама Ульрика.

Поскольку Ульрика, эта старая домашняя раба, обладала веселым нравом и неустрашимым духом, она перестала плакать уже тогда, когда они проезжали мимо Арвидсторпа. У Хёгберга она уже смеялась, а когда они проезжали мимо Мункебю, Ульрика начала рассказывать о том, как все было в дни ее юности, когда она служила у графини в усадьбе Сванехольм.

Они выехали на каменистую, перерезанную холмами дорогу в пустынных безлюдных краях к северу от Мункебю. Дорога взбиралась на все пригорки и холмы, которые находились поблизости и до которых она могла добраться; медленно извиваясь, влезала дорога на их вершины. А затем стремительно неслась вниз по крутому склону. Потом, выпрямившись изо всех сил, она торопливо бежала по ровной глади долины, для того чтобы тотчас найти новый крутой склон, на который она могла бы взобраться вновь.

Они как раз поднимались в гору у Вестраторпа, когда старая Ульрика, внезапно смолкнув, крепко схватила Анну за руку. Не спуская глаз с большого черного пса у обочины дороги, она сказала:

– Смотри!

Пес помчался в лесную чащу, и Анна не очень хорошо разглядела его.

– Гони! – крикнула Ульрика. – Гони что есть сил! Синтрам сейчас же получит весть о том, что я уехала!

Анна пыталась смехом рассеять ее страх, но Ульрика упрямо стояла на своем.

– Вот увидишь, скоро мы услышим звон бубенцов его лошади. Мы услышим этот звон прежде, чем поднимемся на вершину следующего холма.

И вот когда Диса на миг остановилась, чтобы перевести дух на вершине холма Элофсбаккен, под ними за их спиной раздался звон бубенцов.

Старая Ульрика совершенно обезумела от страха. Она дрожала, всхлипывала и сетовала, как недавно в гостинной Форса. Анна стала понукать Дису, но та лишь повернула голову и посмотрела на нее с невыразимым удивлением. Неужто она думает, что Диса забыла, когда надо бежать, а когда идти шагом? Неужто она собирается учить ее, как тащить сани, учить ее, которая знает здесь каждый камень, каждый холм, каждый мостик и каждые ворота уже более двадцати лет?

Между тем звон бубенцов все приближался.

– Это он, это он! Я узнаю звон его бубенцов! – причитает старая Ульрика.

Звон бубенцов все приближается. Порой он так неестественно громок, что Анна оборачивается и смотрит, касается ли морда лошади Синтрама ее саней. Порой звон бубенцов замолкает вдали. Они слышат его то справа, то слева от дороги, но не видят никаких ездовых. Кажется, будто их преследует лишь одинокий звон бубенцов.

Так бывает по ночам, когда возвращаешься домой из гостей, так было и теперь. Бубенцы названивают разные мелодии, они поют, разговаривают, отвечают. А лесное эхо вторит всему этому шуму. Анна Шернхёк почти желает, чтобы преследующие их наконец подъехали совсем близко и чтобы она увидела самого Синтрама и его рыжую лошадь. Ей становится жутко от этого ужасающего звона бубенцов.

– Эти бубенцы замучили меня, – говорит она.

И бубенцы тотчас подхватывают ее слова. «Измучили меня», – названивают они. «Измучили меня, измучили, измучили, измучили меня», – распевает они на разные лады.

Не так давно Анна ехала по этой самой дороге, преследуемая волками. Она видела в темноте, как в широко разинутых волчьих пастьях сверкали белые клыки, она думала тогда, что вот-вот она будет растерзана лесными хищниками, но тогда она не боялась. Более прекрасной ночи ей в жизни не выпадало. Могуч и прекрасен был конь, который вез ее, могуч и прекрасен был человек, деливший с ней все радости приключения.

А сейчас с ней – эта старая лошадь и эта старая, беспомощная, дрожащая спутница! Анна чувствует себя с ними такой же беспомощной, и ей хочется плакать. И некуда укрыться от этого ужасного, раздражающего звона бубенцов.

И вот она останавливает лошадь и выходит из саней. Этому надо положить конец. Зачем ей бежать, словно она страшится этого злого презренного негодяя?

Вдруг она видит, как из все сгущающегося мрака появляется лошадиная морда, за ней лошадиное туловище, потом целиком сани, а в санях – сам Синтрам.

Между тем она обращает внимание на то, что все они – и лошадь, и сани, и заводчик – появились вовсе не со стороны проселочной дороги. Скорее всего они были сотворены прямо здесь, у нее на глазах, и возникали из мрака.

Анна бросает вожжи Ульрике и идет навстречу Синтраму.

Он придерживает лошадь.

– Ну и ну, – говорит он, – и везет же мне, бедняге! Позвольте мне, дорогая фрёкен Шернхёк, пересадить моего спутника в ваши сани! Ему надо нынче вечером попасть в Бергу, а я тороплюсь домой.

– А где же ваш спутник, господин заводчик?

Синтрам отдергивает медвежью полость и указывает Анне на человека, спящего в санях.

– Он немного под хмельком, – говорит Синтрам, – но какое это имеет значение, он, верно, спит. А вообще-то, это ваш старый знакомый, фрёкен Шернхёк, это – Йёста Берлинг.

Анна вздрагивает.

– Ну, вот что я вам скажу, – продолжает Синтрам. – Тот, кто покидает своего возлюбленного, продает его тем самым дьяволу. Так и я когда-то попал в лапы дьявола. Некоторые, правда, думают, что так и надо поступать. Что отвергать, – это, мол, добро, а любить – зло.

– Что вы имеете в виду, господин заводчик? О чем вы говорите? – глубоко потрясенная, спросила Анна.

– Я имею в виду то, что вам не следовало допустить, чтоб Йёста Берлинг уехал от вас, фрёкен Анна.

– Так было угодно Богу, господин заводчик!

– Стало быть, так оно и есть: отвергать – добро, а любить – зло. Доброму Боженке не по душе, когда люди счастливы. Вот он и посылает им вслед волков. Ну а что, если это сделал не Бог, фрёкен Анна? Почему бы мне с таким же успехом не призвать с гор Доврефьелль моих маленьких серых ягнят, чтобы натравить их на молодого человека и девушку? Подумать только, а что, если это я подослал волков, так как не хотел терять ни одного из своих приспешников?! Подумать только, а что, если это сделал все же не Бог?!

– Вы не должны сеять сомнения в моей душе, – говорит Анна слабым голосом, – тогда я погибла.

– Взгляните-ка сюда, – говорит Синтрам, склоняясь над спящим Йёстой Берлингом, – взгляните-ка на его мизинец! Вот эта маленькая ранка никогда не заживет. Из нее мы взяли кровь, когда он подписывал со мной контракт. Он – мой! В крови заключена особая сила. Он – мой, и только любовь может освободить его. Но если мне удастся сохранить Йёсту для себя, он станет чудесным малым.

Анна Шернхёк борется изо всех сил, чтобы стряхнуть с себя колдовские чары. Это просто наваждение, настоящее наваждение. Никто не в силах отречься от собственной души и продать ее мерзкому искусителю. Но Анна не властна над своими мыслями, сумерки все сильнее давят на нее, а лес так мрачен и молчалив. Она не может избавиться от ужасающего страха этого вечернего часа.

– Быть может, вы считаете, – продолжает заводчик, – что в нем уже нечего губить? Не думайте так! Разве он мучил крестьян, разве изменял впавшим в нищету друзьям, разве вел нечестную игру? Разве, фрёкен Анна, разве он был когда-нибудь любовником замужней женщины?

– Я думаю, господин заводчик, что вы и есть сам нечистый!

– Давайте меняться, фрёкен Анна! Берите Йёсту Берлинга! Берите его и выходите за него замуж! Сохраните его для себя, а обитателям Берги дайте денег! Я отказываюсь от него ради вас, а вы ведь знаете, что он – мой. Подумайте о том, что не Бог послал вслед за вами волков той самой ночью, и давайте меняться!

– А что вы, патрон, попросите взамен?

Синтрам ухмыльнулся.

– Да, что я хочу попросить? О, я довольствуюсь самой малостью. Я хочу просить только эту старуху, которая сидит в ваших санях, фрёкен Анна.

– Сатана, искуситель! – кричит Анна. – Сгинь! Неужели я предам старого друга, который надеется на меня! Неужели я оставлю ее тебе, чтобы ты замучил ее, довел до безумия!

– Ну-ну-ну, спокойней, фрёкен Анна! Подумайте о сделке, которую я вам предлагаю! С одной стороны – чудесный молодой человек, с другой – изможденная старая карга. Либо он, либо она. Кого из них, фрёкен, вы отдаете мне?

Анна Шернхёк хохочет в полном отчаянии.

– Неужели вы, патрон, считаете, что мы так и будем стоять здесь и меняться душами точно так же, как меняются лошадыми на ярмарке в Брубю?

– Именно так, да. Но если вы, фрёкен Анна, желаете, мы устроим все это иначе. Нам надо подумать о чести имени Шернхёк.

Тут он начинает громким голосом звать жену, которая по-прежнему сидит в санях Анны. И, к неопишному ужасу девушки, Ульрика тотчас же вылезает из саней и, дрожа от страха, подходит к ним.

– Ну и ну, смотрите, какая послушная жена! – говорит Синтрам. – Но это не ваша заслуга, фрёкен Анна, что она подходит, когда ее зовет муж. А сейчас я вынесу Йёсту из саней и оставлю его здесь. Я оставляю его *навсегда*, фрёкен Анна. Пусть забирает его тот, кто захочет.

Синтрам наклоняется, чтобы вытащить Йёсту из саней, но тут Анна приближает голову чуть ли не к самому его лицу, впивается в злодея глазами и шипит, как разъяренный зверь:

– Во имя Бога, сейчас же поезжай домой! Ты что, не знаешь, кто сидит у тебя дома в гостинной, в качалке, и ждет тебя? Неужто ты заставишь ждать такого важного господина?

Изо всех кошмаров этого дня самым, пожалуй, ужасным было видеть, какое впечатление произвели ее слова на злобного Синтрама. Он хватается вожжи, поворачивает сани и несется домой, погоняя лошадь ударами хлыста и дикими криками. Лошадь несется во весь опор по ужасно крутому, опасному для жизни склону, меж тем как ее копыта и полозья саней высекают длинную вереницу искр на тонком мартовском насте.

Анна Шернхёк и Ульрика Дильнер остаются на дороге одни; они стоят, не произнося ни слова. Ульрика трепещет от безумного взгляда Анны, а той нечего сказать этой жалкой старухе, ради которой она пожертвовала любимым.

Ей хотелось плакать, бушевать, кататься по дороге, посыпая снегом и песком, словно прахом, голову.

Прежде она знала лишь сладость отречения, теперь она познала его горечь. Она пожертвовала своей любовью! Но даже это ничтожно по сравнению с тем, что она пожертвовала душой любимого!

Все так же молча поехали они в Бергу, но когда пред ними открылись двери зала, Анна Шернхёк в первый и единственный раз в жизни упала в обморок. Там, мирно беседуя, сидели вместе и Синтрам, и Йёста Берлинг. Перед ними стоял поднос с горячим пуншем. Они были здесь по крайней мере уже час.

Анна Шернхёк упала в обморок, но старая Ульрика сохраняла невозмутимое спокойствие. Она-то хорошо понимала, что *с тем, кто гнался за ними на проселочной дороге, было нечисто*. И вообще, без нечистой силы тут не обошлось.

Потом капитан и капитанша, став посредниками, договорились с заводчиком, что он дозволит старой Ульрике остаться в Берге. Тот с полной готовностью и вполне добродушно согласился, сказав, что вовсе не желает, чтоб она свихнулась.

О дети нынешних времен!

Я вовсе не требую, чтобы кто-нибудь из вас поверил старым историям! Они ведь всего-навсего ложь и вымысел. Ну а раскаянье и сожаления, которые не перестают тревожить сердце Ульрики, пока оно не начинает жаловаться и стонать, как жалуются и стонут скрипучие половицы под полозьями качалки в зале у Синтрама? Ну а сомнения, которые преследовали Анну Шернхёк, подобно бубенцам, назойливо звучащим в ее ушах в глухом лесу? Станут ли они также когда-нибудь ложью и вымыслом?

Глава двенадцатая История Эббы Доны

До чего же прекрасен мыс на восточном берегу Лёвена! Тот самый, изрезанный заливами, горделивый мыс, который омывают шаловливые волны и где расположено старинное поместье Борг.

И самый лучший вид на озеро Лёвен открывается только с вершины этого мыса. Но все же остерегайся ходить туда, на этот мыс!

Никто даже представить себе не может, до чего же прелестно озеро моих грез – Лёвен! Но это только до тех пор, пока с мыса Борг не увидишь, как над его гладкой, зеркальной поверхностью скользят утренние туманы. Или пока из окон маленького голубого кабинетика, где живет столько воспоминаний, не увидишь, как воды озера отражают бледно-розовый закат вечернего солнца.

И я снова и снова повторяю: не ходи туда!

Потому что, быть может, тебя охватит страстное желание остаться в этих печальных, видевших столько горя залах старинного поместья. Быть может, ты захочешь сделаться владельцем этого прелестного уголка земли. А если ты молод, богат и счастлив, то, подобно столь многим другим, ты захочешь основать там, на севере, вместе с молодой супругой собственный домашний очаг.

Нет, лучше не видеть этого прекрасного мыса, потому что в Борге *счастье* не уживается. И знай: как бы богат и счастлив ты ни был, стоит тебе переселиться сюда – и эти старые, пропитанные чужими слезами половицы оросятся и твоими собственными слезами. А эти стены, которые могли бы повторить столько жалоб и стенаний, примут и твои вздохи.

Кажется, будто какое-то тяжкое проклятие тяготеет над этим прекрасным поместьем. Кажется, будто здесь погребено само несчастье, которое, не находя покоя в могиле, постоянно восстает из нее, чтобы пугать ныне живущих. Будь я хозяйкой Борга, я бы велела обыскать и перекопать там все: и каменистую почву елового парка, и пол в погребе жилого дома, и плодородную землю на полях. Я велела бы копать до тех пор, пока не нашла бы источенный червями труп ведьмы и не похоронила бы его на освященной земле кладбища в Свартшё. А на похоронах я не пожалела бы денег на звонаря – пусть колокола долго и могуче звонят над нею. Да и пастору с пономарем я послала бы щедрые дары: пусть они, удвоив старания, надгробными речами и пением псалмов достойно предадут ее земле – на вечный покой.

А если бы и это не помогло, то однажды бурной, ненастной ночью я не стала бы преграждать путь пламени, приблизившемуся к шатким деревянным стенам. И позволила бы огню уничтожить все, чтобы ничто здесь не привлекало бы людей и чтоб им было неповадно снова селиться в этом гнездовье бед и несчастий. А потом уж ничья нога не ступала бы на это проклятое место. И одни лишь черные галки с церковной колокольни устроились бы здесь на новоселье в закопченной печной трубе, которая, словно жуткое пугало, возвышалась бы над безлюдным пепелищем.

Однако ж и я, конечно, испытала бы чувство страха, видя, как языки пламени охватывают крышу, как клубы густого дыма, багровые от зарева пожара и испещренные искрами, вырываются из старинного графского дома. Мне чудилось бы, что в треске и шуме пожара я слышу жалобы отныне бездомных воспоминаний, а в голубых языках пламени вижу парящие там потревоженные призраки. Я подумала бы о том, что горе преисполнено красоты, что несчастье украшает, и заплакала бы так, как если бы храм, посвященный древним богам, был стерт с лица земли.

Однако же... Тсс! Молчание! Не надо накликасть на себя несчастье! Ведь поместье Борг все еще стоит во всем своем великолепии на вершине мыса, защищенное парком могучих елей;

покрытые же снегом поля у ее подножия сверкают в резких, ослепительных лучах мартовского солнца. А в стенах старинного дома еще раздаётся громкий смех веселой графини Элисабет.

По воскресеньям молодая графиня ходит в церковь в Свартшё, недалеко от Борга, а затем у нее на обед собирается небольшое общество. У нее обычно бывают вместе с семьями и судья из Мункеруда, и капитан из Берги, и помощник пастора, да и злой Синтрам. Если же Йёсте Берлингу случается перебраться по льду Лёвена и появиться в Свартшё, она приглашает и его. А почему бы ей не пригласить и Йёсту Берлинга?

Она, верно, не знает, что молва уже начинает нашептывать, будто Йёста так часто перебирается на восточный берег озера, чтобы встретиться с ней. Может, он является сюда и для того, чтобы бражничать и играть в кости у Синтрама, но это никого особенно не волнует. Все знают, что тело Йёсты выковано из железа, чего никак не скажешь о его сердце. Но ни один человек на свете не думает, что Йёста в силах узреть хотя бы одну пару сияющих глаз или хотя бы одну светловолосую головку с кудрями, обрамляющими белый лоб, чтобы тут же не влюбиться.

Молодая графиня добра к нему. Но в этом нет ничего удивительного. Она добра ко всем. Оборванных нищих детишек она сажает к себе на колени, а если на проселочной дороге ей доведется проехать мимо какого-нибудь несчастного старика, она велит кучеру остановить лошадей и усаживает бедного пешехода в свои сани.

Йёста обычно сидит в маленьком голубом кабинетике, из окон которого открывается великолепный вид на озеро, и читает ей стихи. И в этом нет ничего дурного. Он не забывает, что она – графиня, а он – бездомный искатель приключений; но ему приятно общество женщины, столь недостижимой и столь священной для него. С таким же успехом, как и о графине, он может мечтать о том, чтобы влюбиться в царицу Савскую, изображение которой украшает балюстраду на хорах церкви в Свартшё.

Он страстно желает лишь одного: служить ей так, как паж служит своей высокопоставленной повелительнице: подвязывать ее коньки, держать моток ее ниток, править лошадьми, запряженными в ее сани. О любви между ними не может быть и речи, но он как раз из тех, кто находит свое счастье в невинных романтических мечтаниях.

Молодой граф молчалив и серьезен, Йёста же искрится весельем. Графиня и не желает себе лучшего общества, чем общество Йёсты. Никому, кто ее видит, и в голову не придет, что она скрывает в душе тайную, запретную любовь. Она думает лишь о танцах, о танцах и о веселье. Ей хочется, чтобы вся земля была одной сплошной равниной – без камней, без гор и морей, чтобы можно было всюду пройти танцуя. Всю жизнь – от колыбели до могилы – хочется ей протанцевать в узеньких атласных башмачках на тоненькой подошве.

Но молва не очень-то милосердна к молодым женщинам.

Когда в Борге у графини бывают гости, господа после обеда отправляются в кабинет графа – покурить и подремать. Пожилые же дамы обычно опускаются в кресла гостиной, приклонив свои почтенные головы к их высоким спинкам. Однако же графиня и Анна Шернхёк удаляются в голубой кабинет, где ведут нескончаемые доверительные беседы.

В следующее воскресенье после того, как Анна Шернхёк привезла Ульрику Дильнер обратно в Бергу, они снова сидели там.

Никого на свете нет несчастней этой молодой девушки. Куда девалась вся ее жизнерадостность, куда исчезла и веселая строптивость, которую она пускает в ход против всех и каждого, кто пытается подойти к ней слишком близко!

Все, что случилось с ней по дороге домой, кануло в ее сознании в сумерки, которые не без вмешательства колдовской силы и породили все эти события. У нее не осталось ни одного отчетливого впечатления, ни одного воспоминания.

Хотя нет – одно осталось, оно-то и отравляет ей душу.

– А если это сделал не Бог, – все снова и снова шепчет она самой себе, – а если это не Бог послал волков?

Она жаждет какого-нибудь знака, она жаждет чуда. Но сколько она ни смотрит, ни один указующий перст не высовывается из-за туч, дабы направить ее на путь истинный. И никакие блуждающие огоньки и смутные видения не ведут ее за собой.

Но тут, когда она сидит против графини в маленьком кабинете, взгляд ее падает на букетик голубых подснежников, который держит белая рука графини. И вдруг словно молния осеняет ее: она знает, где выросли эти подснежники, она знает, кто их собирал.

Ей не нужно ни о чем спрашивать. Где еще во всей округе цветут подснежники в самом начале апреля, как не в березовой роще на береговом откосе возле Экебю?

Она неотрывно смотрит на маленькие голубые звездочки цветов, на этих счастливиц, безраздельно владеющих сердцами людей. Она смотрит на этих маленьких пророчиц: сами – олицетворение красоты, они, кроме того, окружены сиянием всего самого прекрасного, что они же и предвещают, всего самого прекрасного, что должно наступить. И по мере того как она рассматривает эти цветочки, в ее душе закипает гнев, грохочущий, словно гром, ослепляющий, будто молния. «По какому праву, – думает она, – у графини Доны в руках этот букетик подснежников, собранных на берегу озера возле Экебю?»

Все они – искуители! Синтрам, графиня, все люди на свете хотят заманить Йёсту на путь зла, на путь несправедный. Но она защитит его, она защитит его от всех на свете искуителей. Она сделает все для него, если даже это будет стоить ей жизни.

Она думает, что, прежде чем она уйдет из маленького голубого кабинета, эти цветочки должны быть вырваны у графини из рук, затоптаны, уничтожены.

С этой мыслью она начинает борьбу с маленькими голубыми звездочками цветов. Рядом в гостиной, ни о чем не подозревая, отдыхают пожилые дамы, прислонив свои почтенные головы к высоким спинкам кресел. Господа спокойно покуривают трубки в кабинете графа. Вокруг царят мир и покой. И лишь в маленьком голубом кабинете идет отчаянная борьба.

Какие молодцы те, кто держит свои руки как можно дальше от обнаженного меча, кто умеет молча ждать, умеет, обуздав свое сердце, успокоить его и поручить свою судьбу воле Божьей! Беспокойное сердце всегда впадает в заблуждение. А зло всегда порождает еще худшее зло.

Однако же Анне Шернхёк кажется, что наконец-то она видит, как высовывается из-за туч указующий перст.

– Анна, – говорит графиня, – расскажи мне какую-нибудь историю!

– Какую же?

– О! – восклицает графиня, лаская букетик своей белой рукой. – Ты ничего не знаешь о любви, о том, как любят?

– Нет, я ничего не знаю о любви.

– Что за ерунда! Разве здесь, в округе, нет поместья, которое зовется Экебю, поместья, где полным-полно кавалеров?

– Да, в самом деле, – отвечает Анна. – Тут есть поместье, которое зовется Экебю, а там живут люди, которые высасывают все соки из страны и делают нас неспособными ни к какой серьезной работе. Они растлевают нашу молодежь, они совращают наши лучшие умы. И ты хочешь послушать о них, хочешь послушать об их любовных историях?

– Да, хочу. Мне по душе кавалеры.

И тогда Анна Шернхёк начинает говорить, говорить коротко и торжественно, словно читая по старинной книге псалмов. Потому что она вот-вот задохнется от обуявших ее неистовых чувств. Скрытое страдание трепещет в каждом ее слове, и графиня испуганно и заинтересованно невольно заслушивается.

– Что такое любовь кавалера, что такое верность кавалера? Одна возлюбленная – сегодня, другая – завтра, одна – на востоке, другая – на западе. Нет для него ни слишком недостижимых, ни слишком доступных, один день – графская дочь, другой день – нищая девчонка. Ничто на свете не вмещает столько чувств, сколько его сердце. Но нет несчастней, нет несчастней той, что полюбит кавалера! Ей приходится искать его, когда он валяется пьяным у обочины. Ей приходится молча смотреть, как он за игорным столом проматывает наследство и дом ее детей. Ей нужно терпеть, когда он кутит и сумасбродничает с другими женщинами. О Элисабет, если кавалер приглашает на танец порядочную женщину, она должна ему отказать; если он дарит ей букет цветов, она должна во что бы то ни стало бросить эти цветы на землю и растоптать их. Если она любит его, ей лучше умереть, чем выйти за него замуж. Среди кавалеров был один лишенный сана пастор. Он утратил свою рясу пастора из-за пьянства. Он бывал пьян и в церкви. Он выпивал вино, предназначенное для святого причастия. Ты слышала о нем?

– Нет.

– Сразу же после того, как его отрешили от должности, он стал бродить по округе и нищенствовать. Онпил как безумный. Он мог украсть ради того, чтобы раздобыть себе вина.

– Как его зовут?

– Он больше не живет в Экебю... А в те времена майорша из Экебю позаботилась о нем, одела его и уговорила твою свекровь, графиню Дону, взять его домашним учителем к твоему будущему мужу, юному графу Хенрику.

– Взять домашним учителем лишнего сана пастора!

– О, он был молод, силен, прекрасно образован. Он был совершенно не опасен, если только непил. А графиня Мэрта была не слишком разборчива. Она забавлялась, дразня пробста и помощника священника. Но все же она распорядилась, чтобы ее детям никто не упоминал о его прежней жизни. Иначе ее сын потерял бы уважение к учителю, а ее дочь не потерпела бы его присутствия в доме, потому что она была святая.

И вот он прибыл сюда, в Борг. Входя в комнату, он тотчас останавливался в дверях, садился на краешек стула, за столом молчал, а если появлялся кто-нибудь посторонний, тут же уходил в парк.

Однако там, на безлюдных дорожках, он встречал юную Эббу Дону. Она была не из тех, кто любил шумные празднества, которые постоянно бушевали в залах Борга с тех пор, как графиня Мэрта стала вдовой. Эбба была не из тех, кто бросает миру дерзкие, вызывающие взоры. Она была так кротка, так застенчива! Даже когда ей исполнилось семнадцать лет, она была еще нежным ребенком. Но она была все же и очень красива: карие глаза и легкий слабый румянец на щеках. Ее хрупкое, стройное тело всегда было слегка наклонено вперед. Когда она здоровалась, ее узенькая ручка незаметно и застенчиво пожимала твою. Ее маленький рот был самым молчаливым из всех на свете и самым серьезным. А ее голос! Ах, этот сладостный приглушенный голос, так медленно и красиво тянувший слова! И никогда не звучала в ее голосе ни свежесть, ни пылкость юности, а лишь какая-то тягучая вялость, напоминавшая заключительный аккорд усталого музыканта!

Она совсем не походила на других девушек. Ее ножки так легко, так тихо ступали по земле, словно она была здесь, в этом мире, лишь испуганной беглянкой. Глаза ее были постоянно опущены, словно она боялась помешать самой себе созерцать великолепие собственных духовных видений. Душа ее отрешилась от земли уже в раннем детстве.

Когда она была маленькой, бабушка часто рассказывала ей сказки. И вот однажды вечером, когда бабушка пересказала ей множество сказок, они сидели вдвоем у камина. Карсус и Модерус, и Великан, идущий семимильными шагами, и прекрасная Мелузина воскресали и оживали в рассказах бабушки. Словно яркие языки вспыхнувшего пламени, незримо витали они вокруг, полные жизни и блеска. Но огонь угасал, и герои падали, поверженные, на землю, а прекрасные принцессы превращались в уголья. Но только до тех пор, пока огонь, вновь зажжен-

ный в камине, не пробуждал их к новой жизни. Ручка малютки, по-прежнему лежа на коленях старушки, тихонько гладила шелк ее платья, эту веселую ткань, издававшую при этом звук, похожий на писк маленькой птички. И это поглаживание выражало ее просьбу, ее мольбу, потому что она была из тех детей, которые никогда не просят словами.

И тогда бабушка совсем тихо стала рассказывать ей про одного младенца из Иудеи, младенца, рожденного стать великим королем. Когда он родился, ангелы заполнили землю хвалебными гимнами. Восточные цари, ведомые небесными звездами, явились, принеся ему в дар золото и ладан, а старые мужчины и женщины предсказывали ему великую судьбу. Младенец рос, превосходя красотой и мудростью всех других детей. Уже в двенадцать лет он превосходил мудростью даже первосвященников и книжников.

Потом бабушка рассказала ей о самом прекрасном, что видела земля, о жизни этого младенца, когда он еще обитал среди людей, недобрых людей, не желавших признавать в нем своего властелина.

Она рассказала и о том, как младенец стал взрослым мужчиной, но всегда был озарен лучезарным светом необыкновенных чудес.

Все сущее на земле служило ему и любило его, все, кроме людей. Рыбы сами ловились в его сеть, хлебом наполнились его корзины, а стоило ему пожелать, как вода превращалась в вино.

Но люди не желали даровать великому властелину ни золотой короны, ни сверкающего золотом трона. И его не окружали отвешивавшие поклоны придворные. Ему было суждено жить среди них в нищете.

Но все же он был так добр к ним, этот великий властелин. Он исцелял больных, возвращал зрение слепым и воскрешал мертвых.

Однако же, рассказывала старушка, люди не желали, чтобы он был их повелителем.

Они послали против него своих воинов, и те схватили его.

Насмехаясь над ним, они нарядили его в корону, в длинную и широкую мантию, дали ему в руки скипетр и заставили идти к месту казни, неся тяжелый крест. О, дитя мое, добрый властелин любил высокие горы! По ночам он обычно восходил туда, чтобы беседовать с небожителями, а днем ему нравилось сидеть на горных склонах и беседовать с внимавшими ему людьми. Но вот недобрые люди повели его на гору, чтобы распять там. Они пригвоздили его ноги и руки к кресту, подвесив на нем доброго властелина, словно он был разбойником с большой дороги или злодеем.

И злые люди насмехались над ним. Только его мать и друзья плакали, что он должен умереть, так и не успев стать королем.

О как горевали о нем природа и все неодушевленные вещи и предметы!

Померкло, утратив весь свой облик, солнце, и заколебались горы, разорвался покров в церкви, разверзлись могилы, чтобы мертвые могли восстать и выказать свое горе.

Тут малютка, положив головку бабушке на колени, так горько зарыдала, что сердечко ее готово было разорваться.

– Не плачь, маленькая! Добрый король восстал из гроба и вознесся на небеса к своему отцу.

– Бабушка, – рыдала бедняжка, – так он никогда и не получил никакого царства?

– Он сидит по правую руку от Бога на небесах.

Но это вовсе не утешило девочку. Она плакала так беспомощно и так неудержимо, как только может плакать ребенок.

– Почему они были такими злыми? Почему они так жестоко с ним обошлись? – спросила она.

Старушка почти испугалась при виде такого страшного горя.

– Скажи, бабушка, скажи, ведь ты рассказывала не так, как все было! Скажи, что конец был совсем не такой! Скажи, ведь они не обошлись так злобно и жестоко с добрым властелином? Скажи, что он получил свое царство на земле!

Она обнимала бабушку, она умоляла ее, а слезы по-прежнему так и струились по щекам девочки.

– Дитя мое, дитя мое, – сказала бабушка, утешая ее, – есть такие, кто верит, что он должен вернуться. Тогда он обретет власть над землей и станет управлять ею. И тогда эта прекрасная земля сделается одним чудеснейшим царством. И простоит оно тысячу лет. Злые звери сделаются тогда добрыми, маленькие дети будут играть возле змеиного гнезда, а медведи и коровы станут вместе жевать траву. Никто больше не будет обижать другого, никто не будет никого губить, копья перегнут в косы, а мечи перекуют на орала. И все вокруг будет полниться играми и весельем, потому что владеть землей будут добрые люди!

При этих словах залитое слезами лицо малютки просветлело.

– И тогда доброму королю подарят трон, верно, бабушка?

– Да, золотой трон.

– И слуг, и придворных, и золотую корону?

– Да, все это ему подарят.

– А он скоро явится, бабушка?

– Никто не знает, когда он явится.

– А позволят мне тогда сидеть у его ног на скамеечке?

– Конечно, позволят!

– Бабушка, я так рада! – сказала девочка.

И вот вечер за вечером, много зим подряд сидели они обе у камина и беседовали о добром властелине и его царствии. Дни и ночи мечтала малютка о его тысячелетнем царствии. Ей никогда не надоедало разукрашивать его всем самым прекрасным, что она только могла придумать.

Со многими молчаливыми детьми из тех, что окружают нас, бывает так, что они таят в душе мечту, которую не решаются никому доверить. Удивительные мысли скрываются под шелковистыми волосиками множества детей. Удивительные вещи видят кроткие глазенки под опущенными ресничками. Многие прекрасные девушки с розовыми щечками обретают жениха на небесах. Многие из них желают умащать ноги доброго властелина елеем и осушать их своими волосами.

Эбба Дона никому не решалась сказать об этом, но с того самого вечера она жила лишь мечтой о тысячелетнем царствии Господнем и ожиданием его пришествия.

Когда вечерняя заря отворяла ворота запада, Эбба ждала, не выступит ли из них в ореоле сияния и кротости великий царь, сопровождаемый миллионным сонмом ангелов. И не прошепстуют ли они все мимо нее, дозволив ей коснуться края его мантии.

Она неотступно думала также о тех благочестивых женщинах, которые, прикрыв голову покрывалом и никогда не поднимая глаз от земли, затворялись в тиши и покое серых монастырских стен, во мраке маленьких келий, чтобы постоянно созерцать сияющие видения, выступавшие из сумеречных глубин их души.

Такой Эбба выросла, такой она была, когда она и новый домашний учитель встречались на безлюдных дорожках парка.

Я не хочу говорить о нем более дурно, чем я о нем думаю. Хочу верить, что он любил это дитя, которое вскоре избрало его спутником своих одиноких прогулок. Верю, что душа его вновь обретала крылья, когда он шел рядом с этой молчаливой девушкой, которая никогда никому не поверяла своих мечтаний. Думаю, что он сам чувствовал себя тогда ребенком – добрым, благочестивым, чистым.

Но если он любил ее, почему не подумал он о том, что не может предложить ей худшего дара, чем его любовь? Чего он хотел, о чем думал он, один из отверженных этого мира, когда шел рядом с графской дочерью? О чем думал этот лишенный сана пастор, когда она поверяла ему свои благочестивые мечты? Чего хотел он – прежний пьяница и бродяга, который, подвернись ему удобный случай, снова стал бы таким же, – гуляя рядом с ней, мечтавшей о небесном женихе? Почему не бежал он как можно дальше от нее? Не лучше ли было бы ему бродить по округе, выпрашивая милостыню и воруя, чем гулять там по тихим хвойным аллеям и снова делаться добрым, благочестивым, чистым? Ведь жизнь – иная, чем он вел, – все равно была ему недоступна, а Эбба Дона неминуемо должна была полюбить его?

Не думай, что он походил на несчастного пропойцу с землисто-серым, бледным лицом и покрасневшими глазами! Он по-прежнему был статен, красив и не сломлен телом и духом. У него была королевская осанка и выкованное из железа тело, которое не могла уничтожить даже самая разгульная жизнь.

– Он еще жив? – спросила графиня.

– О нет, он, верно, уже умер. Все это было так давно.

Душа Анны Шернхёк начинает слегка трепетать при мысли о том, что же это она делает. Нет, никогда не скажет она графине, кто этот человек, о котором она говорит. Она заставит ее поверить, будто он умер.

– В то время он был еще молод, – продолжает она свой рассказ, – и в нем снова зажглась жажда жизни. К тому же он был наделен даром красноречия и пламенным, легко увлекающимся сердцем.

И вот настал вечер, когда он признался Эббе Доне в своей любви. Она не дала ему ответа, а поведала лишь о том, что рассказывала ей зимними вечерами бабушка, и описала ему страну своих мечтаний. А потом взяла с него клятву. Она заставила его обещать, что он станет проповедником слова Божьего, одним из провозвестников Господа, дабы ускорить Его пришествие.

Что ему было делать? Он был лишенным сана пастором, и ни один путь для него не был так закрыт, как тот, на который она призвала его вступить. Но он не посмел сказать ей правду. У него не хватило духу огорчить это прелестное дитя, которое он любил. Он обещал все, о чем она просила.

А потом они уже не нуждались в словах. Было ясно, что когда-нибудь она станет его женой. Эта любовь не знала ласк и поцелуев. Он едва осмеливался подойти к ней близко. Она была нежна, как хрупкий цветок. Но ее карие глаза порой отрывались от земли, чтобы поймать его взгляд. Лунными вечерами, когда они сидели на веранде, она придвигалась к нему, и тогда он незаметно целовал ее волосы.

Но ты ведь понимаешь: вина его состояла в том, что он забыл и о прошлом, и о будущем. Он бы еще мог забыть, что он беден и ничтожен, но ему постоянно следовало бы знать, что наступит день, когда в душе ее одна любовь восстанет против другой, земля – против неба. И тогда она вынуждена будет выбирать между ним и блистательным владельцем тысячелетнего царствия. А она была не из тех, кто мог бы выстоять в такой борьбе.

Прошло лето, осень, зима. Когда наступила весна и растаял лед, Эбба Дона заболела. В долинах началось таяние снегов, с гор срывались снежные глыбы, лед на озерах стал ненадежен, по дорогам нельзя было проехать ни в санях, ни в повозке.

Графиня Мэрта пожелала, чтобы из Карлстада привезли врача. Ближе ни одного врача не было. Но напрасно она отдавала такие распоряжения. Ни мольбами, ни угрозами не могла она заставить слугу отправиться в Карлстад. Она встала на колени перед кучером, но и он отказался ехать. Она была в такой горе из-за дочери, что у нее начались спазмы и судороги. Ведь графиня Мэрта – безумна и необузданна как в горе, так и в радости.

Эбба Дона лежала с воспалением легких, жизнь ее была в опасности, но привезти врача было невозможно.

И тогда в Карлстад поехал домашний учитель. Рискнуть на такую поездку в распутицу было все равно что играть со смертью, но он отправился в путь. Он ехал по взломанному льду, перебирался через обрушившиеся снежные глыбы. Порой ему приходилось вырубать для лошади ступеньки во льду, порой вытаскивать ее из размокшей дорожной глины. Говорили, будто врач отказался ехать в Борг, но учитель с револьвером в руках заставил его отправиться к больной.

Когда он вернулся, графиня чуть не бросилась ему в ноги.

– Возьмите все, что у меня есть! – сказала она. – Говорите, чего вы желаете: мою дочь, мое имение, мои деньги!

– Вашу дочь! – ответил учитель.

Анна Шернхёк внезапно умолкает.

– Ну а дальше, дальше что? – спрашивает графиня Элисабет.

– Пожалуй, дальше не стоит рассказывать, – отвечает Анна.

Ведь она одна из тех несчастных людей, которые постоянно живут под гнетом страха и боязни. На этот раз они не оставляли ее в покое уже целую неделю. Она и сама не знает, чего хочет. То, что однажды представлялось ей справедливым, теперь кажется совсем иным. Теперь она дорого дала бы за то, чтобы графиня Элисабет вообще не слыхала бы эту историю.

– Я начинаю думать, что ты просто дразнишь меня, Анна. Разве ты не понимаешь, что мне *необходимо* услышать конец этой истории?

– Рассказывать дальше почти что нечего. Для юной Эббы Доны настал час жесточайшей борьбы. Одна любовь восстала против другой, земля – против неба.

Графиня Мэрта рассказала дочери о поразительной поездке, которую совершил ради нее молодой человек. И сказала, что в награду за это она обещала ему ее руку.

Юная фрёкен Эбба тогда уже настолько поправилась, что лежала одетая на диване. Слабая и бледная, она была еще молчаливее, чем обычно.

Услыхав рассказ матери, она подняла свои темные глаза и, с упреком взглянув на мать, сказала:

– Мама, ты отдала меня лишенному сана пастору, человеку, который утратил свое право быть служителем Бога, человеку, который воровал и нищенствовал?

– Но, дитя мое, кто рассказал тебе об этом? Я думала, ты ничего не знаешь.

– Я случайно узнала. Я слышала, как твои гости говорили об этом в тот день, когда я заболела.

– Но, дитя мое, подумай! Ведь он спас твою жизнь!

– Я думаю о том, что он обманул меня. Ему нужно было сказать мне, кто он такой.

– Он говорит, что ты любишь его.

– Да, я любила его. Но не могу больше любить того, кто обманул меня.

– Как мог он тебя обмануть?

– Вам, мама, этого не понять.

Ей не хотелось рассказывать матери о тысячелетнем царствии своих мечтаний, осуществить которые должен был помочь ее любимый.

– Эбба, – сказала графиня, – если ты любишь его, тебе незачем спрашивать, кем он был, а просто выйти за него замуж. Муж графини Доны будет достаточно богат и могуществен для того, чтобы ему простили грехи его молодости.

– Мне нет дела до грехов его молодости, мама. Я не могу выйти за него замуж, потому что ему никогда не стать тем, кем бы я хотела.

– Эбба, вспомни, я дала ему слово.

Девушка побледнела как смерть.

– Мама, если ты выдашь меня за него замуж, ты разлучишь меня с Богом.

– Я решила устроить твоё счастье, – говорит графиня. – Я уверена, что ты будешь счастлива с этим человеком. Тебе ведь и так удалось уже сделать из него святого. Я решила закрыть глаза на то, к чему обязывает нас знатность нашего рода, и забыть, что он беден и презираем. Для тебя это благоприятный случай спасти его, восстановить его репутацию. Я чувствую, что поступаю правильно. Ты ведь знаешь: я презираю старые предрассудки.

Но все эти речи графиня произносит лишь потому, что не терпит, когда кто-то противится ее воле. А может, в ту минуту она и в самом деле думала то, о чем говорила. Понять графиню Мэрту не так-то легко.

После того как графиня ушла, молодая девушка еще долго лежала на диване. Она боролась сама с собой. Земля восстала против неба, одна любовь – против другой. Но возлюбленный ее детства одержал победу. Вот отсюда, где она лежала, с этого самого дивана, она видела, как на западном краю неба пылает чудеснейший закат. Она подумала, что это добрый король посылает ей привет; и так как, оставшись в живых, она не смогла бы сохранить ему верность, она решила умереть. Она не могла поступить иначе, раз мать ее желала, чтобы она принадлежала тому, кто не мог стать служителем доброго властелина.

Подойдя к окну, она отворила его, не препятствуя холодному влажному вечернему ветру продувать насквозь свое бедное слабое тело.

Для нее не составило большого труда навлечь на себя смерть. Если бы болезнь началась снова, смерть была бы неизбежна. Так оно и случилось.

Никто, кроме меня, Элисабет, не знает, что она искала смерти. Я нашла ее у окна. Я слышала ее лихорадочный бред. Ей было по душе, что я сижу рядом с ней в последние дни ее жизни.

Я видела, как она умирает, я видела, как однажды вечером она простирала руки к пылающему западному краю неба и умерла, улыбаясь. Казалось, она увидела, как кто-то выступает из яркого зарева заката и идет ей навстречу. И я должна была передать последний ее привет тому, кого она любила. Я должна была выпросить у него прощение ей за то, что она не могла стать его женой. Добрый король не допустил такого.

Но я не посмела сказать этому человеку, что он убил ее. Не посмела возложить бремя подобной муки на его плечи. И все же – разве не был убийцей тот, кто ложью добился ее любви? Разве он не был убийцей, скажи, Элисабет?

Графиня Элисабет уже давно перестала ласкать голубые цветочки. И вот она встает, а букетик падает на пол.

– Анна, ты все еще дразнишь меня. Ты говоришь, что это старая история и что человек этот давно умер. Я-то знаю. С тех пор как умерла Эбба Дона, не прошло и пяти лет. А ты вдобавок говоришь, что сама была очевидицей всей этой истории. Ты ведь совсем не старая. Ну а теперь скажи мне, кто этот человек!

Анна Шернхёк начинает хохотать.

– Тебе ведь хотелось услышать любовную историю. Ну вот, ты и получила историю любви, которая стоила тебе и слез, и волнений.

– Ты хочешь сказать, что солгала?

– Да! Все это не что иное, как вымысел и ложь!

– А ты – злая, Анна!

– Возможно. И вообще, должна сказать, я не очень-то счастливая.

– Однако же дамы проснулись, а мужчины входят в гостиную. Пойдем же туда!

На пороге голубого кабинета Анну останавливает Йёста Берлинг, который разыскивает молодых дам.

– Немного терпения, – смеясь, говорит он. – Я отниму у вас всего десять минут, но вам придется выслушать стихи.

И он рассказывает, что этой ночью ему так живо, как никогда раньше, приснилось, будто он написал стихи. И тогда он, Йёста, которого молва называла поэтом, хотя он до сих пор совершенно незаслуженно носил это имя, поднялся среди ночи и не то во сне, не то наяву начал писать. Это была целая поэма, которую он нашел утром на своем письменном столе. Никогда раньше он не поверил бы, что способен на такое. Пусть теперь дамы послушают.

И он читает:

В ночи зажглась луна. Был неги полон сад.
Мерцание небес иссиня-ясных
Веранду залило сквозь заросли плюща,
И в чашечки дрожащих лилий красных
Стекало золото по острию луча.
Мы вместе на крыльце сидели – стар и млад,
В молчании на сумрачных ступенях,
И лишь сердца у нас сливались в пенопеньях,
И хором наших чувств ночной был полон сад.

Струился аромат пьянящий резеды,
Под лунною росой трава блестела,
И тени к ней рвались из спутанных ветвей.
Не так ли рвется дух из клетки тела
В пространство горнее, где небеса светлей,
В тот недоступный край, где даже и звезды
Средь ясной синевы уже не видеть взору?
Кто пылких чувств прилив сдержать бы смог в ту пору,
Среди игры теней и сладкой резеды?

У розы облетел последний лепесток,
Упал в безверии на черные ступени.
Вот так, казалось нам, и мы уйдем, как он,
Как лист по осени, без жалобы, без пени,
Земного воздуха прощальный слыша звон.
Как тщимся мы свой отдалить итог,
Все к жизни лепимся и все же смерть обрящем.
Смиримся же с судьбой, как в воздухе звенящем,
Смирившись, падает последний лепесток.

И мышь летучая поблизости от нас
Плеснула крыльями и в лунном скрылась свете.
И сердце как огнем вопрос обжег,
Что вечно мучает, взыскуя об ответе,
Что, как страданье, стар и, словно боль, жесток:
Куда уходим мы, когда настанет час?
Чужой души возможно ли блужданья
Отсюда видеть нам, как в этот миг молчанья —
Тварь, проскользнувшую поблизости от нас?

И, шелковых волос ко мне склонив волну,
«Не верь, – любимая мне прошептала с болью, —

Что дальние края по смерти душу ждут.
Вот я, когда умру, я не прошусь с тобою,
Не улетит душа в далекую страну,
В твоей душе она найдет приют». О, смерть нам скорую готовила разлуку.
В последний раз в ту ночь ее держал я руку
И целовал ее волос волну.

За этот год не раз, томясь душой больной,
Я ночи проводил в плену воспоминаний,
Лишь лунный свет с тех пор мне горек и постыл:
Он видел нас вдвоем в часы ночных свиданий,
В ее слезах дрожал и нежно серебрил
Склоненную ко мне ее волос волну.

Но как смириться мне с той мыслью безутешной,
Что суждено душе ее безгрешной
Страдать в душе моей, и грешной, и больной?¹⁷

– Йёста, – шутиливо произносит Анна, меж тем как горло ее готово сжаться от страха, – о тебе говорят, что ты пережил намного больше поэм, чем сочинили иные, те, которые всю свою жизнь только этим и занимались. Но знаешь, тебе лучше сочинять по-своему, то, что тебе более привычно. А это всего лишь плод ночной бессонницы, правда?

– Ты не очень-то снисходительна ко мне.

– Прийти и читать стихи про смерть и несчастье! Как тебе не стыдно?!

Йёста уже не слушает ее, его взгляд устремлен на молодую графиню. Та сидит совершенно окаменевшая и неподвижная, словно статуя. Ему кажется, что она вот-вот лишится чувств.

Но с ее уст с невероятным трудом срывается лишь одно-единственное слово:

– Уходите!

– Кто должен уйти? Это я должен уйти?

– Пусть уйдет пастор, – запинаясь, еле выговаривает она.

– Элисабет, замолчи!

– Пусть спившийся пастор оставит мой дом!

– Анна, Анна, – спрашивает Йёста, – что она имеет в виду?

– Тебе лучше уйти, Йёста!

– Почему я должен уйти? Что все это значит?

– Анна, – произносит графиня Элисабет, – скажи ему, скажи ему!..

– Нет, графиня, скажите ему сами!

Стискивая зубы, графиня преодолевает волнение.

– Господин Берлинг, – говорит она, подойдя к нему, – вы обладаете удивительной способностью заставлять людей забывать, кто вы такой. Недавно я услышала рассказ о смерти Эббы Доны. Известие, что она любит недостойного, убило ее. Ваша поэма дала мне понять, что этот недостойный – вы. Я не могу лишь понять, как это человек с таким прошлым, как у вас, может показываться в обществе порядочной женщины. Я не могу этого понять, господин Йёста. Теперь я изъясняюсь достаточно ясно?

¹⁷ Перевод Д. Закса.

– Да, графиня. В свою защиту я хочу сказать лишь одно. Я всегда был убежден в том, что вам обо мне все известно. Я никогда ничего не пытался скрывать, но ведь не очень-то весело кричать на всех перекрестках о самых горьких бедах своей жизни, тем более – самому.

Он уходит.

В этот миг графиня Элисабет наступает своей узенькой ножкой на букетик голубых звездочек.

– Ты сделала то, чего я хотела, – сурово говорит Анна Шернхёк графине. – Но теперь конец нашей дружбе. Не думай, что я могу простить твою жестокость к нему: ты выгнала его, ты презрительно насмеялась над ним, ты оскорбила его! А я, я бы пошла за ним в темницу, на позорную скамью, если бы это было нужно! Я, именно я буду стеречь и охранять его! Ты поступила так, как я хотела, но я никогда не прощу тебе этого.

– Но Анна, Анна!..

– Думаешь, я рассказала тебе эту историю с легким сердцем? Разве при этом я не вырывала – кусок за куском – сердце из своей груди?

– Зачем же ты тогда это сделала?

– Зачем? Затем, что я не хочу – да, не хочу, чтобы он сделался любовником замужней женщины...

Глава тринадцатая

Мамзель Мари

Тише, ради бога, тише!

Что-то жужжит над моей головой. Это, верно, летает шмель. Прошу вас, не шевелитесь! Вы чувствуете это сладостное благоухание? Клянусь вам, это полынь и лаванда, черемуха, сирень и нарциссы. Как прекрасно вдыхать подобный аромат серым осенним вечером в самом центре города! Стоит мне представить себе этот маленький благословенный клочок земли, как тут же слышу жужжание, вдыхаю аромат, и я, сама не знаю как, оказываюсь в маленьком садике, полном цветов, окруженном живой изгородью из бирючины. В углу сада стоят сиреневые беседки с узенькими скамеечками, а вокруг цветников в форме сердец и звездочек проложены узенькие дорожки, усыпанные морским песком. С трех сторон сада стоит лес. Вплотную к нему подступают и одичавшая черемуха, и рябины, усеянные красивыми цветами, их аромат смешивается с запахом сирени. За ними в несколько рядов стоят березы, а дальше начинается ельник, настоящий лес, молчаливый, темный, мохнатый и колючий.

С четвертой стороны к саду примыкает небольшой серый домик.

Хозяйкой сада, о котором я сейчас думаю, была в двадцатых годах девятнадцатого столетия старая госпожа Мореус из прихода Свартшё, которая жила тем, что вышивала для крестьян покрывала и стряпала для них по праздникам обеды.

Дорогие друзья! Из всего прекрасного, что я могу вам пожелать, хочу прежде всего назвать пяльцы и цветущий сад. Большие расшатанные старинные пяльцы с поломанными винтами и стертой резьбой, за которыми обычно сидят сразу пять-шесть мастериц, вышивая наперегонки, споря, у кого самые красивые стежки на изнанке, да при этом поедают печеные яблоки, болтают, заводят игры «Поехали в Гренландию» или «Отгадай, у кого кольцо» и хохочут так, что белки в лесу падают на землю, еле живые от страха. Да, пяльцы на зиму, дорогие друзья, и садик на лето! Нет, не парк, ведь на него вы потратите уйму денег, которых он и не стоит, а маленький садик, розарий, как говорили в старину! Садик, за которым вы сможете ухаживать сами. Пусть там на макушках холмиков, окаймленных незабудками, растут кустики шиповника и повсюду алеют ветреные маки, что сеются сами собой и на травяных бордюрах, и на песчаных дорожках. Не забудьте и про бурую дерновую скамью, сиденье и спинка которой поросли красными лилиями и водосбором.

В свое время фру Мореус была обладательницей немалых сокровищ. Были у нее три веселые прилежные дочери и маленький домик у дороги, кое-какие денежки, припрятанные на дне сундука, кресла с прямыми спинками, а также немалый опыт и уменье, весьма полезные тому, кому приходится зарабатывать на хлеб своим трудом.

Но самым прекрасным из всего, чем она владела, были пяльцы, ведь благодаря им она могла работать круглый год, и садик, который так радовал ее каждое лето.

Теперь я должна вам рассказать, что в домике фру Мореус жила квартирантка, маленькая сухопарая мадемуазель лет сорока, занимавшая мансарду. У мамзель Мари, как ее все называли, были на многое свои взгляды, и неудивительно: ведь тот, что часто пребывает в одиночестве, постоянно размышляет над тем, что видел собственными глазами.

Мамзель Мари полагала, что любовь есть корень зла и источник всех бед на свете.

Каждый вечер перед сном она, сложив руки, читала молитву. Прочитав «Отче наш» и «Господи, благослови рабы твоя», она молила Бога сохранить ее от любви.

– Любовь принесла бы мне одно лишь несчастье, – говорила она. – Я стара, некрасива и бедна. Нет, только бы мне не влюбиться!

День за днем сидела она в мансарде домика фру Мореус и вязала гардины и скатерти рельефным узором. Она продавала их крестьянам и господам, чтобы скопить денег на собственный дом.

Ей хотелось иметь маленький домик на высоком холме напротив церкви Свартшё; домик, из окон которого открывается прекрасный вид на всю окрестность, был ее мечтой. Но о любви она и слушать не хотела.

Заслышав летним вечером звуки скрипки, доносившиеся с перекрестка дорог, где деревенский музыкант наигрывал мотив, сидя на ступеньках ограды, а молодые девушки и парни кружились в польке, поднимая пыль, она далеко обходила их лесом, чтобы ничего этого не видеть и не слышать.

На второй день Рождества пять-шесть деревенских невест приходили в домик фру Мореус, где хозяйка и ее дочери наряжали их, надевали каждой на голову миртовый венок и высокую корону из шелка и бисера, прикрепляли к груди букет из самодельных роз, повязывали шелковый пояс, подшивали подол гирляндой цветов из тафты, а мамзель Мари оставалась у себя в комнате, лишь бы не видеть, как их украшают во имя любви.

Когда зимними вечерами девицы Мореус сидели за пяльцами и большая горница по левую сторону от прихожей излучала уют, когда остекленевшие от жара яблоки, подвешенные в печи, раскачивались и потели, когда красавец Йёста Берлинг или добряк Фердинанд, заглянувшие на огонек, выдергивали у девушек нитки из иглол или заставляли их делать кривые стежки и в горнице царили шум, веселье и любезничание, пожимание рук под пяльцами, – мамзель Мари с досадой откладывала вязанье и уходила прочь из дома, потому что ненавидела любовь и пути, которые она выбирает.

Мамзель знала, каковы злодеяния любви, и могла порассказать о них. Она дивилась тому, что любовь еще осмеливается появляться на земле, не страшась жалоб покинутых, проклятий тех, кого она сделала преступниками, стенаний тех, кто томится в ее окаянных оковах. Она дивилась тому, что крылья несут любовь так легко и свободно, что она еще не рухнула в преисподнюю под тяжестью мук и стыда.

Нет, юной мамзель Мари в свое время, разумеется, была, как и все люди, но любви всегда страшилась. Никогда не поддавалась она соблазну увлечься танцами и любовными забавами. Гитара ее матери висела на чердаке, висела запыленная, с оборванными струнами. Никогда не играла она на ней, никогда не пела томных любовных песен.

На окне у мамзель Мари стоял в горшке розовый куст ее матери. Она редко поливала его. Мамзель Мари не любила цветов, этих детей любви. Запыленные листья розы поникли. В опутанных паутиной ветках играли пауки, бутоны никогда не распускались.

А в садик фру Мореус, где порхали бабочки и пели птицы, где ароматные цветы посылали нежный зов пчелам, где все дышало ненавистной ей любовью, ее нога редко ступала.

Но вот пришло время, когда прихожане установили в своей церкви орган. Это было летом за год до того, как кавалеры начали хозяйничать в Экебю. В Свартшё приехал молодой органист. Он тоже стал квартирантом фру Мореус и поселился в мансарде, в такой же маленькой комнатке.

Он наладил орган, звучащий весьма странно. Когда во время рождественской заутрени его басы врывались в мирное псалмопение прихожан, дети начинали плакать.

Вряд ли молодого органиста можно было назвать мастером своего дела. Это был просто веселый парень с огоньком в глазах. Для каждого он находил доброе словечко: для богатого и бедного, для молодого и старого. Вскоре он стал другом хозяевам дома, ах, более чем другом.

По вечерам, придя домой, он держал моток фру Мореус или помогал девушкам работать в саду. Он декламировал «Аксея» и пел «Фритьофа». Он поднимал клубок ниток фру Мореус, стоило ей уронить его, и даже пускал в ход остановившийся маятник стенных часов.

Он никогда не уходил с бала, не протанцевав со всеми – от самой старой дамы до самой юной девушки, а если ему вдруг в чем-то не везло, он садился рядом с первой попавшейся ему на глаза женщиной и поверял ей свои невзгоды. Да, это был мужчина, о котором мечтают женщины! Нельзя сказать, что он говорил с кем-нибудь о любви. Но стоило ему прожить в комнатушке у фру Мореус несколько недель, как все девушки влюбились в него, и даже бедная мамзель Мари поняла, что молилась напрасно.

Это было и печальное, и веселое время. Слезы капали на пальцы и смывали нарисованные мелом узоры. Вечерами одну из томных мечтательниц видели в сиреневой беседке, а сверху, из комнатушки мамзель Мари, доносились брэнчанье гитары и нежные звуки любовных песен, которые она выучила у своей матери.

А молодой органист не тужил и по-прежнему одаривал женщин улыбками, радовал их мелкими услугами, а они вздыхали и ссорились из-за него. И вот наступил день его отъезда. Повозка с привязанным позади чемоданом стояла у дверей, юноша простился со всеми. Он облобызал руку фру Мореус, обнял плачущих девушек и расцеловал их в щечки. Он сам плакал оттого, что приходилось уезжать, ведь он провел в этом сереньком домишке такое солнечное лето! Под конец он огляделся, ища глазами мамзель Мари. И тут она спустилась с чердачной лестницы. На шее у нее, привязанная широкой зеленой лентой, висела гитара, в руке она держала букет свежих роз, ведь в это лето розовый куст ее матери зацвел. Она остановилась перед юношей, заиграла на гитаре и пропела:

Ты покидаешь нас. Счастливым путь!
Захочешь ли однажды возвратиться?
Будь счастлив и любим, но не забудь:
Твой в Вермланде сердечный друг томится.

После чего она воткнула букетик ему в петлицу и поцеловала его прямо в губы. Да... затем старая дама поднялась по лестнице и исчезла в глубине мансарды.

Любовь отомстила ей, превратила ее в посмешище для всех и каждого. Но мамзель Мари больше на нее не сетовала. Теперь она никогда не убирала гитару и не забывала ухаживать за розовым кустом.

Она научилась любить любовь со всеми ее муками, слезами и тоской.

– Лучше страдать с ней, чем радоваться без нее, – говорила она.

Время шло. Майорша была изгнана из Экебю, к власти пришли кавалеры, и случилось, как было уже рассказано, что Йёста Берлинг прочел графине Борг стихотворение, после чего ему отказали от дома.

Говорят, что Йёста, захлопнув за собой дверь в прихожую, увидел, как на двор усадьбы Борг въехали несколько саней. Он бросил взгляд на маленькую женщину, сидевшую в первых санях. И без того мрачный, он помрачнел еще сильнее. Он поспешил прочь, чтобы не быть узанным, но душу его наполнило предчувствие беды. Неужто появление этой женщины являлось каким-то образом следствием разговора, только что состоявшегося в этом доме? Одна беда неизменно порождает другую.

Тут же на двор выбежали слуги и стали снимать с саней меховые одеяла. Кто же это приехал? Кто эта маленькая женщина, поднявшаяся в санях во весь рост? Да, в самом деле, это была она, знаменитая графиня.

Она была самой веселой, самой взбалмошной из женщин. Его Величество Веселье усадило ее на трон и сделало своей королевой. Игры и забавы были ее подданными. Музыка и танцы сопровождали ее во все времена.

Ей было уже без малого пятьдесят, но она принадлежала к числу мудрых, кто не считает года.

– Стар тот, кто не в силах подняться в танце, растянуть рот в улыбку. Только тот чувствует мерзкую тяжесть лет, я не из их числа!

В дни ее молодости трон Его Величества Веселья не раз колебался, но ветер перемен и неуверенность в завтрашнем дне лишь усиливали его привлекательность. Сегодня Его Величество с крыльями бабочки изволило устраивать кофепитие в апартаментах придворных дам, в стокгольмском королевском дворе, завтра танцевало во фраке и с дубиной в самом Париже. Оно посетило лагерь Наполеона, плавало с флотом Нельсона по Средиземному морю, побывало на конгрессе в Вене, отважилось появиться на балу в ночь перед знаменитым сражением.

И повсюду, где появлялось Его Величество Веселье, там была Мэрта Дона, его избранница, его королева. Танцую, играя и шутя, гонялась графиня Мэрта по белу свету. Чего только ей не довелось пережить! Танцую, она опрокидывала троны, играла в экарте на герцогство, шутя затевала разрушительные войны! Развлечением и безрассудством была ее жизнь и могла бы остаться таковою. Тело ее не постарело для танцев, а сердце для любви. Разве случалось ей уставать от маскарадов и комедий, от веселых историй и грустных песен?

Когда Веселье не находило иной раз приюта в мире, превращенном в поле битвы, она на долгое или короткое время удалялась в старую графскую усадьбу на берегу длинного озера Лёвен. Она отправлялась туда также, когда князья и их придворные в период Священного союза казались ей слишком мрачными. Во время одного из таких визитов ей и пришлось в голову сделать Йёсту Берлинга воспитателем своего сына. В Борге она чувствовала себя прекрасно. Лучшего королевства Веселью было не найти. Здесь не было недостатка в песнях и играх, жаждающих приключений мужчинах и прекрасных веселых дамах. Здесь было вдоволь веселых пирушек и балов, лодочных прогулок по залитому лунным светом озеру, катаний на санях по темному лесу, душераздирающих приключений и любовных мук.

Но после смерти дочери графиня перестала ездить в Борг. Она не видела своей усадьбы целых пять лет. Теперь она приехала поглядеть, каково живет ее невестке в еловом лесу среди медведей и снежных сугробов. Графиня сочла своим долгом посмотреть, не наскучил ли ей до смерти ее глупый Хенрик. Графиня Мэрта решила стать ангелом-хранителем семейного очага. Солнечный свет и счастье были упакованы в сорок кожаных чемоданов; Забава стала ее камеристкой, Смех – ее кучером, Игра – компаньонкой.

Когда она вбежала вверх по лестнице, ее встретили с распростертыми объятиями. Ее слуга, компаньонка, сорок кожаных чемоданов, тридцать шляпных картонок, несессеры, шали и шубы – все это постепенно перекочевало в дом. Все сразу почувствовали, что приехала графиня Мэрта.

Был весенний вечер, поистине прекрасный, хотя стоял еще только апрель и лед на реке не тронулся. Мамзель Мари отворила окно. Она сидела в своей комнатке, перебирала струны гитары и пела. Она была так занята игрой и воспоминаниями, что не заметила, как к дому подкатила коляска. В коляске сидела графиня Мэрта, которой доставило удовольствие смотреть на мамзель Мари, сидевшую у окна с гитарой на шее, закатившую глаза к небу и напевавшую старые банальные любовные песни.

Под конец графиня спустилась со ступеньки коляски и вошла в дом, где девушки сидели за пяльцами. Она никогда не была высокомерной, ветер революции веял над ее головой и вдул свежий воздух в ее легкие.

– Не моя вина, что я графиня, – говаривала она, однако желала жить так, как ей нравилось. Ей было одинаково весело и на крестьянской свадьбе, и на придворном балу. Она играла комедию для своих служанок, когда не было других зрителей. Стоило этой маленькой, красивой и отчаянной женщине появиться в любом обществе, как она заражала его своим весельем.

Графиня заказала фру Мореус покрывала и похвалила девушек. Она осмотрела садик и рассказала о своих дорожных приключениях. Под конец она поднялась по ужасно крутой и узенькой лестнице в мансарду и навестила мамзель Мари.

Одинокую женщину очаровали блеск живых черных глаз графини и ее ласкающий слух голос.

Гостья купила у нее гардины. Оказалось, графиня просто не могла жить без гардин рельефной вязки на всех окнах Борга, а на столы ей непременно нужно было постелить скатерти мамзель Мари.

Потом она попросила мамзель Мари дать ей гитару и спела о радости и любви. Она рассказала ей такие истории, что мамзель почувствовала себя захваченной водоворотом шумного света. Смех графини звучал музыкой, и замерзшие птицы в саду начали петь. Лицо ее, которое уже нельзя было назвать красивым, ибо кожу иссушили румяна и белила, а вокруг рта легли чувственные складки, показалось мамзель Мари столь прекрасным, что ее удивляло, как зеркало могло позволить его отражению исчезнуть после того, как оно поймало его на свою блестящую поверхность.

Уходя, графиня поцеловала мамзель Мари и пригласила ее в Борг.

Сердце мамзель Мари опустело, как ласточкино гнездо в Рождество. Она была свободна, но тосковала по оковам, как в давние времена получивший свободу негр.

Теперь для мамзель Мари снова настало время радости и печали, но ненадолго, всего лишь на короткие восемь дней.

Графиня то и дело привозила ее в Борг. Она разыгрывала для нее комедию, рассказывала о своих женихах, и мамзель Мари смеялась весело, как никогда прежде. Они стали закадычными друзьями. Графиня вскоре узнала все про молодого органиста и его отъезд. А однажды в сумерках она усадила мамзель Мари на подоконник в своем маленьком голубом кабинете, повесила ей на шею гитару и попросила спеть любимые песни. Глядя на тщедушную тощую фигуру и маленькую безобразную голову старой девы на фоне розового заката, графиня сказала, что бедная мамзель походит на девицу, томящуюся в замке. Мамзель Мари пела о нежных пастушках и жестоких пастушках, голос у нее был тонкий и писклявый; можно представить себе, как потешала графиню подобная комедия.

Но вот в Борге устроили прием – разумеется, по случаю приезда матери графа. Пригласили только жителей прихода.

Столовая находилась на первом этаже, и после ужина вышло так, что гости не поднялись снова наверх, а собрались в соседней со столовой комнате графини. Тут графиня взяла гитару мамзель Мари и стала петь для гостей. Она была женщина способная и умела изобразить кого угодно. Теперь ей пришлось в голову изобразить мамзель Мари. Она закатила глаза к небу и запела тоненьким, визгливым детским голоском.

– Ах, нет, нет, не надо, графиня! – взмолилась мамзель Мари.

Но графиня вошла в раж, а гости не могли сдерживать смеха, хотя им было жаль мамзель.

Графиня взяла из вазона горсть сухих розовых лепестков, подошла, жестикулируя, с трагической миной к мамзель Мари и пропела, изображая глубокое волнение:

Ты покидаешь нас, счастливый путь!
Захочешь ли однажды возвратиться?
Будь счастлив и любим, но не забудь:
Твой в Вермланде сердечный друг томится.

Потом она посыпала розовыми лепестками ее голову. Гости смеялись, а мамзель Мари рассвирепела. Казалось, она была готова выцарапать графине глаза.

– Ты скверная женщина, Мэрта Дона, – сказала она, – ни один порядочный человек не должен водиться с тобой.

Графиня тоже разозлилась.

– Ступай вон, мамзель! – сказала она. – Мне надоели твои глупости.

– Да, я уйду, – ответила мамзель Мари, – только сначала получу плату за скатерти и гардины, которыми ты украсила свой дом.

– За эти старые тряпки? – воскликнула графиня. – Забирай их! Чтоб я больше их не видела! Сейчас же забирай их!

И графиня, вне себя от ярости, стала швырять ей скатерти, сорвала с окон гардины.

На следующий день молодая графиня попросила свекровь помириться с мамзель Мари, но та мириться не пожелала. Мамзель ей надоела.

Тогда графиня Элисабет поехала к мамзель Мари, купила у нее целую кипу гардин и развесила их на окнах верхнего этажа. После чего мамзель Мари решила, что ее честь восстановлена.

Графиня Мэрта часто подшучивала над невесткой за ее пристрастие к гардинам рельефной вязки. Она умела прятать свой гнев и хранить его годами свежим и новым. Это была богато одаренная натура.

Глава четырнадцатая

Кузен Кристофер

В кавалерском флигеле жила хищная птица – старый и седой общипанный орел. Он всегда сидел в углу у камина и следил, чтобы огонь не погас. Его маленькая голова с большим клювом и потухшим взглядом, печально опущенная на длинную худую шею, торчала из мехового воротника. Ведь этот орел носил шубу летом и зимой.

В прежние времена он летал со стаей великого императора, которая гонялась по Европе, а теперь никто не осмеливался назвать его имени и титула, который он некогда носил. В Вермланде знали лишь, что он участвовал в великих войнах и отличился в кровопролитных сражениях, что после 1815 года ему пришлось улететь прочь из неблагодарного отечества. Он нашел приют у шведского кронпринца, и тот дал ему совет скрыться где-нибудь в отдаленном Вермланде. В нынешние времена тому, кто заставлял дрожать от страха весь мир, приходилось радоваться, что никому не ведомо его некогда грозное имя.

Он дал честное слово кронпринцу не покидать Вермланд и без надобности не говорить, кто он таков. И так его послали в Экебю с письмом к майору от кронпринца, рекомендовавшего его наилучшим образом. Тогда кавалерский флигель распахнул перед ним двери.

Вначале люди ломали голову над тем, кто был этот знаменитый человек, скрывавшийся под чужим именем. Но со временем он превратился в кавалера и вермландца. Все называли его кузеном Кристофером, не зная толком почему.

Но хищной птице тяжело жить в клетке. Ведь орел не привык перелетать с жердочки на жердочку и кормиться из рук хозяина. Кровавая бойня и смертельная опасность вдохновляли его и заставляли сердце биться сильнее. Дремотное мирное время претило ему.

По правде говоря, и прочих кавалеров не назвал бы никто ручными птицами, но ни у одного из них не текла в жилах столь горячая кровь, как у кузена Кристофера. Одна лишь медвежья охота способна была оживить его угасающую жажду жизни; да, медвежья охота или женщина, одна-единственная женщина.

Он оживился, когда десять лет назад впервые увидел графиню Мэрту, которая уже тогда была вдовой. Женщину изменчивую, как война, волнующую, как опасность, ошеломляющее и блистательное создание. Он полюбил ее.

И теперь он сидел здесь, старый, седой, не имея возможности взять ее в жены.

Он не видел ее уже целых пять лет. Он постепенно увядал и умирал, как орел в неволе. С каждым годом он все более усыхал и мерз. Приходилось поплотнее запахивать шубу и придвигаться поближе к огню.

Утром, в канун Пасхи, он сидит один, замерзший, всклокоченный, седой. Вечером будут греметь пасхальные выстрелы, будут жечь пасхальное чучело. Все остальные кавалеры уехали, а он сидит в углу у огня.

Ах, кузен Кристофер, кузен Кристофер, неужто ты ничего не знаешь?

Она пришла с улыбкой, манящая весна.

Дремлющая природа просыпается, и в синем небе порхают легкокрылые духи, затеявая веселый хоровод. Небо густо усеяно ими, как дикий розовый куст цветами. Здесь и там мелькают их сияющие лица меж белыми облачками.

Земля, великая мать, оживает. Веселая, как дитя, выходит она из ванны весеннего половодья, из-под душа весеннего дождя. Камень и песок искрятся от радости.

– Спешите в круговорот жизни! – ликует малейшая песчинка. – Мы полетим как на крыльях в прозрачном воздухе. Будем искриться на алых щечках девушки.

Веселые духи весны вместе с воздухом и водой вливаются людям в кровь, извиваются там угрями, заставляют сердца биться сильнее! Повсюду слышатся одни и те же звуки. Духи с крыльями бабочек цепляются ко всему, что колыхнется и трепещет, и звонят, будто тысячи штормовых колоколов:

– Радость, счастье! Радость, счастье! Весна пришла к нам снова с улыбкой!

Но кузен Кристофер сидит, ничего не подозревая. Подперев голову негнушимися пальцами, он мечтает о карточном дожде и славе, вырастающей на поле боя. Внутренним оком он видит перед собой лавры и розы, что расцветают, не дожидаясь прихода бледной весенней красоты.

Однако жаль его, одинокого старого завоевателя, живущего в кавалерском флигеле вдали от своего народа, от своей страны, лишенного возможности услышать хоть один звук родного языка; и ждет его безымянная могила на кладбище в Бру. Разве его вина, что он – орел, рожденный, чтобы преследовать и убивать?

О, кузен Кристофер, долго пришлось тебе мечтать, сидя в кавалерском флигеле. Вставай и пей пенное вино в высоких дворцах! Знай же, что сегодня майор получил письмо, скрепленное королевской печатью! Оно адресовано майору, но речь в письме идет о тебе. Отраднo смотреть, как ты читаешь его, старый орел. В твоих глазах появляется блеск, голова поднимается. Дверца клетки открывается, и для твоих истомившихся крыльев открывается необозримое пространство.

Кузен Кристофер роется на дне своего сундука. Вот он вытаскивает заботливо хранимый шитый золотом мундир и облачается в него. Он надвигает на лоб украшенную плюмажем треуголку, тут же седлает своего великолепного белого коня, сейчас же умчится из Экебю во весь опор. Это уже совсем иное дело, не то что сидеть в углу у камина. Теперь он видит, что весна пришла.

Вот он вскочил в седло и пустил лошадь галопом. Подбитый мехом доломан развеивается. Человек помолодел, как сама земля. Он проснулся после долгой зимней спячки. Старое золото еще не потускнело. Гордое зрелище являет собой старый воин, дерзко смотрят его глаза из-под треугольной шляпы.

До чего же удивительна эта скачка! Там, где ударяют лошадиные копыта, из земли начинают бить ручейки, зацветают подснежники. Вокруг освобожденного узника выются с ликующими криками перелетные птицы. Вся природа радуется его счастью.

С каким триумфом он мчится, сама весна плывет впереди него на воздушном облаке. Она легка и прозрачна, эта светлая волшебница. Прижав к губам рог, она трепещет от счастья. А рядом с кузеном горячит своих коней целый полк его старых боевых товарищей. Само счастье стоит на цыпочках в седле, слава мчится на гордом рысаке, а любовь – на горячем арабском скакуне. Что за чудо эта скачка, что за чудо этот рыцарь! Вот его окликает говорящий дрозд:

– Кузен Кристофер, кузен Кристофер! Куда ты скачешь? Куда ты скачешь?

– В Борг свататься! В Борг свататься! – отвечает он.

– Не скачи в Борг! Не скачи в Борг! Холостяк не знает бед! – кричит дрозд ему вслед.

Но кузен Кристофер не внемлет предостережению. Вверх и вниз по склону мчится он и наконец достигает цели. Он спрыгивает с коня, и его препровождают к графиням.

Все идет прекрасно. Графиня Мэрта милостива к нему. Кузену Кристоферу ясно, что она не откажется носить его блистательное имя и быть хозяйкой в его дворце. Он сидит, оттягивая прекрасное мгновение, когда покажет ей королевское письмо. Он наслаждается этим ожиданием.

Она болтает, развлекает его тысячами забавных историй. Он смеется, восхищаясь ею. Они сидят в одной из комнат, в которых графиня развесила гардины мамзель Мари, и графиня Мэрта начинает рассказывать про них. При этом она старается представить все в наиболее комическом свете.

– Вот видите, – говорит она под конец, – какая я злая! А теперь здесь висят эти гардины, чтобы я денно и ночью думала о своем грехе. Какое ужасное наказание! Ах, эта кошмарная рельефная вязка!

Кузен Кристофер, великий воин, бросает на нее гневные взгляды.

– Я тоже стар и беден, – говорит он, – десять лет я сидел в углу у камина и мечтал о своей возлюбленной. Извольте, милостивая графиня, и над этим посмеяться?

– Но это совсем другое дело! – восклицает графиня.

– Бог отнял у меня счастье, отнял отечество, принудил меня есть чужой хлеб, – говорит кузен Кристофер серьезным тоном. – Я научился уважать бедность.

– И вы туда же! – кричит графиня, всплеснув руками. – До чего же люди добродетельны!

– Да, – отвечает он, – заметьте, графиня, если однажды Господь пожелает вернуть мне богатство и власть, я не стану делить ее с такой вот светской дамой, с нарумяненной бессердечной мартышкой, которая смеется над бедностью.

– И правильно сделаете, кузен Кристофер.

Кузен Кристофер выходит из комнаты строевым шагом, едет домой в Экебю. Духи весны теперь не летят за ним, дрозд не окликает его, он не замечает больше ликующей весны.

Он прискакал в Экебю как раз, когда кавалеры собирались стрелять в честь Пасхи и сжечь пасхальную ведьму – большую соломенную куклу. Лицо у куклы тряпчное, глаза, нос и рот нарисованы углем. На ней старое платье батрачки. Рядом с куклой поставлены ухват с длинной ручкой и метла, на шее у нее рог. Она готова лететь на Блокуллу.

Майор Фуш заряжает ружье и палит в воздух несколько раз подряд. Кавалеры зажигают костер из сухого хвороста и бросают в него куклу. Она тут же вспыхивает и весело горит. Кавалеры сделали все, чтобы, по старинному обычаю, изгнать нечистую силу.

Кузен Кристофер стоит, мрачно уставясь на костер. Внезапно он выдергивает из манжета большое королевское письмо и бросает его в огонь. Один Бог знает, о чем он при этом думает. Может, ему кажется, что это горит сама графиня Мэрта. Быть может, он решил, что на свете не осталось больше ничего святого, раз эта женщина, как оказалось, состояла лишь из тряпок и соломы.

Он возвращается в кавалерский флигель, разжигает огонь в камине и прячет мундир. Потом снова садится в угол, с каждым днем он все больше дрыхлеет и седеет. Он медленно умирает, подобно старым орлам в неволе.

Кузен Кристофер уже больше не пленник, но он не желает воспользоваться своей свободой. Все просторы для него открыты. Поле битвы, слава, сама жизнь ждут его. Но у него нет больше сил расправлять крылья и лететь.

Глава пятнадцатая

Дороги жизни

Трудны дороги, которыми люди идут по земле.

Дороги пустынь, дороги болот, дороги гор. Где же они, малютки, срывающие цветы, сказочные принцессы, по следам которых вырастают розы? Где они, усыпающие цветами трудные пути?

Йёста Берлинг, поэт, решил жениться. Осталось лишь найти невесту, нищую, убогую, презираемую, под стать сумасшедшему священнику.

Прекрасные и благородные женщины любили его, но им не пристало соперничать из-за такого мужа. Отверженный выбирает отверженную.

Кого он выберет? Кого найдет?

В Экебю принесит иногда метлы на продажу бедная девушка из лесной дереvушки. В этой дереvушке, где вечно царят бедность и невзгоды, немало жителей лишилось разума, девушка с метлами – одна из них.

Но собой она хороша. Темные волосы заплетены в такие тяжелые косы, что они едва помещаются на голове. У нее нежный овал лица, маленький прямой нос, голубые глаза. Она походит на меланхолическую Мадонну, подобный тип красоты еще и теперь можно встретить на берегах длинного Лёвена.

И вот невеста для Йёсты найдена! Полоумная девушка с метлами будет хорошей женой сумасшедшему пастору. Лучшей партии ему не найти.

Йёсте нужно лишь съездить в Карлстад за кольцами, а после пусть люди на берегах Лёвена потешатся еще один денек. Пусть они еще разок посмеются над Йёстой Берлингом, когда он обручится с торговкой вениками, когда будет праздновать свадьбу! Пусть себе потешаются! Подобной шутки он еще не выкидывал.

Разве не должен отверженный идти по пути, уготованному отверженному, по пути печали, пути скорби, пути несчастья? Что из того, если он сорвется в пропасть, если погибнет? Кто остановит его? Кто протянет ему руку, кто даст глоток воды утолить жажду? Где они, эти маленькие собирательницы цветов, где сказочные принцессы, рассыпающие розы на трудных стезях?

Нет-нет, юная кроткая графиня в Борге не помеха Йёсте Берлингу. Ей надобно думать о своей репутации, о гневе мужа и ненависти свекрови, она не должна ничего делать, чтобы удержать его.

Во время длинного богослужения в церкви Свартшё она склонит голову, сложит руки и будет молиться за него.

Бессонными ночами она может плакать, тревожась за него, но у нее нет ни цветов, чтобы усыпать путь отверженного, нет ни капли воды, чтобы дать напиток жаждущему. Она не протянет руку, чтобы удержать его на краю пропасти.

Йёста Берлинг не стремится нарядить свою избранницу в шелка, украсить ее драгоценностями. Она по-прежнему ходит от двора ко двору и продает метлы. Но скоро он соберет знатных людей со всей округи на большой пир и объявит о своей помолвке. Тогда он приведет ее из кухни, такую, какой она явится после долгих странствий: в грязной одежде, запорошенную дорожной пылью, быть может оборванную, нечесаную, дико тарашущую глаза и бормочущую невнятные слова. И тогда он спросит гостей, подходящую ли выбрал невесту, должен ли сумасшедший пастор гордиться столь прекрасной нареченной с кротким лицом и мечтательными голубыми глазами.

Он хотел, чтобы никто не узнал об этом заранее, но ему не удалось сохранить свой замысел в тайне, и одной из тех, кто узнал о нем, была молодая графиня Дона.

Но что она может сделать, чтобы удержать его? День обручения настал, уже сгустились сумерки. Графиня стоит у окна в голубом кабинете и смотрит на север. Ей кажется, что она видит Экебю даже сквозь слезы и густой туман. Она ясно видит большой трехэтажный дом с тремя рядами освещенных окон. Она отчетливо представляет себе, как наполняют шампанским бокалы, как поют застольные песни, как Йёста Берлинг объявляет свою помолвку с торговкой метлами.

Если бы она была сейчас рядом с ним и тихонько положила ему руку на плечо или просто по-дружески взглянула на него, свернул бы он тогда с недоброго пути отверженного? Если одно лишь ее слово толкнуло его на столь отчаянный поступок, может ли тогда одно ее слово остановить его?

Но более всех виновата она сама. Это она словом осуждения толкнула его на недобрый путь. Ее назначение было благословлять, смягчать, отчего же она вонзила еще один острый шип в терновый венец грешника?

Да, сейчас она знает, что ей нужно делать. Она велит запрячь в сани вороных коней, помчится через Лёвен, ворвется в Экебю, встанет лицом к лицу с Йёстой Берлингом и скажет, что она не презирает его, что она сама не знала, что говорила, когда прогнала его из своего дома... Нет, она не сможет сделать ничего подобного, она смутится и не осмелится сказать ни слова. Ведь она замужняя женщина и должна быть осторожной. Если бы она сделала что-нибудь подобное, пошли бы слухи. Но если она этого не сделает, что будет с ним?

Она должна ехать.

Но тут она вспоминает, что ехать ей невозможно. Этой зимой лошадь не может пройти по льду Лёвена. Лед тает, он уже отошел от берега. Он стал рыхлым, растрескался, на него уже страшно смотреть. Просачиваясь сквозь него, вода поднимается и опускается, кое-где она собирается в черные лужицы, а местами лед ослепительно-бел. Но большей частью он все же серый, грязный от талой воды, и дороги кажутся длинными черными полосами на его поверхности.

Как ей могло прийти в голову ехать? Старая графиня Мэрта, ее свекровь, ни за что не позволила бы ей ничего подобного. Она должна сидеть весь вечер в гостиной возле свекрови и убажывать ее, выслушивая рассказы о жизни при дворе.

Но вот наступила ночь, ее муж в отъезде, и она свободна.

Ехать она не может, слуг позвать не смеет, но страх гонит ее из дома. Иного выхода у нее нет.

Трудны дороги, которыми люди идут по земле: дороги пустынь, дороги болот, дороги гор.

Но эта ночная дорога по талому снегу, с чем мне сравнить ее? Разве это не та дорога, по которой идут собирательницы цветов? Неверная, качающаяся под ногами, скользкая дорога, дорога тех, кто стремится залечить чужие раны, ободрять, кто легок на ногу, у кого зоркий глаз и горячее любящее сердце.

Было далеко за полночь, когда графиня добралась до Экебю. Она падала на лед, прыгала через широкие полыньи, бежала бегом, когда следы ее ног наполнялись бурлящей водой, ноги ее скользили, она падала и ползла!

Тяжелым был для нее этот путь. Молодая женщина шла и плакала на ходу. Она промокла и устала. Наконец она подошла совсем близко к Экебю, и ей пришлось брести к берегу по щиколотку в воде. Когда она вступила на сушу, у нее хватило мужества лишь на то, чтобы сесть на камень и заплакать от бессилия.

Трудными путями бредут дети человеческие, и маленькие собирательницы цветов сгибаются порой под тяжестью своих корзин как раз в тот момент, когда они уже почти достигли цели и нашли путь, который хотят осыпать цветами.

Эта молодая знатная дама была поистине удивительной маленькой героиней. Ей не доводилось ходить по таким дорогам на своей светлой родине. А теперь она сидит на берегу этого

страшного, грозного озера, промокшая, усталая, несчастная, и думает о торных, окаймленных цветами дорогах своей южной родины.

Теперь для нее ничего не значит, север это или юг. Ее захватил круговорот жизни. Она плачет не от тоски по родине. Эта маленькая собирательница цветов, маленькая героиня плачет оттого, что так устала, оттого, что не успела добраться до той дороги, которую хочет осыпать цветами. Она плачет оттого, что пришла слишком поздно.

Внезапно на берег выбегают люди. Они спешат мимо, не замечая ее, но она слышит их слова:

– Если прорвет плотину, то снесет кузницу, – говорит один.

– И мельницу, и мастерские, и дома кузнецов, – добавляет другой.

И тут у нее появляется прилив сил, она поднимается и идет за ними.

Мельница и кузница в Экебю стояли на узком мысу, вокруг которого бушевал Бьёркшёэльвен. Река с шумом мчалась на этот мыс, подгоняемая мощным водопадом, и, чтобы обезопасить постройки, перед мысом соорудили огромный волнорез. Но плотина со временем обветшала, а в ту пору в усадьбе хозяйничали кавалеры. У них на уме были лишь танцы да веселье, никто не удосуживался поглядеть, что сделали со старой каменной плотиной вода, холод и время.

Но вот приходит весеннее половодье, и плотина начинает рушиться.

Водопад в Экебю – это огромная каменная лестница, по которой мчатся волны Бьёркшёэльвена. Опьяненные бешеной скоростью, они сталкиваются и набегают друг на друга. В гневе поднимаются они, обдавая друг друга пеной, опрокидываются вниз с камней и бревен, чтобы снова подняться и снова низвергнуться с пеной, шипением, ревом.

И вот сейчас эти дикие, рассвирепевшие волны, опьяненные весенним воздухом, обезумевшие от только что завоеванной свободы, штурмуют старую каменную плотину. Они бьются о нее с шипением, поднимаются по ней высоко и скатываются вниз, разбивая свои седые головы. Это настоящий штурм, волны таранят плотину большими льдинами, бревнами и обломками камней, неистовствуя, бушуя, пенясь, они колотятся о несчастную плотину и вдруг, словно по команде, затихают, откатываются назад и волокут за собой большой камень, оторвавшийся от стены и с грохотом погружившийся в поток.

Можно подумать, будто это приводит их в замешательство, они затихают, ликут, держат совет... и снова бросаются вперед! Вот они опять штурмуют стену, вооружившись льдинами и бревнами, буйные, безжалостные, дикие, шальные, одержимые жаждой разрушения.

«Если бы только снести плотину, – говорят волны, – ах, если бы только снести плотину! Тогда настанет очередь кузницы и мельницы.

День свободы настал... долой людей и дело их рук! Они запачкали нас углем, запылили мукой, надели на нас ярмо, как на рабочих быков, гнали нас по кругу, заперли плотиной, заставили крутить тяжелые колеса, нести неуклюжие бревна. Но теперь мы обретем свободу.

День свободы настал! Слушайте волны Бьёркшёэна, слушайте, братья и сестры в трясинах и болотах, горных ручьях и лесных реках! Спешите к нам, спешите! Вливайте свои воды в Бьёркшёэльвен, с грохотом и шипением несите нам свежие силы, готовые свергнуть вековой гнет, спешите! Пусть падет оплот тирании! Смерть Экебю!»

И они пришли. Волна за волной обрушиваются они водопадом, чтобы удариться головой о стену плотины, чтобы внести свою лепту в великое дело свободы.

Опьяненные весной и только что обретенной свободой, сильные, единые в своем порыве, идут они и вымывают камень за камнем, кочку за кочкой с начинающего уступать волнореза.

Но отчего люди позволяют бушевать озверевшим волнам и не борются с ними? Неужто Экебю вымерло?

Нет, там есть люди – беспорядочная, растерянная, беспомощная толпа. Ночь темна, они не видят друг друга, не различают дороги, по которой идут. Оглушительен шум водопада, стра-

шен грохот ломающегося льда и ударов бревен, они не слышат собственного голоса! Дикое безумие, вдохновляющее волны, проникает людям в мозг, парализует мысли, туманит рассудок.

Вот зазвонил заводской колокол:

«Слушай тот, у кого есть уши! Мы здесь, возле кузницы Экебю, погибаем! Река обрушила на нас свои воды. Плотины не в силах сдержать их натиск, кузница и мельница в опасности, гибель грозит и нашим убогим, но милым сердцу жилищам».

Волнам кажется, что колокол сзывает их друзей, ведь вокруг не видно ни одного человека. А из лесов и болот вода все прибывает.

«Помогите нам, помогите нам!» – звонит колокол.

«После столетий рабства мы наконец обрели свободу. Спешите к нам! Спешите к нам!» – шумят волны.

Грохочущие воды и заводской колокол поют отходную славе и блеску Экебю.

А тем временем в господскую усадьбу приходят к кавалерам тревожные вести.

Но время ли сейчас кавалерам думать о кузнице и мельнице? В просторных залах Экебю собралась сотня гостей.

Торговка метлами ожидает в кухне. Конец ожиданию, наступает решающий момент. Шампанское пенится в бокалах. Юлиус поднимается, чтобы произнести поздравительную речь. Старые любители приключений радостно предвкушают, как гости онемеют от изумления.

А по льду Лёвена бредет страшной дорогой молодая графиня Дона, чтобы шепнуть Йёсте слова предостережения.

От подножия водопада бегут волны, чтобы взять приступом славу и силу Экебю, а в просторных залах царят лишь веселье и приятное ожидание, сияют восковые свечи, вино льется рекой. Здесь никто не думает о потоке, стремительно несущемся в бурной весенней ночи.

Но вот заветный момент наступил. Йёста встает и идет за невестой. Ему нужно пройти через переднюю мимо распахнутых настежь входных дверей. Он останавливается, вглядывается в темноту... И вот он слышит, вот он слышит...

Он слышит звон колокола, шум водопада. Слышит грохот ломающегося льда, стук налетающих друг на друга бревен, насмешливую, ликующую, победную песнь мятежных волн.

Забыв обо всем, он бежит прочь, исчезает в ночи. Пусть они стоят с поднятыми бокалами и ждут его хоть до второго пришествия, теперь ему не до них. Пусть ждет невеста, пусть речь патрона Юлиуса замрет у него на устах. Жених и невеста не обменяются кольцами этой ночью, блистательное общество не оцепенеет от изумления.

Берегитесь, мятежные волны, теперь вам и впрямь предстоит бороться за свою свободу. Йёста Берлинг примчался к водопаду, у людей появился заступник, в отчаявшихся сердцах зажегся огонь мужества, защитники Экебю поднимаются на дамбу, теперь начнется жестокий бой.

Слушайте, что он кричит людям! Он отдает приказания, он заставляет их приниматься за дело.

– Нам нужен свет, прежде всего свет, фонарь мельника тут не поможет. Видите эти кучи хвороста? Тащите их сюда на берег и зажигайте! Это работа для детей и женщин. Торопитесь, складывайте огромный костер и зажигайте его! Мы будем работать при свете, к тому же он будет виден далеко и другие поспешат к нам на помощь. Не давайте огню погаснуть! Тащите солому, тащите хворост, пусть яркое пламя взметнется к небу!

А теперь вы, взрослые мужчины, вот работа для вас. Берите бревна, берите доски, сколотите щит и опустите его в воду перед каменной плотиной. Скорее, скорее за работу, да делайте его крепче и помощнее. Готовьте камни и мешки с песком, чтобы укрепить ее. Скорее, пусть машут топоры, пусть стучат молотки, пусть сверла буравят дерево, пусть пилы с визгом вгрызаются в доски!

А где мальчишки? А ну сюда, безобразники! Тащите багры, тащите шесты, а ну за работу! Бегите сюда, на плотину, не беда, что волны пенятся и шипят, плюются белой пеной! Защищайте стену, ослабляйте волны, отбивайте их атаку, разрушающую камень плотины! Отталкивайте бревна и льдины, бросайтесь вниз, если надо, и придерживайте расшатавшиеся камни руками. Держите их зубами, вцепляйтесь в них железными когтями! Боритесь с волнами, сорванцы, негодники! Быстро все сюда, на плотину! Будем драться за каждый дюйм земли.

Сам Йёста стоит на краю плотины, обрызганный пеной, земля трясется у него под ногами, волны режут и грохочут, но его отважное сердце наслаждается опасностью, тревогой, радостью битвы. Он хохочет, шутит с мальчишками, стоящими рядом с ним на дамбе. Эта ночь самая прекрасная в его жизни.

Спасательные работы идут полным ходом, горят костры, стучат топоры плотников, плотина держится.

Прочие кавалеры и сотни гостей тоже пришли к водопаду. Прибежал народ из ближних и дальних селений, все принялись за работу: одни не дают кострам погаснуть, другие сколачивают деревянный щит или носят мешки с песком к готовой обрушиться старой плотине.

Но вот плотники сколотили щит, сейчас они опустят его перед шатающимся молотом. Держите наготове камни и мешки с песком, багры и веревки, чтобы его не сорвало, чтобы победили люди, чтобы волны покорно вернулись к рабскому труду!

И тут вдруг перед самым решительным моментом Йёста замечает женщину, сидящую на прибрежном камне. Она сидит, уставясь на волны, отсвет костра падает на нее. Он не может отчетливо разглядеть ее сквозь туман и пенные брызги, но она притягивает к себе его взгляд. Он неотрывно смотрит на нее. Йёста словно чувствует, что у нее важное дело именно к нему.

Из всех людей на берегу она одна сидит неподвижно, и к ней вновь и вновь обращается его взгляд, он не видит никого, кроме нее.

Она сидит так близко к воде, что волны достают до ее ног, и пенные брызги обдают ее. Должно быть, промокла она насквозь. На ней темная одежда, голова повязана черным платком, она сидит согнувшись, подперев голову руками, не сводя с него глаз. Ее глаза манят, притягивают его к себе, и хотя лица ее ему не различить, он не думает ни о ком другом, кроме этой женщины, сидящей на самом краешке земли у пенных волн.

«Это лёвенская русалка вышла из воды, чтобы погубить меня, – думает он. – Она сидит и манит меня, нужно прогнать ее прочь».

Ему кажется, будто волны с белыми гребнями – ее войско. Это она натравила их на людей, она повела их на штурм.

– Я в самом деле прогоню ее, – говорит Йёста.

Он хватается багор и бежит к ней.

Он покинул свое место на самом конце волнореза, чтобы прогнать русалку. Сгоряча он вообразил, будто вся нечистая сила речных глубин ополчилась против него. Он сам не знает, что делает, его обуревают лишь одно желание, одна мысль: прогнать эту черную женщину с камня на берегу.

Ах, Йёста, отчего в решающий миг место, где ты стоял, пустует? Вот люди принесли щит, длинный ряд людей выстраивается вдоль мола. Они принесли веревки, камни и мешки с песком – балласт, чтобы удержать щит. Они стоят и прислушиваются, ждут команды. Где же командир? Почему не слышно его приказаний?

Но Йёста Берлинг преследует русалку, голоса его не слышно, он никому не дает команды.

Приходится опускать щит без него. Волны отступают, щит падает в глубину, вслед за ним летят камни и мешки с песком. Но что можно сделать без командира? Ни слаженности в работе, ни порядка. Волны рвутся вперед с удвоенной яростью, бросаются на новую преграду, начинают откатывать мешки с песком, рвать веревки, расшатывать камни. Им это удастся, удастся! Злобно хохоча и ликуя, поднимают они все сооружение на свои сильные плечи, расшаты-

вают, ломают и под конец поглощают его. Долой это жалкое укрепление, в Лёвен его, на дно!
И волны снова бьются о беспомощную каменную дамбу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.